А·А·ФЕТ

„Был чудный майский день в Москве...“

А·А·ФЕТ

Московский никогда не умолкал Парнас,
Повсюду муз его был слышен лирный глас.

А. А. Палицын
«ПОСЛАНИЕ К ПРИВЕТЕ»

Фетъ

А·А·ФЕТ

„Был чудный майский день в Москве...“

Стихи
•
Поэмы
•
Страницы прозы и воспоминаний
•
Письма

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
1989

ББК 84Р1
Ф45

Вступительная статья *А. Е. ТАРХОВА*

Примечания *Г. Д. АСЛАНОВОЙ*

Составление *А. Е. ТАРХОВА* и *Г. Д. АСЛАНОВОЙ*

Художник *А. В. ЛЕПЯТСКИЙ*

Фет А. А.

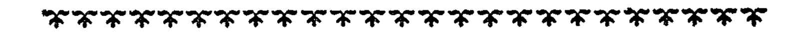
Ф45 «Был чудный майский день в Москве...»: Стихи. Поэмы. Страницы прозы и воспоминаний. Письма / Сост.: А. Е. Тархова и Г. Д. Аслановой; Вступит. статья А. Е. Тархова; Примеч. Г. Д. Аслановой. М.: Моск. рабочий, 1989.— 400 с.— (Московский Парнас).

Вся жизнь выдающегося русского поэта А. А. Фета (1820—1892) была связана с Москвой. Здесь он учился в университете, здесь подолгу жил в разные периоды своей жизни, встречался с А. А. Григорьевым, В. П. Боткиным, Л. Н. Толстым, В. С. Соловьевым и другими своими замечательными современниками. В Москве вышли семь из восьми его поэтических сборников, переводы латинских поэтов, две книги мемуаров. Московская тема широко отражена в его творчестве.

Сборник включает лирику поэта. написанную в Москве и посвященную Москве, фрагменты из его мемуаров и переписки.

Ф $\frac{4702010106—140}{М172(03)—89}$ 198—89 ББК 84Р1

ISBN 5—239—00410—2



ПОЭТ «АФАНАСИЙ ПЛЮЩИХИНСКИЙ»

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) — уроженец орловской земли, один из той великой плеяды художников слова, которую взрастила для отечественной литературы эта особая «почва» — центрально-черноземная Россия. Вместе с тем, по собственному выражению Фета, его «перерождение из бессознательного в более сознательное существо» произошло в Москве, в годы студенчества. Это «перерождение» означало не только становление личности Фета, но и рождение его как поэта.

Московские литераторы (П. Кудрявцев, С. Шевырев, А. Галахов) первыми оценили яркое поэтическое дарование двадцатилетнего студента. Его стихи были напечатаны в журнале «Москвитянин» уже в конце 1841 года.

В 1843 году в Москве вышла составленная Галаховым «Полная русская хрестоматия, или Образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших отечественных писателей». В ней были помещены восемь стихотворений Фета, причем шесть из них следовали за стихами Пушкина и в ближайшем соседстве с произведениями Жуковского.

В Москве увидели свет почти все поэтические книги Фета: первый, «студенческий» сборник «Лирический пантеон», книга стихотворений 1850 года, итоговый двухтомник 1863 года и, наконец, четыре выпуска «Вечерних Огней» (1883, 1885, 1888, 1891).

Москвичом сделали Фета не только творческие, но и жизненные связи — дружеские и родственные. Среди ближайшего окружения поэта в разные годы — семейства Боткиных, Толстых, Соловьевых, Коршей, Олсуфьевых.

В течение сорока лет в разных местах Москвы, у друзей и родных, находил себе Фет временный кров, пока, наконец, в 1881 году не стал «оседлым москвичом». Поэт поселился в собственном доме на Плющихе. «Афанасием Плющихинским» (по шутливой аналогии с Афанасием Александрийским) назвал Фета его друг, поэт и философ Владимир Соловьев, навсегда соединив имя знаменитого поэта с названием старинной московской улицы.

Фет купил дом именно на Плющихе, в Хамовнической части,

почти случайно. Но как будто сама судьба привела его сюда под конец жизни: совсем рядом, на Девичьем поле, находилась усадьба Погодина — его первое местожительство в 1838 году. Так сомкнулись в единое целое пять десятилетий московской жизни Фета.

И сейчас без имени Фета — «Афанасия Плющихинского» — мы не представляем себе литературной Москвы прошлого века.

* * *

Впервые будущий поэт побывал в Москве проездом в 1835 году. Тогда четырнадцатилетний дворянский недоросль Афанасий Шеншин ехал из родной усадьбы Новоселки, что под Мценском, к месту своего учения (этим местом оказался городок Верро в Лифляндии, ныне г. Выру Эстонской ССР).

Новая его встреча с Москвой состоялась через три года. В июне 1838 года ректору Московского университета было подано прошение о допуске к вступительным экзаменам, которое подписал «иностранец Афанасий Фёт», гессен-дармштадтский подданный. За этим странным «превращением» стояла жизненная трагедия, которая многое определила в судьбе и нравственном складе этого человека.

...В сентябре 1820 года владелец Новоселок, сорокачетырехлетний отставной гвардеец Афанасий Неофитович Шеншин, после годового отсутствия (он лечился на водах в Германии) вернулся в родную усадьбу. С ним приехала молодая женщина, немка Шарлотта Фёт, бросившая в Дармштадте своего старика отца Карла Беккера и мужа Иоганна Фёта. Шарлотту не остановило даже то, что дома у нее осталась годовалая дочь, а сама она была беременна на последних месяцах. Вскоре (в октябре или ноябре) у Шарлотты в Новоселках родился сын, названный Афанасием. Через два года лютеранка Шарлотта Фёт крестилась в русской церкви и получила имя Елизаветы Петровны. Добившись развода с Фётом (который, вероятно, получил из Новоселок большие деньги), она обвенчалась с Шеншиным по православному обряду.

Ребенок Шарлотты, родившийся осенью 1820 года в Новоселках, был записан в метрических документах сыном Шеншина. Этот подлог каким-то образом всплыл в 1834 году, последовал официальный запрос о рождении Афанасия и о браке его родителей. И тут жизнь мальчика испытала катастрофическое «превращение». Прожив четырнадцать лет в Новоселках, он вдруг был отвезен в Верро, помещен в частный пансион немца Крюммера и вскоре поставлен в известность, что ему следует отныне именоваться Афанасием Фётом. Эта «честная» немецкая фамилия (право на которую для Афанасия с большим трудом добились его мать и Афанасий Неофитович у дармштадтских родственни-

ков) спасала мальчика от позорного клейма незаконнорожденного, которое отбросило бы его на самое дно общества и навсегда закрыло бы перед ним все пути в жизни; но вместе с тем эта короткая фамилия принесла ее новому владельцу долгие жесточайшие нравственные пытки.

Оторванный от семьи, потерявший свою фамилию, отлученный от дома (его не брали в Новоселки даже на летние каникулы), одинокий Афанасий рос в чужом городе, чувствуя себя «собакой, потерявшей хозяина». Но в глубине души юного изгоя уже рождался тот свет, который вскоре станет его торжеством в борьбе с жизненным мраком: «В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность...»

Это подавал голос никому еще не ведомый творческий дар, это просилась к жизни поэзия. Но прежде чем эти тайные цветы появились, Афанасий должен был пережить новую перемену, столь же неожиданную, как и первая, но несравненно более радостную: по воле Шеншина он сменил Лифляндию на Россию, Верро — на Москву, пансион Крюммера — на пансион профессора Московского университета Погодина.

Осенью 1838 года погодинский пансионер становится студентом университета — и затем происходят события, которые и означают в его жизни момент «рождения поэта»: восемнадцатилетний Афанасий начал неудержимо писать стихи и познакомился с Аполлоном Григорьевым — тоже студентом университета и тоже горевшим страстью к стихотворству. Вскоре друзья стали и совсем неразлучны: в начале 1839 года Афанасий переехал в дом Григорьевых на Малой Полянке, в Замоскворечье, и поселился в комнатке на антресолях. В этом доме друзья готовили к печати первый, «студенческий» сборник стихов Афанасия. Он назывался «Лирический пантеон» и вышел в 1840 году под инициалами «А. Ф.». В этом же доме были созданы и многие уже зрелые, самобытные стихотворения, которые вскоре стали появляться в журналах под именем «А. Фет». (Эта полная подпись впервые появилась в конце 1842 года под стихотворением «Посейдон» в журнале «Отечественные записки». Может быть, следует приписать случаю, ошибке наборщика то, что буква «ё» превратилась в «е», но сама перемена была знаменательной: фамилия гессендармштадтского подданного отныне обращалась как бы в литературный псевдоним русского поэта...)

* * *

«Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,

Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что́ буду
Петь,— но только песня зреет».

В этих шестнадцати строках студента Фета можно было равно видеть и «лирический автопортрет», и поэтическую декларацию нового поэта. Но стихотворение это — еще и одна из самых ранних «весенних песней», того рода лирических созданий, которые составляют, может быть, сердцевину фетовского творчества. «Подобного лирического весеннего чувства природы мы не знаем во всей русской поэзии!» — воскликнет под впечатлением этих строк критик Василий Боткин, автор одной из лучших статей о творчестве Фета.

Вместе с тем вдумаемся в следующие слова: «Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства... Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять... страшное хаотическое брожение его души». Кто это говорит и о ком? Это слова Аполлона Григорьева, и сказаны они о ближайшем и задушевном друге его юности, Афанасии Фете, авторе стихотворения «Я пришел к тебе с приветом...». Фет всю жизнь отличался склонностью к приступам мрачной хандры. Однако то, о чем рассказывает Григорьев, есть явное свидетельство какого-то тяжелейшего духовного кризиса, пережитого поэтом в студенческие годы.

Но если этот кризис был действительно существенным событием жизни Фета того времени, когда происходило его становление как поэта, то, во-первых, где след этого события в его поэзии? а, во-вторых, как это связано с центральным мотивом Фета — с его «интуицией весны»? Ответ на первый вопрос дает строка, которую мы находим в одном из зрелых фетовских стихотворений

и в которой нельзя не увидеть признания той самой «духовной болезни», которую перенес поэт в юности:

«Душой и юн и болен...»

Ответ на второй вопрос дает весь тот поэтический текст, которому принадлежит строка; это одно из самых глубоких фетовских стихотворений, опубликованное в 1857 году, но представляющее собой воспоминание о временах московской юности:

«Был чудный майский день в Москве;
Кресты церквей сверкали,
Вились касатки под окном
И звонко щебетали.

Я под окном сидел, влюблен,
Душой и юн и болен.
Как пчелы, звуки вдалеке
Жужжали с колоколен».

Мир вокруг героя стихотворения праздничен: это и праздник природный — весна, и праздник церковный (сверкание крестов, колокольный трезвон). Эта праздничность настраивает на ожидание чего-то радостно-высокого, что предстоит пережить этой юной душе; но переживание это обретает форму весьма таинственную: вдруг «невольно дрогнула душа», ибо до слуха героя донеслись звуки похоронного пения («И шел и рос поющий хор»),— и вот уже поле зрения героя стихотворения заполнено одной траурной процессией. Все последующие строфы посвящены описанию похорон (хоронят юное существо, ибо гробик — розовый) с горем матери и надгробными рыданиями. Финал стихотворения как бы возводит в кульминацию его общую загадочность: все виденное оставляет у героя чувство, что «легко // И самое страданье».

Скажем сразу: ключом к постижению этого стихотворения может стать знание реальной обстановки событий, о которых в нем говорится. Легче всего, пожалуй, угадать место действия: окно, у которого сидит герой,— это, конечно, то самое окно, которое фигурирует в стихотворении «Печальная береза у моего окна...» и о котором сам Фет сказал, что речь идет тут о его комнате на антресолях григорьевского дома. Но столь точно зная место действия, хочется так же точно представить и время — этот «чудный майский день».

По некоторым косвенным свидетельствам можно предположить, что речь идет о первой фетовской весне на Малой Полянке — о мае 1839 года. А в этом году на середину мая пришлись Троицкие дни — важнейший праздник послепасхального периода, корнями уходящий в языческую древность: торжество весеннего

«духа растительности», прославление вновь зеленеющего «древа жизни». Именно народно-языческая Троица могла дать почву для того переживания и, скажем шире, мирочувствия, которое запечатлено в стихотворении «Был чудный майский день в Москве...», с его гениально-еретическим сближением церковной культовой музыки — колокольного звона — с жужжанием весенних пчел. Ведь по древнейшим народно-мифологическим представлениям пчела — не только весенний вестник в этом мире, но и посланец иного мира, ибо образ пчелы принимают души ушедших из этой жизни людей. Сравнивая с жужжанием пчел колокольные звуки, Фет тем самым и колокол делает голосом одновременно двух этих миров! Если прибавить к этому и «поющий хор» (особенность похоронного пения во время всего послепасхального периода в том, что погребальные мотивы чередуются с ликующими), то надо будет признать, что духовный центр фетовского стихотворения в строках:

«И непонятной силой
В душе сливался лик небес
С безмолвною могилой».

«Непонятной силой» Фет называл непостижимую бессмертную стихию жизни, которая олицетворялась для него в образе вечно юной Весны. За доказательством этого не надо далеко ходить — поэзия Фета подтверждает это на каждом шагу. Вот одно из самых программных стихотворений фетовской «весенней сюиты»:

«Ты пронеслась, ты победила,
О тайнах шепчет божество,
Цветет недавняя могила,
И бессознательная сила
Свое ликует торжество».

Именно поэтому в стихотворении «Был чудный майский день в Москве...», которое рассказывает об обряде похорон среди торжествующей весны, есть могила — но нет смерти! Ведь смерти принадлежит только «розовый гробик» — вот и все ее обладание: по эту сторону смерти — жизнь (в том числе душа самого героя), и по ту сторону — тоже жизнь (живая, парящая «молодая душа»). Как же после этого не возникнуть чувству, что «легко и самое страданье»!

Таким было то духовное переживание юного Афанасия, которое оказалось ключевым для его лирического дара. И дано было Фету это откровение — если воспользоваться словами его друга Аполлона Григорьева — «в густых садах диковинно-типического Замоскворечья», «в яркое и дразнящее и зовущее весеннее утро,

под звон московских колоколов», «от вторгающихся в раскрытое окно с ванильно-наркотическим воздухом призывов весны и жизни...».

* * *

Вся жизнь Фета — это чередование периодов то исключительно литературных занятий, то полного погружения в житейские заботы и практическую деятельность. Как-то в письме к великому князю К. Романову он дал свой разноликий портрет: «Солдат, коннозаводчик, поэт и переводчик».

Первым практическим поприщем в жизни поэта стала военная служба, которая сформировала из юного поэта зрелого мужа, оформила весь облик Фета— с тем его парадоксальным сочетанием практика и поэта, рациональности и интуитивности, которое так изумляло всегда близко знавших его людей: «Быть может, ни в ком из выдающихся современных писателей рассудочный элемент не переплетался с бессознательным так тесно и так неожиданно» (Д. Цертелев). Сам Фет однажды в письме к С. Толстой об этом же написал так: «Несмотря на исключительно интуитивный характер моих поэтических приемов, школа жизни, державшая меня все время в ежовых рукавицах, развила во мне до крайности рефлексию. В жизни я не позволю себе ступить шагу необдуманно...»

Вскоре после окончания университета, в 1845 году, Фет направляется в Херсонскую губернию, где квартировал Кирасирский Военного Ордена полк; он избрал «наследственный» для Шеншиных род войск — кавалерию. Сотни дворянских детей подобным же образом шли по стопам своих отцов-военных; но для Фета вступление на эту дорогу имело иной смысл: он вышел на борьбу с судьбой за возвращение в то лоно, откуда он был исторгнут. «Вольноопределяющийся действительный студент из иностранцев» мог снова стать законным членом своего дворянского рода только одним путем — поступить нижним чином в армию и дослужиться до офицера: первый же офицерский чин давал тогда право на потомственное дворянство.

Одиннадцать лет жизни отдал Фет военной службе (сначала в кирасирах в глухой херсонской провинции, а затем в лейб-гвардии уланском полку под Петербургом), беспощадно обуздав себя и упорно стремясь к своей цели. Но все оказалось напрасным: в 1856 году вышел указ нового императора Александра II, по которому потомственное дворянство давал только чин полковника. Чтобы его достигнуть, 36-летнему гвардейскому штабс-ротмистру Фету надо было служить, может быть, до конца жизни.

Это был роковой удар — и Фет отступил: 3 июня 1857 года он уволился в бессрочный отпуск, так и не достигнув своей цели: не получив права на потомственное дворянство, не вернув себе фами-

лию Шеншина. И если это не стало для него окончательной жизненной катастрофой, то только благодаря Москве, которая, как бы подав руку помощи, помогла ему найти новое жизненное русло.

В начале 1857 года, приехав в Москву, Фет стал появляться у своего старого знакомого, критика Василия Боткина в знаменитой боткинской усадьбе на Маросейке.

Еще студентом Фет не раз бывал в памятном многим литераторам боткинском флигеле. Близкими знакомыми и друзьями В. Боткина были Белинский, Грановский, Станкевич, Бакунин, Тургенев, Некрасов, Григорович. Старший сын крупного московского купца-чаеторговца П. К. Боткина Василий Петрович получил прекрасное образование, знал несколько европейских языков. Его обширные знания, разносторонние интересы и тонкий эстетический вкус привлекали к нему замечательных деятелей русской культуры и литературы.

В семье Боткиных выросли знаменитый врач-терапевт С. П. Боткин, академик живописи М. П. Боткин, крупнейший коллекционер произведений живописи и председатель Общества любителей художеств Д. П. Боткин.

Теперь Фета приводило в дом Боткиных желание общаться не только с Василием Петровичем, но и с его сестрой Марией Петровной.

8 апреля в пасхальную ночь, разговляясь у Боткиных, Фет написал в альбом Марии Петровны стихи:

«Победа! Безоружна злоба.
Весна! Христос встает из гроба,—
Чело огнем озарено.
Все, что манило, обмануло
И в сердце стихнувшем уснуло,
Лобзаньем вновь пробуждено.

Забыв зимы душевный холод,
Хотя на миг горяч и молод,
Навстречу сердцем к вам лечу.
Почуя неги дуновенье,
Ни в смерть, ни в грустное забвенье
Сегодня верить не хочу».

Строки эти оказались гораздо значительнее, чем просто «стихотворение на случай»,— Фет как бы вписывал в альбом Боткиной свою судьбу.

Вскоре состоялась помолвка Фета и Марии Петровны. В. Боткин писал сестре 29 июля 1857 года из Диеппа: «...я со своей стороны нахожу Фета во всех отношениях прекраснейшим и рассу-

дительным человеком и смею надеяться, что ты несчастлива с ним не будешь». Свадьбу сыграли 16 августа в Париже. В сентябре супруги были уже в Москве и поселились в новой квартире, которую Фет отыскал сам — в доме Е. Н. Сердобинской на Малой Полянке.

Он снова оказался в тех местах, где прошла его студенческая юность; жизнь делала круг, вернее, виток спирали. Бывший студент-стихотворец, так самобытно заявивший о себе в 1840-е годы, стал теперь знаменитым поэтом, первым лириком эпохи 1850-х годов.

В 1850 году в Москве в его отсутствие вышел давно приготовленный им вместе с Григорьевым поэтический сборник. Книга стала итогом первого, столь многообещающего этапа поэтического пути Фета. И в том же году во втором номере журнала «Москвитянин» было опубликовано стихотворение, с которого и началась громкая слава Фета,— «Шепот сердца, уст дыханье...». За ним последовали многочисленные публикации в других журналах, прежде всего в «Современнике».

В декабре 1853 года в редакции «Современника» появился «коренастый армейский кирасир» и скоро стал равным в кругу этого журнала, где собрался весь цвет русской литературы. Поэзию Фета хвалят литераторы, издатель «Современника» Некрасов усиленно ее пропагандирует, критика не скупится на самые лестные отзывы, у читателей он в моде и, наконец, «романсы его распевает чуть ли не вся Россия» (по словам М. Салтыкова-Щедрина).

Фет находился на вершине поэтического успеха, но, выйдя в 1858 году в отставку и поселившись в Москве, он должен был думать о средствах к существованию. Отставной штабс-ротмистр решил стать профессиональным литератором и взялся за переводы. «Днем я прилежно был занят переводами из Шекспира, стараясь в этой работе найти поддержку нашему скромному бюджету, а вечера мы почти безотлучно проводили в нашей чайной»,— вспоминал Фет на склоне лет.

Однажды в их чайной комнате появился Лев Толстой (знакомый с Фетом еще по Петербургу, по редакции «Современника») и сообщил, что его брат Николай Николаевич и сестра Мария Николаевна поселились вместе с ним в меблированных комнатах Варгина на Пятницкой. Толстые стали частыми гостями «сердобинки», как называли эту квартиру Фетов. А если добавить, что здесь бывали многие известные литераторы, включая Тургенева (который в начале 1858 года жил у Фетов несколько дней), то нужно признать, что «сердобинка» стала на какое-то время замоскворецким литературным центром.

И еще одним была известна в это время в Москве фетовская квартира — своими музыкальными «четвергами». Толстой записывает в дневнике 25 января 1858 года, вернувшись от Фета: «Завидно и радостно смотреть на его семейное счастье. Вечер музыкальный прелесть!» А. Григорьев познакомил как-то Фета с двумя музыкантами: с талантливым скрипачом, приятелем их общего друга поэта Полонского, и с молодой пианисткой Екатериной Сергеевной Протопоповой (впоследствие ставшей женой композитора Бородина). Оба музыканта участвовали в «четвергах» у Фетов.

Поводом для создания многих стихотворений Афанасия Фета была музыка: или инструментальная («Бал», «Шопену»), или, чаще всего, вокальная («Певице», «Сияла ночь...», «Я видел твой млечный, младенческий волос...»).

Фет всегда отстаивал «невольность», непосредственность поэзии, а в отношении себя прямо говорил об «исключительно интуитивном характере» своих поэтических приемов. Неудивительно поэтому, что он искал музыкальные способы в выражении не только поэтического слова, но и в излиянии своей души, в высказывании мыслей и чувств. Когда мы читаем у Фета: «Дело поэта найти тот звук, которым он хочет затронуть известную струну нашей души. Если он его сыскал, наша душа запоет ему в ответ», то вспоминаем московскую атмосферу того времени, когда Фет формировался как поэт,— 40-е годы XIX века.

«Это были годы стихийного разлива бытовой музыки с ее непосредственной эмоциональностью. В простодушных, написанных на лету песнях и романсах высказывали и изливали свои чувства...» (Б. Асафьев). Все хотели высказаться на том доступном «языке души», каким стало слово, соединившееся с музыкой в романсе. В этом разливе бытовой песенности, захватившей отдаленнейшие уголки русской жизни, был и свой центр: древняя столица, патриархальная и песенная Москва дала России двух творцов бытового романса — А. Алябьева и А. Варламова. Москва же родила и тот неповторимый исполнительский стиль, в котором романс достиг высочайшей вершины как явление искусства,— цыганское пение.

«Страстным цыганистом» (если применить к Фету его слова об Аполлоне Григорьеве) поэт оставался до конца своей жизни. «Скоро раздались цыганские мелодии, власть которых надо мною всесильна» — это слова из рассказа «Кактус», написанного в 1881 году. Рассказ построен на реальных эпизодах биографии поэта — на воспоминании о поездке с Григорьевым к московским цыганам, в Грузины. В целом же он представляет собой как бы важнейший мировоззренческий трактат, центральная тема которого любовь и музыка.

* * *

Но вот десятилетие, которое вынесло Фета к великой славе, подошло к концу. У порога стояла новая эпоха — 60-е годы — время кардинальных социальных преобразований, новых идейных веяний и резкого размежевания литературных и общественных сил. «Современник» становится органом революционной демократии; Некрасов делает выбор между Чернышевским, Добролюбовым — и Толстым, Тургеневым, Фетом. Резкое изменение «общего воздуха жизни», в котором все труднее дышалось Фету-лирику, разрыв в 1859 году с «Современником», убеждение в невозможности находить материальную опору в литературной деятельности — все это привело Фета в состояние тяжелой депрессии. В этой ситуации спасительным для него оказалось решение оставить литературу и заняться сельским хозяйством.

Сельскохозяйственный сезон 1861 года Фет провел уже на «своей земле»: на юго-западной окраине родного ему Мценского уезда. Среди голой степи он купил хутор Степановку с двумястами десятинами отличной черноземной пахотной земли. Семнадцать лет жизни отдал он Степановке, превратив ее в образцовое доходное хозяйство.

Во все время своей фермерской жизни Фет большую часть года проводил в Степановке; в Москву они с Марией Петровной приезжали только на два-три зимних месяца. Основным местом их пребывания в Москве стал дом Д. П. Боткина у Покровских ворот.

Именно в этом доме, на маскараде в январе 1863 года, Фет договаривается с известным московским книгоиздателем К. Т. Солдатенковым о весьма рискованной акции. В крайне неблагоприятное для всей поэзии время он хочет выпустить двухтомник своих оригинальных произведений и переводов, чтобы этим изданием как бы подвести итог своему 25-летнему творческому пути и вместе с тем утвердить свои литературно-эстетические позиции. Трудно сказать, сам ли Фет пришел к решению издать такую книгу или кто-то из его ближайших друзей (возможно, В. Боткин) внушил ему это. Книга вышла. Она была встречена шквалом пародий, насмешек, оскорблений со стороны радикально-разночинной журналистики, не имела никакого успеха у читателей и осталась почти нераспроданной.

Наступил глухой период для творчества Фета и его поэтической репутации — 60—70-е годы. Должно было пройти еще четверть века, и только к следующему его юбилею, к 50-летию творческой деятельности, снова были признаны его поэтический талант и высокое мастерство лирика. Для этого должны были появиться новые поколения его читателей и ценителей — поэтов и критиков, а сам он должен был пережить новый взлет своего поэтического гения, запечатленный в четырех книгах стихов с одинаковым на-

званием «Вечерние Огни», вышедших в Москве в 1883, 1885, 1888 и 1891 годах.

Поэт сравнивал свои последние книги с незанавешенными окнами дома, которые осветились вечером в ожидании прихода друзей. И друзья, идущие на Плющиху, в дом Фета, знали: за этими окнами живет тот, чьи «стихи проникнуты вечно юной силой вдохновения» (В. Соловьев), чей дар дает всем возможность «вздохнуть на мгновение чистым и свободным воздухом поэзии».

А. ТАРХОВ

Из живущих в Москве поэтов
всех даровитее г-н Фет.

В. Г. Белинский, 1843

Часть первая

Стихи 1840-х годов

•

Поэмы

•

Страницы прозы и воспоминаний

МОСКВА

(Из повести «Дядюшка и двоюродный братец»)

Вот мы наконец и в дороге. Дядюшка, Аполлон, Сережа и я в желтой карете, Евсей с Фомой на козлах, Иван на дрожках парой, а сзади повар в кибитке тройкой. Чего там нет, в этой кибитке! Постели, чемоданы, сундуки, книги, ноты, колотого сахару пуда два, чаю фунтов шесть. Я сам слышал, как тетушка обещала дядюшке присылать аккуратно через каждые три месяца в Москву колотый сахар, чай и вино. «Я знаю, Павел Ильич, ты не эконом, предоставь это мне».— «Делай, матушка, как хочешь». Хотя Глафира и говорила: «Люди из Москвы провизию возят, а мы в Москву», но тетушка не слыхала этого замечания; поэтому кибитку нагрузили так, что повару и сесть было негде. Ехали мы шибко, станции делали большие. Дядюшка почти во всю дорогу дремал, пошатываясь со стороны в сторону и значительно выставляя нижнюю губу. Мы с Сережей болтали всякий вздор. Аполлон нередко тоже не выдерживал роли, принимая участие в нашей болтовне. На постоялых дворах я, со свечкой в руках, осматривал все картины и надписи на дверях и окнах. Местах в трех читал: «Мы приехали в Калугу к любезному другу», раз пять видел тех же витязей, с красными поводьями в руках, топчущих без жалости целые армии. Иван появлялся иногда с пылающим носом и был до того несговорчив и резок в ответах, что дядюшка оставил его совершенно в покое. На шестой день, часу в двенадцатом, Евсей, обернувшись на козлах, постучал ногтями в передние стекла. «Что там такое?» — спросил проснувшийся дядюшка. Я опустил стекло. «Что тебе надо?» — «Москва показалась, сударь!» При этом известии все встрепенулись и высунули головы из окон. Напрасно кричал дядюшка: «Дети, упадете! Садитесь по местам!» — ничего не помогало. Я действительно упивался безграничной панорамой белого города и яркими звездами золотых глав, разбросанных по горизонту. «Сережа!

А, а?!» — вскричал я невольно. «Да...а...» — отвечал Сережа, не отрывая глаз от чудной картины. Воображению представился полный простор. Среди белого дня сбывалось все, что когда-то смутно представлялось. «Неужели я еду туда, вон туда, где так хорошо!» «Гаврюшка, трогай!» — закричал Фома с козел. Карета покатилась резвей, и поднявшееся облако пыли заслонило чудную картину.

Гораздо слабее было впечатление, произведенное на меня самим городом. Мне как-то странно было видеть почти такие же улицы, какие я видел в губернском городе. Те же будки и будочники, те же фонарные столбы и тротуары. Мостовая так же беспощадно тряска. Где же тот сказочный, волшебный мир, о котором я мечтал?.. Верно, впереди!

ИЗ КНИГИ «РАННИЕ ГОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ»

На другой день мы были уже в кибитке и через Петербург доехали в Москву. Здесь, по совету Новосильцова, я отдан был для приготовления к университету к профессору Московского университета, знаменитому историку М. П. Погодину.

В назначенный час я явился к Погодину.

Вместо всякого экзамена Михаил Петрович вынес мне Тацита и, снабдив пером и бумагой, заставил в комнате, ведущей к нему в кабинет, перевести страницу без пособия лексикона. Не знаю, в какой степени удовлетворительно исполнил я свою задачу; полагаю даже, что почтенный Михаил Петрович и не проверял моего перевода по оригиналу, но на другой день я вполне устроился в отдельном левом флигеле его дома.

Помещение мое состояло из передней и комнаты, выходящей задним окном на Девичье поле. Товарищем моим по комнате оказался некто Чистяков, выдержавший осенью экзамен в университет, но недопущенный в число студентов на том основании, что одноклассники его по гимназии, из которой он вышел, еще не окончили курса. Таким образом, жалуясь на судьбу, Чистяков снова принялся за Цицерона, «Энеиду» и исторические тетрадки Ивана Дмитр. Беляева, которого погодинские школьники прозывали «хром-бесом» (он был хром), в отличие от

латинского учителя Беляева, который прозывался «черненьким».

Когда последний в виде экзамена развернул передо мною наудачу «Энеиду», и я, не читая по-латыни, стал переводить ее по-русски, он закрыл книгу и поклонившись сказал: «Я не могу вам давать латинских уроков». И действительно, с той поры до поступления в университет я не брал латинской книги в руки. Равным образом для меня было совершенно бесполезно присутствовать на уроках математики, даваемых некоим магистром Хилковым школьникам, проживавшим в самом доме Погодина и состоявшим в ведении надзирателя немца Рудольфа Ивановича, обанкрутившегося золотых дел мастера. Рудольф Иванович к нам с Чистяковым вхож не был; но и у своих шаловливых и задорных учеников не пользовался особым вниманием и почетом.

Обедать и ужинать мы ходили в дом за общий стол с десятком учеников, составлявших Погодинскую школу, в которой продовольственною частью занималась старуха мать Погодина, Аграфена Михайловна, отличавшаяся крайней бережливостью...

Для ясности воспоминаний скажу несколько слов о расположении Погодинского дома и принадлежащих к нему угодий.

На восходящей от парадного крыльца стеклянной галерее было двое дверей; направо против крыльца нашего флигеля, в котором мы проживали с Чистяковым, и налево в переднюю, из которой неширокий коридор проходил через весь дом до противоположного девичьего крыльца, отделяя бо́льшую половину дома с приемной, обширной гостиной, превращенной в кабинет Погодина с балконом на Девичье поле, от домашних помещений. За парадной амфиладой находилась спальня и вообще женские комнаты.

За глухой стеной Погодинского кабинета находилась довольно обширная столовая, освещаемая сверху стеклянным куполом, крыша которого виднелась со всех пунктов Девичьего поля. Снизу столовая эта представлялась снабженной хорами, но в сущности они были балюстрадой, ведущей в комнаты мезонина, в которых мне бывать не пришлось, но памятных тем, что там с полгода проживал Гоголь. Впоследствии столовая эта была превращена Погодиным в портретную галерею писателей, лики которых в натуральную величину писал для него какой-то живописец, вероятно, за более чем умеренное вознаграж-

дение. Там красовались все представители исторической науки и поэзии от Ломоносова до Лермонтова и гр. Ростопчиной включительно. Посредине коридора дверь направо шла мимо домашних комнат в сад, начинавшийся лужайкой с беломраморной посредине вазой. Далее шла широкая и старинная липовая аллея до самого конца сада с беседкой из дикого винограда.

Кроме разнородных и тенистых деревьев, свешивавшихся через высокий деревянный забор на Девичье поле и обширных прудов, задернутых летом «зеленой сетью трав», при саде было большое количество земли, сдаваемой ежегодно под огородные овощи.

Выше я говорил о своем флигеле, по правую сторону при входе в дом; приходится упомянуть о другом флигеле, гораздо большем, по левую сторону дома. Флигель этот был в два этажа и в нижнем помещалась мужская Погодинская прислуга. Там же была и кухня. Во второй этаж вела деревянная лестница, разделявшая флигель на две части: направо с окнами на Девичье поле были небольшие комнаты, в которых помещался Рудольф Иванович с женой, малолетними детьми и кухаркой Марфой.

<...> Последним надворным строением обширной Погодинской дачи был деревянный флигель на углу Девичьего поля и переулка к Савве Освященному. Во флигеле этом помещался мещанин, отделивший в нем помещение для мелочной лавки.

Я не припомню, чтобы нам во флигеле, или ученикам в доме, подавался завтрак; поэтому неудивительно, что кроме чубуков, трубок и табаку мы посылали в лавку к сыну торговца Николаю, или Николашке, как мы его называли, за незатейливыми съестными припасами: калачами, дешевой паюсной икрой, колбасой и медом. Не раз приходивший к нам в комнату с просьбой дать затянуться из трубочки, Варпанов приносил весть, что «Вегнеры кутят, купили калачей и, положа их на плечо, расхаживают по комнате, протестуя против Аграфены Михайловны и намереваясь съесть калачи с покупным медом».

Вероятно под влиянием того же протеста я однажды разразился сатирическим стихотворением на Аграфену Михайловну, в котором был куплет:

Нет, сколько козней ты ни крой,
Я твоего не слышу бреда,
Пошлю я в лавку за икрой
И ждать не стану до обеда.

Каждый четверг родители Чистякова присылали ему со слугою большую кулебяку, преимущественно с кашей. Кулебяку эту на блюде, завязанном в салфетку, слуга Чистякова приносил на голове через Крымский мост изза Москвы-реки.

<...> Не одним примером долбления служил для меня, провинциального затворника, бывалый в своем роде Чистяков. При его помощи я скоро познакомился в Зубовском трактире с цыганским хором, где я увлекся красивою цыганкой. Заметив, что у меня водятся карманные деньжонки, цыгане заставляли меня платить им за песни и угощать их то тем, то другим. Такое увлечение привело меня не только к растрате всех наличных денег, но и к распродаже всего излишнего платья, начиная с енотовой шубки до фрачной пары. При этом дело иногда не обходилось без пьянства почти до бесчувствия. Надо сказать, что окно наше было окружено с обеих сторон колоннами, опиравшимися на высокий каменный цоколь, подымавшийся аршина на два с половиною от земли. Окно с вечера запиралось ставнями с Девичьего поля. Выходить ночью из нашего флигеля можно было не иначе, как по стеклянной галерее дома через парадную дверь. Подымать подобный шум, тем более летом, было немыслимо, так как Мих. Петр., работая в кабинете нередко за полночь, оставлял дверь на балкон отпертою и по временам выходил на свежий воздух. Поэтому мы, тихонько раскрыв свое окно и прикрывши отверстие снаружи ставнем, спрыгивали с цоколя на Девичье поле к подговоренному заранее извозчику, который и вез нас до трактира <...>

...перед самым вступительным экзаменом вошел прихрамывая человек высокого роста, лет под 30, с стальными очками на носу, и сказал: «Господа, честь имею рекомендоваться, ваш будущий товарищ Иринарх Иванович Введенский».

Оказалось, что он чуть ли не исключенный за непохвальное поведение из Троицкой духовной академии, недавно вышел из больницы и, не зная, что начать, обратился с предложением услуг к Погодину. Михаил Петрович, обрадовавшись сходному по цене учителю, пригласил его остаться у него и помог перейти без экзаменов на словесный факультет. Не только в тогдашней действительности, но и теперь в воспоминании не могу достаточно надивиться на этого человека. Не помню в жизни более блистательного образчика схоласта. Можно было подумать, что человек этот живет исключительно дилеммами и со-

физмами, которыми для ближайших целей управляет с величайшей ловкостью.

Познакомившись со Введенским хорошо, я убедился, что он в сущности знал только одно слово: «хочу»; но что во всю жизнь ему даже не приходил вопрос, хорошо ли, законно ли его хотенье. Так, первым рассказом его было, как он довел до слез в больнице сердобольную барыню, пришедшую к нему в комнату после пасхальной заутрени поздравить его со словами: «Христос воскрес!» «Вместо обычного «воистину воскрес»,— говорил Введенский,— я сказал ей: «Покорно вас благодарю». Озадаченная сердобольная назвала меня безбожником. «Не я безбожник, отвечал я, а вы безбожница. У вас не только нет бога, но вы даже не имеете о нем никакого понятия. Позвольте вас спросить, что вы подразумеваете под именем бога?» — Конечно, я хохотал над всеми нелепостями, которые она по этому вопросу начала бормотать и, убедившись, вероятно, в полном своем неведении, разревелась до истерики».

И по переходе в университет Введенский никогда не ходил на лекции. Да и трудно себе представить, что́ мог бы он на них почерпнуть. По-латыни Введенский писал и говорил так же легко, как и по-русски, и хотя выговаривал новейшие языки до неузнаваемости, писал по-немецки, по-французски, по-английски и по-итальянски в совершенстве. Генеалогию и хронологию всемирной и русской истории помнил в изумительных подробностях. Вскоре он перешел в наш флигель...

— Михаил Петрович,— сказал я, входя, за несколько дней до вступительных экзаменов в университет, к Погодину,— не зная ничего о формальных порядках, прошу вашего совета касательно последовательных мер для поступления в университет.

— И прекрасно делаете, почтеннейший. Идешь, надо узнать, к кому обратиться в университете: к сторожу или к его жене. А какой факультет?

— На юридический.

— Ну хорошо, я там секретарю скажу, а вы обратитесь к нему, и он вам все сделает.

Начались экзамены. Получить у священника протоиерея Терновского хороший балл было отличной рекомендацией, а я еще по милости Новосельских семинаристов был весьма силен в Катехизисе и получил пять. Каково

было мое изумление, когда на латинском экзамене, в присутствии главного латиниста Крюкова и декана Давыдова, профессор Клин подал мне для перевода Корнелия Непота. Чтобы показать полное пренебрежение к задаче, я, не читая латинского текста, стал переводить и получил пять с крестом.

Из истории добрейший Погодин, помимо всяких Ольговичей, спросил меня о Петре Великом, и при вопросе о его походах я назвал ему поход к Азовскому морю, Северную войну, Полтавскую битву и Прутский поход.

Из математики я, к счастию, услыхал от добрых людей, что Дмитрий Матвеевич Перевощиков, спрашивая у экзаменующегося: «Что вы знаете?» — терпеть не мог утвердительных ответов и тотчас же доказывал объявившемуся знающим хотя бы четыре первых правила, что он ничего не знает. Предупрежденный, я сказал, что проходил до таких-то пределов и, удачно разрешив в голове задачу, получил четверку.

Таким образом, поступление мое в университет оказалось блестящим, и я до того возгордился, что написал Крюммеру самохвальное письмо. В последний день экзаменов я заказал себе у военного портного студенческий сюртук, объявив, что не возьму его, если он не будет в обтяжку. Я знал некоторых, не менее меня гордых первым мундиром, как вывескою известной зрелости для научных трудов. Но мой восторг мундиром был только предвкушением офицерского, составлявшего мой всегдашний идеал. Независимо от того, что все семейные наши предания не знали другого идеала, офицерский чин в то время давал потомственное дворянство, и я не раз слыхал от отца, по поводу какого-то затруднения, встреченного им в герольдии: «Мне дела нет до их выдумок; я кавалерийский офицер и потому потомственный дворянин».

В таких кавалерийских стремлениях надо, кажется, искать разгадки все более и более охватывавшего меня чувства отвращения к юридическому поприщу, на котором я вместо гусара видел себя крючкотворцем. И вот не прошло двух недель, как я появился у Погодина в кабинете со следующей речью:

— Михаил Петрович, не откажите еще раз в вашей помощи. Я ненавижу законы и не желаю оставаться на юридическом факультете, а потому помогите мне перейти на словесный.

— Вот, вот, подумаешь, у теперешней молодежи какие разговоры! Ненавижу законы! Что ж вы, почтенней-

ший, беззаконник, что ли? Ведь на словесный факультет надо додерживать экзамен из греческого.

— Буду держать, Михаил Петрович.

— Да ведь вам надо сильно дорожить университетом, коли вы человек без имени. Я, почтеннейший, студентов у себя в доме не держу, но для вас делаю исключение до Нового года.

Добрейший профессор Василий Иванович Оболенский развернул мне первую страницу «Одиссеи», хорошо мне знакомую, и поставил пять. И вот я поступил на словесный факультет.

Когда минула горячая пора экзаменов и Введенский надел тоже студенческий мундир, мы трое стали чаще сходиться по вечерам к моему или медюковскому самовару. Заметив, вероятно, энтузиазм, с которым добродушный и сирый юноша вспоминал о своем воспитателе Ганзиере, прямолинейный Введенский не отказывал себе в удовольствии продернуть бедного Медюкова, сильно отдававшего польским духом.

— Позвольте, господа,— восклицал Введенский,— чтобы правильнее относиться к делу, следует понять, что Ганзиер миф. Для каждого понимающего, что такое миф, несомненно, что когда идет дело о русском юноше, получающем образование через сближение с иностранцами, то невольно возникает образ Ганзы, сообщившей нашим непочатым предкам свое образование. Во избежание некоторой сложности такого представления, миф уловляет тождественными звуками нужное ему олицетворение, и появляется Ганзиер миф.

Надо было видеть, до какой степени оскорбляло Медюкова такое отношение к его воспитателю. Он кипятился, выходил из себя и, наконец, со слезами просил не говорить этого. Таким образом миф Ганзиер был оставлен в покое.

Никогда с тех пор не приводилось мне видеть такого холодного и прямолинейного софиста, каким был наш Иринарх Иванович Введенский.

Оглядываясь в настоящее время на эту личность, я могу сказать, что это был тип идеального нигилиста. Ни в политическом, ни в социальном отношении он ничего не желал, кроме денег, для немедленного удовлетворения мгновенных прихотей, выражавшихся в самых примитивных формах. Едва ли он различал непосредственным чувством должное от недолжного.

Во всем, что называется убеждением, он представлял

белую страницу, но в умственном отношении это была машина для выделки софизмов, наподобие специальных машин для шитья или вязанья чулок.

— Позвольте,— говорил он, услыхав самую несомненную вещь,— такое убеждение требует доказательств; а их в данном случае не только нет, но есть множество в пользу противоположного.

Но и при такой прямолинейности возможны, не скажу, страсти, а минутные увлечения. Так, нескольких лишних рюмок водки или хересу было достаточно, чтобы Введенский признался нам в любви, которую питает к дочери троицкого полицмейстера Засицкого, за которою ухаживает какой-то более поощряемый офицер.

Однажды он даже прочел мне письмо, написанное им к разборчивой матери девушки, в котором он два пола сравнивал с двумя половинками разрезанного яблока.

В настоящую минуту мне ясно, до какой степени это сухое и сочиненное сравнение обличало головной характер его отношений к делу. Под влиянием неудачи он вдруг неведомо отчего приступил ко мне с просьбой написать сатирические стихи на совершенно неизвестную мне личность офицера, ухаживающего за предметом его страсти.

Несколько дней мучился я неподсильною задачей и наконец разразился сатирой, которая, если бы сохранилась, прежде всего способна бы была пристыдить автора; но не так взглянул на дело Введенский и сказал: «Вы несомненный поэт, и вам надо писать стихи». И вот жребий был брошен.

С этого дня, вместо того чтобы ревностно ходить на лекции, я почти ежедневно писал новые стихи, все более и более заслуживающие одобрения Введенского.

<...> Но судьбе угодно было с дороги мертвящей софистики перевести меня на противоположную стезю беззаветного энтузиазма.

Познакомившись в университете, по совету Ив. Дм. Беляева, с одутловатым, сероглазым и светло-русым Григорьевым, я однажды решился поехать к нему в дом, прося его представить меня своим родителям.

Дом Григорьевых с постоянно запертыми воротами и калиткою на задвижке находился за Москвой-рекой на Малой Полянке, в нескольких десятках саженей от церкви Спаса в Наливках. Приняв меня как нельзя более радушно, отец и мать Григорьева просили бывать у них по воскресеньям. А так как я в это время ездил к ним на парном извозчике, то уже на следующее воскресенье ста-

рики буквально доверили мне свозить их Полонушку в цирк. До той поры они его ни с кем и ни под каким предлогом не отпускали из дому. Оказалось, что Аполлон Григорьев, невзирая на примерное рвение к наукам, успел, подобно мне, заразиться страстью к стихотворству, и мы в каждое свидание передавали друг другу вновь написанное стихотворение.

Свои я записывал в отдельную желтую тетрадку, и их набралось уже до трех десятков. Вероятно, заметив наше взаимное влечение, Григорьевы стали поговаривать, как бы было хорошо, если бы, отойдя к Новому году от Погодина, я упросил отца поместить меня в их доме вместе с Аполлоном, причем они согласились бы на самое умеренное вознаграждение.

Все мы хорошо знали, что Николай Васильевич Гоголь проживает на антресолях в доме Погодина, но никто из нас его не видал. Только однажды, всходя на крыльцо Погодинского дома, я встретился с Гоголем лицом к лицу. Его горбатый нос и светло-русые усы навсегда запечатлелись в моей памяти, хотя это была единственная в моей жизни с ним встреча. Не будучи знакомы, мы даже друг другу не поклонились.

О своих университетских занятиях в то время совестно вспомнить. Ни один из профессоров, за исключением декана Ив. Ив. Давыдова, читавшего эстетику, не умел ни на минуту привлечь моего внимания, и, посещая по временам лекции, я или дремал, поставивши кулак на кулак, или старался думать о другом, чтобы не слыхать тоску наводящей болтовни. Зато желтая моя тетрадка все увеличивалась в объеме, и однажды я решился отправиться к Погодину за приговором моему эстетическому стремлению.

— Я вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю,— сказал Погодин,— он в этом случае лучший судья.

Через неделю я получил от Погодина тетрадку обратно со словами: «Гоголь сказал, это несомненное дарование».

<...> Однажды, когда, пуская дым из длиннейшего гордового чубука, я читал какой-то глупейший роман, дверь отворилась и на пороге совершенно неожиданно появился отец в медвежьей шубе. Зная от меня, как враждебно смотрит отец мой на куренье табаку, не куривший Введенский, услыхав о приезде отца, вбежал в комнату и сказал: «Извини, что помешал, но я забыл у тебя свою трубку и табак».

Эта явная ложь до того не понравилась отцу, что он впоследствии не иначе говорил о Введенском, как называя его «соловьем-разбойником» <...>

— Ты говорил мне,— сказал он,— о семействе Григорьевых. Поедем к ним. Я очень рад познакомиться с хорошими людьми. Да и тебе, по правде-то сказать, было бы гораздо полезнее попасть под влияние таких людей вместо общества «соловья-разбойника».

И при этом отец не преминул прочитать наизусть один из немногих стихов, удержавшихся в его памяти вследствие их назидательности:

Простой цветочек дикий
Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой.
И что же? От нее душистым стал и сам.
Хорошее всегда знакомство в прибыль нам.

У Григорьевых взаимное впечатление отцов наших оказалось самым благоприятным. Старик Григорьев сумел придать себе степенный и значительный тон, упоминая имена своих значительных товарищей по дворянскому пансиону. Что же касается до моего отца, то напускать на себя серьезность и сдержанность ему никакой надобности не предстояло.

Мать Григорьева Татьяна Андреевна, скелетоподобная старушка, поневоле показалась отцу солидною и сдержанной, так как при незнакомых она воздерживалась от всякого рода суждений. Мой товарищ Аполлон не мог в то время кому бы то ни было не понравиться. Это был образец скромности и сдержанности. Конечно, родители не преминули блеснуть его действительно прекрасной игрой на рояле.

Пока мы с Аполлоном ходили осматривать антресоли, где нам предстояло поместиться, родители переговорили об условиях моего помещения на полном со стороны Григорьевых содержании. В виду зимних и продолжительных летних вакаций, годовая плата была установлена в 300 рублей.

На другой день утром Илья Афанасьевич перевез немногочисленное мое имущество из Погодинского флигеля к Григорьевым, а я, проводивши отца до зимней повозки, отправился к Григорьевым на новоселье.

Дом Григорьева, с парадным крыльцом со двора, состоял из каменного подвального этажа, занимаемого кух-

ней, служившею в то же время и помещением для людей, и опиравшегося на нем деревянного этажа, представлявшего, как большинство русских домов, венок комнат, расположенных вокруг печей. С одной стороны дома, обращенной окнами к подъезду, была передняя, зала, угольная гостиная с окнами на улицу, и далее по другую сторону дома столовая, затем коридор, идущий обратно по направлению к главному входу. По этому коридору была хозяйская спальня и девичья. Если к этому прибавить еще комнату налево из передней, выходящую окнами в небольшой сад, то перечислены будут все помещения, за исключением антресолей. Антресоли, куда вела узкая лестница с двумя заворотами, представляли два совершенно симметрических отделения, разделенные перегородкой. В каждом отделении было еще по поперечной перегородке, в качестве небольших спален. Впоследствии я узнал, что в правом отделении, занятом мною, долго проживал дядька француз, тогда как молодой Аполлон Александрович жил в отделении налево, которое занимал и в настоящее время. Француз кончил свою карьеру у Григорьевых, по рассказам Александра Ивановича, тем что за год до поступления Аполлона в университет, напился на Святой до того, что, не различая лестницы, слетел вниз по всем ступенькам. Рассказывая об этом, Александр Иванович прибавлял: «Снисшел еси в приисподняя земли».

Для меня следом многолетнего пребывания француза являлось превосходное знание Аполлоном французского языка, с одной стороны, и с другой — бессмысленное повторение пьяным поваром Игнатом французских слов, которых он наслышался, прислуживая гувернеру.

— Коман ву порте ву? Вуй мосье. Пран дю те *.

Ал. Ив. Григорьев и родной брат его Николай Иванович родились в семье владимирского помещика; но поступя на службу, отказались от небольшого имения в пользу преклонной матери и двух, если не трех, сестер, старых девиц. Николай Иванович служил в каком-то пехотном полку, а Александра Ивановича я застал секретарем в московском магистрате. Жалованье его, конечно, по тогдашнему времени было ничтожное, а размеров его дохода я даже и приблизительно определить не берусь. Дело в том, что жили Григорьевы если не изящно, зато в изобилии, благодаря занимаемой им должности.

---

* Как вы себя чувствуете? Да, месье. Пей чай *(искаж. фр.)*.— *Ред.*

Лучшая провизия к рыбному и мясному столу появлялась из Охотного ряда даром. Полагаю, что корм пары лошадей и прекрасной молочной коровы, которых держали Григорьевы, им тоже ничего не стоил.

По затруднительности тогдашних путей сообщения, Григорьевы могли снабжать мать и сестер только вещами, не подвергающимися порче, но зато последними к праздникам не скупились. К Святой или по просухе через знакомых подрядчиков высылался матери годовой запас чаю, кофею и красного товару.

В шестилетнее пребывание мое в доме Григорьевых я успел лично познакомиться с гостившими у них матерью и сестрами.

Но о холостой жизни Александра Ивановича и женитьбе его на Татьяне Андреевне я мог составить только отрывочные понятия из слов дебелой жены повара Лукерьи, приходившей в отсутствие Григорьевых, отца и сына, наверх убирать комнаты и ненавидевшей свою госпожу до крайности. От Лукерьи я слыхал, что служивший первоначально в сенате Александр Иванович увлекся дочерью кучера и, вследствие препятствия со стороны своих родителей к браку, предался сильному пьянству. Вследствие этого он потерял место в сенате и, прижив с возлюбленною сына Аполлона, был поставлен в необходимость обвенчаться с предметом своей страсти. Когда я зазнал Алекс. Ив., он не брал в рот капли горячительных напитков. Так как, верный привычке не посещать лекций, я оставался дома, то, проходя зачем-либо внизу, не раз слыхивал, как Татьяна Андреевна громким шепотом читала старинные романы, вроде «Постоялый двор», и, слыша шипящие звуки: «по-слее-воос-хоож-деее-ни-яяя солн-цааа», я убедился, что грамота нашей барыне не далась, и что о чтении писанного у нее не могло быть и речи. Тем не менее голос ее был в доме решающим, едва ли во многих отношениях не с большим правом, чем голос самого старика. Осуждать всегда легко, но видеть и понимать далеко не легко. А так как дом Григорьевых был истинною колыбелью моего умственного я, то позволю себе остановиться на некоторых подробностях в надежде, что они и мне и читателю помогут разъяснить полное мое перерождение из бессознательного в более сознательное существо. Добродушный и шутливый по природе, Александр Иванович был человек совершенно беспечный. Это основное качество он передал и сыну. Я нередко присутствовал при незначительных наставлениях матери сыну,

но никогда не слыхал, чтобы она наставляла своего мужа. Тем не менее чувствовалось в воздухе, что тот заматерелый догматизм, под которым жил весь дом, исходил от Татьяны Андреевны, а не от Александра Ивановича, который по рефлексии догматически и беззаветно подчинялся своей жене.

Утром в $7^1/_2$ часов летом и зимой, когда я еще валялся на кровати, Аполлон, или, как родители его называли, Полошенька, вскакивал с кровати, одевался и бежал в залу к рояли, чтобы звуками какой-либо сонаты будить родителей. В 8 часов отец, до половины одетый, но в теплой фуфайке и ермолке на обнаженной голове, выходил вместе с женой, одетою в капот и неизменный чепчик с оборкою, в столовую к готовому самовару. Там небольшая семья пила чай, присылая мне мою кружку наверх. Затем Александр Иванович, наполнив свежестертым табаком круглую табакерку, шел в спальню переменить ермолку на рыжеватый, деревянным маслом подправленный, парик и, надев форменный фрак, поджидал Аполлона, который в свою очередь в студенческом сюртуке и фуражке бежал пешком за отцом через оба каменных моста и Александровский сад до Манежа, где Аполлон сворачивал в университет, а отец продолжал путь до присутственных мест. К двум часам обыкновенно кучер Василий выезжал за Аполлоном, а старик большею частию возвращался домой пешком. В три часа мы все четверо сходились внизу в столовой за сытным обедом. После обеда старики отправлялись вздремнуть, а мы наверх — предаваться своим обычным занятиям, состоявшим главным образом для Аполлона или в зубрении лекций или в чтении, а для меня отчасти тоже в чтении, прерываемом постоянно возникающим побуждением помешать Аполлону и увлечь его из автоматической жизни памяти хотя бы в самую нелепую жизнь всякого рода причуд. В 8 часов мы снова нередко сходили чай пить и затем уже возвращались в свои антресоли до следующего утра. Так, за исключением праздничных дней, в которые Аполлон шел с отцом к обедне к Спасу в Наливках, проходили дни за днями без малейших изменений.

Казалось, трудно было бы так близко свести на долгие годы две такие противоположные личности, как моя и Григорьева. Между тем нас соединяло самое живое чувство общего бытия и врожденных интересов. Я знал и чувствовал, до какой степени Григорьев, среди стеснительной догматики домашней жизни, дорожил каждою свобод-

ною минутой для занятий; а между тем я всеми силами старался мешать ему, прибегая иногда к пытке, выстраданной еще в Верро и состоящей в том, чтобы, поймав с обеих сторон кисти рук своей жертвы и подсунув в них снизу под ладони большие пальцы, вдруг вывернуть обе свои кисти, не выпуская рук противника, из середины ладонями кверху; при этом не ожидавший такого мучительного и беспомощного положения рук противник лишается всякой возможности защиты. При таких отношениях надо было бы ожидать между нами враждебных чувств, но в сущности было наоборот. Я от души любил свою жертву, а Аполлон своего мучителя, и если слово «воспитание» не пустой звук, то наше сожительство лучше всего можно сравнить с точением одного ножа о другой, хотя со временем лезвия их получат совершенно различное значение.

Связующим нас интересом оказалась поэзия, которой мы старались упиться всюду, где она нам представлялась, принимая иногда первую лужу за Ипокрену.

Начать с того, что Александр Иванович сам склонен был к стихотворству и написал комедию, из которой отрывки нередко декламировал с жестами; но Аполлон, видимо, стыдился грубого и безграмотного произведения отцовской музы. Зато сам он с величайшим одушевлением декламировал свою драму в стихах под названием: «Вадим Нижегородский». Помню, как, надев шлафрок на опашку, вроде простонародного кафтана, он, войдя в дверь нашего кабинета, бросался на пол, восклицая:

О, земля моя родимая,
Край отчизны, снова вижу вас!..
Уж три года протекли с тех пор,
Как расстался я с отечеством.
И те три года за целый век
Показались мне, несчастному.

Конечно, в то время я еще не был в силах видеть все неуклюжее пустозвонство этих мертворожденных фраз; но что это не ладно, я тотчас почувствовал и старался внушить это и Григорьеву. Так родилась эпиграмма:

Григорьев, музами водим,
Налил чернил на сор бумажный
И вопиет с осанкой важной:
Вострепещите! — мой Вадим.

Писал Аполлон и лирические стихотворения, выражавшие отчаяние юноши по случаю отсутствия в нем поэтического таланта.

«Я не поэт, о боже мой!» — восклицал он.

Зачем же злобно так смеялись,
Так ядовито надсмехались
Судьба и люди надо мной?

По этим стихам надо было бы ожидать в Аполлоне зависти к моим стихотворным попыткам. Но у меня никогда не было такого ревностного поклонника и собирателя моих стихотворных набросков, как Аполлон. Вскорости после моего помещения у них в доме моя желтая тетрадка заменена была тетрадью, тщательно переписанною рукой Аполлона.

Бывали случаи, когда мое вдохновение воплощало переживаемую нами сообща тоскливую пустоту жизни. Сидя за одним столом в течение долгих зимних вечеров, мы научились понимать друг друга на полуслове, причем отрывочные слова, лишенные всякого значения для постороннего, приносили нам с собою целую картину и связанное с ними знакомое ощущение.

— Помилуй, братец,— восклицал Аполлон,— чего стоит эта печка, этот стол с нагоревшей свечою, эти замерзлые окна! Ведь это от тоски пропасть надо!

И вот появилось мое стихотворение

Не ворчи, мой кот мурлыка...

долго приводившее Григорьева в восторг. Чуток он был на это, как Эолова арфа.

Помню, в какое восхищение приводило его маленькое стихотворение «Кот поет, глаза прищуря», над которым он только восклицал: — Боже мой, какой счастливец этот кот и какой несчастный мальчик!

Аполлон в совершенстве владел французским языком и литературой, и при нашей встрече я застал его погруженным в «Notre Dame de Paris» * и драмы Виктора Гюго. Но главным в то время идолом Аполлона был Ламартин. Последнее обстоятельство было выше сил моих. Несмотря на увлечение, с которым я сам перевел «Озеро» Ламартина, я стал фактически, чтением вслух убеждать Григорьева в невозможной прозаичности бесконечных стихов Ламартина и довел Григорьева до того, что он стал бояться чтения Ламартина, как фрейлины Анны Иоановны боялись чтения Тредьяковского. Зато как описать восторг мой, когда после лекции, на которой Ив. Ив. Да-

* «Собор Парижской богоматери» *(фр.).— Ред.*

выдов с похвалою отозвался о появлении книжки стихов Бенедиктова, я побежал в лавку за этой книжкой?!

— Что стоит Бенедиктов? — спросил я приказчика.

— Пять рублей,— да и стоит. Этот почище Пушкина-то будет.

Я заплатил деньги и бросился с книжкою домой, где целый вечер мы с Аполлоном с упоением завывали при ее чтении. Но, поддаваясь байроновско-французскому романтизму Григорьева, я вносил в нашу среду не только поэта-мыслителя Шиллера, но, главное, поэта объективной правды Гете. Талантливый Григорьев сразу убедился, что без немецкого языка серьезное образование невозможно, и, при своей способности, прямо садился читать немцев, спрашивая у меня незнакомые слова и обороты. Через полгода Аполлон редко уже прибегал к моему оракулу, а затем стал самостоятельно читать философские книги, начиная с Гегеля, которого учение, распространяемое московскими юридическими профессорами с Редкиным и Крыловым во главе, составляло главнейший интерес частных бесед студентов между собою. Об этих беседах нельзя не вспомянуть, так как настоящим заглавием их должно быть *Аполлон Григорьев*. Как это сделалось, трудно рассказать по порядку; но дело в том, что со временем, по крайней мере через воскресенье, на наших мирных антресолях собирались наилучшие представители тогдашнего студенчества. Появлялся товарищ и соревнователь Григорьева по юридическому факультету, зять помощника попечителя Голохвастова Ал. Вл. Новосильцев всегда милый, остроумный и оригинальный. Своим голосом, переходящим в высокий фальцет, он утверждал, что Московский университет построен по трем идеям: тюрьмы, казармы и скотного двора, и его шурин приставлен к нему в качестве скотника. Приходил постоянно записывающий лекции и находивший еще время давать уроки будущий историограф С. М. Соловьев. Он, по тогдашнему времени, был чрезвычайно начитан и, располагая карманными деньгами, неоднократно выручал меня из беды, давая десять рублей взаймы. Являлся веселый, иронический князь Влад. Ал. Черкасский с своим прихихикиванием через зубы, выдающейся вперед нижней челюстью. Снизу то и дело прибывали новые подносы со стаканами чаю, ломтиками лимона, калачами, сухарями и сливками. А между тем в небольших комнатах стоял стон от разговоров, споров и взрывов смеха. При этом ни малейшей тени каких-либо социальных вопросов. Возни-

кали одни отвлеченные и общие: как, например, понимать по Гегелю отношение разумности к бытию?

— Позвольте, господа,— воскликал добродушный Н. М. О-в,— доказать вам бытие божие математическим путем. Это неопровержимо.

Но не нашлось охотников убедиться в неопровержимости этих доказательств.

— Конечно,— кричал светский и юркий Жихарев,— Полонский несомненный талант. Но мы, господа, непростительно проходим мимо такой поэтической личности, как Кастарев:

Земная жизнь могла здесь быть случайной,
Но не случайна мысль души живой.

— Кажется, господа, стихи эти не требуют сторонней похвалы.

— Натянутость мысли,— говорит прихихикивая Черкасский,— не всегда бывает признаком ее глубины, а иногда прикрывает совершенно противоположное качество.

— Это противоположное,— пищит своим фальцетом Новосильцев,— имеет несколько степеней: il y a des sots simples, des sots graves et des sots superfins *.

Что касается меня, то едва ли я был не один из первых, почуявших несомненный и оригинальный талант Полонского. Я любил встречать его у нас наверху до прихода еще многочисленных и задорных спорщиков, так как надеялся услыхать новое его стихотворение, которое читать в шумном сборище он не любил. Помню, в каком восторге я был, услыхав в первый раз:

Мой костер в тумане светит,
Искры гаснут на лету...

Появлялся чрезвычайно прилежный и сдержанный С. С. Иванов, впоследствии товарищ попечителя Московского университета. С великим оживлением спорил, сверкая очками и темными глазками, кудрявый К. Д. Кавелин, которого кабинет в доме родителей являлся в свою очередь сборным пунктом нашего кружка.

Приходил к нам и весьма способный и энергичный, Шекспиру и в особенности Байрону преданный, Студицкий. Жаль, что в настоящее время я не помню ни одного

* Бывают дураки простые, дураки важные и дураки сверхтонкие (*фр.*).— *Ред.*

из превосходных его стихотворных переводов еврейских мелодий Байрона. Вынужденный тоже давать уроки, он всем выхвалял поэтический талант одного из своих учеников, помнится, Карелина. Из приводимых Студицким стихов юноши, в которых говорится о противоположности чувств, возбуждаемых в нем окружающим его буйством жизни, я помню только четыре стиха:

Как часто внимая их песням разгульным,
Один я меж всеми молчу,
Как часто, внимая словам богохульным,
Тихонько молиться хочу.

Что Григорьев с 1-го же курса совершенно безнамеренно сделался центром мыслящего студенческого кружка, можно видеть из следующего случая. Григорьев был записан слушателем, и в числе других был причиной неоднократно повторяемой деканом юридического факультета Крыловым остроты, что слушатели и суть действительные слушатели. Вспоминаю об этом, желая указать на то, что какой-то слушатель Григорьев не мог представлять никакого интереса в глазах властительного и блестящего попечителя графа Строганова. Между тем Аполлон был потребован к попечителю, который спросил его по-французски, им ли было написано французское рассуждение, поданное при полугодичном испытании? Оно так хорошо, прибавил граф, что я усомнился, чтобы оно было писано студентом, и на утвердительный ответ Григорьева прибавил: «vous faites trop parler de vous; il faut vous effacer» *.

Наглядным доказательством участия, возбуждаемого Аполлоном Григорьевым в преподавателях, может служить то обстоятельство, что малообщительный декан Никита Иванович Крылов,— недавно женившийся на красавице Люб. Фед. Корш, выходя с лекции, пригласил Аполлона в следующее воскресенье к себе пить чай. Конечно, Аполлон с торжеством объявил об этом родителям и вечером в воскресенье вернулся обвороженный любезностью хозяйки и ее матери, приезжавшей на вечер с двумя дочерьми.

Аполлон рассказывал мне, что вдова генеральша Корш целый вечер толковала с ним о Жорж Занд, и, к великому его изумлению, говорила наизусть мои стихи, а в довершение просила привести меня и представить ей. Мы оба

* Вы заставляете слишком много говорить о себе, вам нужно стушеваться *(фр.).— Ред.*

не раскаялись, что воспользовались любезным приглашением.

45-летняя вдова была второю женою покойного заслуженного доктора Корша и, несмотря на крайнюю ограниченность средств, умела придать своей гостиной и двум молодым дочерям, Антонине и Лидии, совершенно приличный, чтобы не сказать изящный вид. Я не видал их никогда иначе, как в белых полубальных платьях. Иногда па вечера к матери приезжала старшая ее дочь, можно сказать, идеальная красавица Куманина. Идеалом всех этих дам была Консвелло Жорж Занд, и все их симпатии, по крайней мере на словах, склонялись в эту сторону. В скором времени за вечерним чаем у них мы стали встречать Конст. Дм. Кавелина, который состоя едва ли уже не на 4-м курсе, видимо интересовался обществом молодых девушек. Надо сказать правду, что хотя меньшая далеко уступала старшей в выражении какой-то воздушной грации и к тому же, торопясь высказать мысль, нередко заикалась, но обе они, прекрасно владея новейшими языками, отчасти музыкой и, при известном свободомыслии, хорошими манерами, могли для молодых людей быть привлекательными.

Не берусь определить времени, когда нам стало известным, что старшая Антонина дала слово выйти за Кавелина.

Надо отдать справедливость старикам Григорьевым, что они были чрезвычайно щедры на все развлечения, которые могли, по их мнению, помогать развитию сына. В этом случае первое место занимал Большой и Малый (французский) театры. Хотя мы нередко наслаждались с Григорьевым изящною и тонкою игрой французов, но главным источником наслаждений был для нас Большой театр с Мочаловым в драме, Ферзингом, Нейрейтер и Беком в опере. Что сказать об игре Мочалова, о которой так много было говорено и писано в свое время? Не одни мы с Григорьевым, сидя рядом, подпадали под власть очарователя, заставлявшего своим язвительным шепотом замирать весь театр сверху донизу. При дальнейшем ходе воспоминаний придется рассказать, как однажды я был изумлен наивным отношением Мочалова к произведениям литературы вообще. В настоящую минуту, озираясь на Мочалова в Гамлете по преимуществу, я не умею ничем другим объяснить магического действия его игры, кроме его неспособности понимать Шекспира во всем его объеме. Понимать Шекспира или даже одного Гамлета — дело

далеко не легкое, и подобно тому, как виртуозу, разыгрывающему музыкальную пиесу, невозможно сознательно брать каждую отдельную ноту, а достаточно понимать характер самой пиесы, так и чтецу нет возможности сознательно подчеркивать каждое отдельное выражение, а достаточно понимать общее содержание. Но в этом-то смысле я решаюсь утверждать, что Мочалов совершенно не понимал Гамлета, игрой которого так прославился. Мочалов был по природе страстный, чуждый всякой рефлексии человек. Эта страстность вынуждала его прибегать к охмеляющим напиткам, и тут он был воплощением того, что Островский выразил словами: «не препятствуй моему нраву». Поэтому он не играл роли необузданного человека: он был таким и гордился этим в кругу своих приверженцев. Он не играл роли героя, влюбленного в Офелию или Веронику Орлову; он действительно был в нее безумно влюблен. Он действительно считал себя героическим лицом, и когда однажды, получив небольшое жалованье, давно ожидаемое нуждавшимся семейством, он вышел из кассы, то на просьбу хромого инвалида, подавая все деньги, сказал: «Выпей за здоровье Павла Степановича Мочалова». Однажды, выпив под Донским монастырем с друзьями весь запас вина, он отправил к настоятелю такую записку: «У Павла Степановича Мочалова нет более ни капли вина, и он надеется на подкрепление из вашего благодатного погреба». Говорили, что подкрепление прибыло. Итак, мне кажется, что Мочалов искал не воспроизведения известного поэтического образа, а только наиболее удобного случая показаться перед публикой во всю ширь своей духовной бесшабашности. Он совершенно упускал из виду, что Гамлет слабое, нерешительное существо, на плечи которого сверхъестественная сила взвалила неподсильное бремя и который за постоянною рефлексией желает скрыть томящую его нерешительность; он не в состоянии рассмотреть, что иронически-холодное отношение Гамлета к Офелии явилось не вследствие какого-либо проступка со стороны последней, а единственно потому, что, со времени рокового открытия, ему не до мелочей женской любви. Он не понимал, что в решительные минуты слабый человек высказывает вспыльчивость, которой может позавидовать любая энергия. Зато сколько блистательных случаев представлял Гамлет Мочалову высказать собственную необузданность! Какое дело, что язвительность иронии Гамлета есть только проявление непосильного внутреннего страдания? Гамлет — Мочалов не бежит от страдания в иро-

нию, а напротив, всею силой предается ей, как прирожденному элементу, и конечно, при таком условии нервы зрителя держись... Гамлет — Мочалов страстно любит свою Офелию и терзает ее от избытка любви. Нечего разбирать, говорит ли мучительная ирония устами Гамлета или действительное сумасшествие; но эта ирония — удобный случай порывистому Мочалову высказать свое безумное недовольство окружающим миром. И вот, помимо рокового конфликта случайных событий с психологическою подкладкой основного характера, помимо, так сказать, вопроса «почему?» — окончательные результаты этого конфликта выступают с такой силой, что сокровеннейшая глубина аффекта внезапно развертывается перед нами:

И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами:
Вот отчего нам ночь страшна.

И действительно, зрителям становится страшно... Когда Гамлет — Мочалов, увидав дух своего отца, падает на колени и, стараясь скрыть свою голову руками, трепетным голосом произносит: «Вы, ангелы святые, крылами своими меня закройте», пред зрителем возникал самый момент появления духа, и выразить охватывавшего нас с Аполлоном чувства нельзя было ничем иным, как старанием причинить друг другу сильнейшую боль щипком или колотушкой. Было бы слишком несправедливо приписывать нам с Григорьевым монополию потрясающих впечатлений, уносимых из театра от игры Мочалова. Под власть этого впечатления подпадали все зрители. Когда Мочалов своим змеиным шепотом, ясно раздававшимся по всем ярусам, задерживал дыхание зрителей, никто и не думал аплодировать: аплодисменты раздавались позднее, по мере общего отрезвления. Что зрителям нужен был Мочалов, а не трагическое лицо, видно из того, что я сам несколько лет спустя видел Мочалова играющим Гамлета с костылем и тем не менее вызывающим все то же воодушевление. Юноша, принц Гамлет на костыле — не лучшее ли это подтверждение нашей мысли?

Ко времени, о котором я упоминаю только для связи рассказа, появился весьма красивый и самонадеянный актер Славин; последний, желая блеснуть общим образованием, издал книгу афоризмов, состоящую из бесспорных истин, вроде: Шекспир велик, Шиллер вдохновенен и т. д. Наконец последовал его бенефис в Гамлете, а затем и следующее стихотворение Дьякова:

О ты, восьмое чудо света,
Кем опозорен сам Шекспир,
Кто изуродовал Гамлета,
Купцы зовут тебя в трактир.
Ступай, они тебя обнимут,
Как удальца, как молодца,
И дружно с окорока снимут
Гнилые лавры для венца —
Тебя украсить, подлеца.

Не один Мочалов оказался властителем наших с Григорьевым сердец: в не меньший восторг приводила нас немецкая опера. Трудно в настоящую минуту определить, кто из нас нащипывал восторг в другом; но я должен сказать, что мы мало прислушивались к общественной молве и славе, и, наслаждаясь сценическим искусством, увлекались не столько несомненным блеском таланта, сколько кровью сердца, если позволено так выразиться. Так мы с наслаждением слушали Роберта-Бека и оставались совершенно равнодушными к Голланду, несколько запоздавшему со своею громадною репутацией из Петербурга; но подобно тому, как нас приводил на границу безумия Мочалов, влюбленный в Орлову, так увлекал и влюбленный в Алису-Нейрейтер Бертрам-Ферзинг. Когда он, бывало, приподняв перегнувшуюся на левой руке его упавшую у часовни в обморок Алису и высоко занесши правую руку, выражал восторг своей близости к этой безупречной чистоте фразой: «du zarte Blume!» *, потрясая театр самою низкою нотой своего регистра, мы с Григорьевым напропалую щипали друг друга.

Говоря о московском театре того времени, не могу не упомянуть о Щепкине, как великом толкователе Фамусова и героев гоголевских комедий, о начинающем в то время Садовском и о любимце русской комедии — Живокини, которого публика каждый раз, еще до появления из-за кулис, приветствовала громом рукоплесканий. Зато, что же это был и за перл смешного! Хотя я отлично познакомился с его лицом на сцене, но он гримировался так мастерски, что иногда без афиши трудно было в *«Пилюлях»* узнать вчерашнего *Льва Гурыча Синичкина.* Силу юмора Живокини мне пришлось испытать на себе при следующих обстоятельствах.

Зашел я в трактир, так называемый *«Над железным»* (ныне Тестова), съесть свою обычную порцию мозгов с горшком. Поджидая в отдельной комнате полового, я

* Ты нежный цветок! *(нем.) — Ред.*

стал на пороге в большую общую залу и увидал против себя за столом у окна двух посетителей. В одном из них я узнал знакомого мне на подмостках Живокини и захотел воспользоваться случаем рассмотреть его при дневном освещении, насколько возможно лучше и подробнее. Должно быть вскинувший глаза Живокини в свою очередь заметил вперившего в него взор студента. Лицо его мгновенно приняло такое безнадежно глупое выражение, что я круто повернулся на каблуках и, разражаясь хохотом, влетел в свою комнату.

Тогда в балете безраздельно царила Санковская. Даже беспощадный Ленский, осыпавший всех своими эпиграммами, говорил, что ее руки — ленты и что удар ее носка в пол, в завершение прыжка, всепобеден.

С наступлением великого поста все бросилось готовиться к переходным экзаменам. Принялся и я усердно за богословие Петра Матвеевича Терновского. Достал я себе также и усыпительные лекции его брата, Ивана Матвеевича, читавшего логику. При моем исконном знакомстве с Катехизисом, мне нетрудно было подготовиться из догматического богословия и я отвечал на четыре; но если бы меня спросили из истории церкви, то я бы не ответил даже на единицу. После счастливого экзамена по богословию, я в присутствии профессора латинской словесности Крюкова, читавшего начиная со второго курса, экзаменовался из логики и к несчастию вынул все три билета из второй половины лекций, которой не успел прочитать. Услыхав на третьем билете мое: «И на этот не могу ответить», он сказал: «А меня ваша четверка сильно интересует, и я желал бы, чтобы вы перешли на второй курс. Не можете ли чего-либо ответить по собственному соображению?» И когда я понес невообразимый вздор, экзаменаторы переглянулись и тем не менее поставили мне тройку. Любезные лекторы французского и немецкого языков поставили мне по пятерке, а Погодин, по старой памяти, тоже поставил четверку из русской истории. Таким образом я, к великой радости, перешел на второй курс.

На другой день по выдержании экзамена я, надев свежие лайковые перчатки, обещал ямщику, везшему меня на перекладной, полтинник на водку, если он меня промчит во весь дух мимо окон девиц Корш, которые,

конечно, только случайным и самым невероятным образом, могли видеть меня в таком победоносном виде.

Как выдержавший экзамены, я был принят и дома, и у дяди с большим радушием. Еще зимой я познакомился с восемнадцатилетнею гувернанткой моих сестренок, Анюты и Нади. У нее были прекрасные голубые глаза и хорошие темно-русые волосы, но профиль свежего лица был совершенно неправилен, тем не менее она своею молодостью могла нравиться мужчинам, если судить по возгласам, которые я сам слышал среди мужчин, при ее появлении с воспитанницами на Ядрине, в именины дяди 29 июня. Еще зимой заметил я, что она с видимым удовольствием принимала от меня знаки внимания, обязательного, по мнению моему, для всякого благовоспитанного юноши по отношению к женщине. В настоящий приезд внимание наше друг к другу скоро перешло во взаимное влечение. Понятно, что в присутствии отца и матери мы за обеденным или чайным столом старались сохранять полное равнодушие. Но стоило одному из нас случайно поднять взор, чтобы встретить взгляд другого. Невольные маневры эти, вероятно, стали кидаться в глаза посторонним, так как однажды мать сделала мне наедине по этому поводу замечание.

<...> С точки зрения третейского судьи, на которую я становлюсь в моих воспоминаниях, невозможно не видеть ежеминутного подтверждения истины, что люди руководствуются не разумом, а волей. Какой смысл могло представлять наше взаимное с m-lе Б. увлечение, если подумать, что я был 19-летний, от себя не зависящий и плохо учащийся студент второго курса, а между тем дело дошло до взаимного обещания принадлежать друг другу, подразумевая законный брак. Мы даже обменялись кольцами, так как я носил подаренное мне матерью кольцо, а у нее тоже было обручальное кольцо ее покойного отца. Что такое обещание было не шуткой, явно из того, что однажды, думая покончить эту неразрешимую задачу, я вышел из флигеля на опушку леса Дюкинского верха с заряженною двустволкой и некоторое время, взведя курки, обдумывал, как ловчее направить в себя смертельный удар. Слезы изменили окончательную мою решимость, и я ушел домой. Не прибавлю ничего к описанию минуты, в которой я сам не берусь различить всех сокровенных побуждений.

Мало ли о чем мечтают 19-летние мальчики! Между прочим я был уверен, что имей я возможность напеча-

тать первый свой стихотворный сборник, который обозвал *«Лирическим Пантеоном»,* то немедля приобрету громкую славу, и деньги, затраченные на издание, тотчас же вернутся сторицей. Разделяя такое убеждение, Б., при отъезде моем в Москву вручила мне из скудных сбережений своих 300 рублей ассигнациями,— так как тогда счет на серебро еще не существовал,— на издание, долженствовавшее, по нашему мнению, упрочить нашу независимую будущность. Мы расстались, дав слово писать через старую Елизавету Николаевну.

Весь этот невероятный и, по умственной беспомощности, жалкий эпизод можно понять только при убеждении в главенстве воли над разумом. Сад, доведенный необычно раннею весной до полного расцвета, не станет рассуждать о том, что румянец, проступающий на его белых благоуханных цветах, совершенно несвоевременен, так как через два-три дня все будет убито неумолимым морозом.

С переходом на второй курс, университетские занятия более специализировались. Юристы еще более подпали под влияние профессора Редкина, и имя Гегеля до того стало популярным на нашем верху, что сопровождавший по временам нас в театр слуга Иван, выпивший в этот вечер не в меру, крикнул при разъезде вместо: «коляску Григорьева! — коляску Гегеля!». С той поры в доме говорили о нем, как об Иване Гегеле. Не помню, кто из товарищей подарил Аполлону Григорьеву портрет Гегеля, и однажды, до крайности прилежный Чистяков, заходивший иногда к нам, упирая один в другой указательные пальцы своих рук и расшатывая их в этом виде, показывал воочию, как борются «субъект» с «объектом». Кажется, что в то время Белинский не поступал еще в *«Отечественные Записки»,* как критик, и не открывал еще своего похода против наших псевдоклассических писателей. Не думая умалять его почина в этом деле, привожу факт, доказывающий, что поднятая им тема носилась в воздухе. Одно из величайших духовных наслаждений и представляет благодарность лицам, благотворно когда-то к нам относившимся. Не испытывая никакой напускной нежности по отношению к Московскому университету, я всегда с сердечной привязанностью обращаюсь к немногим профессорам, тепло относившимся к своему предмету и к нам, своим слушателям. Вследствие положительной своей беспамятности я чувствовал природное отвращение к пред-

метам, не имеющим логической связи. Но не прочь был послушать теорию красноречия или эстетику у И. И. Давыдова, историю литературы у Шевырева или разъяснение Крюковым красот Горация. Вероятно, желая более познакомиться с нашей умственной деятельностью, И. И. Давыдов предложил нам написать критический разбор какого-либо классического произведения отечественной литературы. Не помню, досталось ли мне или выбрал я сам оду Ломоносова на рождение порфирородного отрока, начинающуюся стихом:

Уже врата отверзло лето.

Помню, с каким злорадным восторгом я набросился на все грамматические неточности, какофонии и стремление заменить жар вдохновения риторикой вроде:

И Тавр и Кавказ в Понт бегут.

Очевидно, это не было каким-либо с моей стороны изобретением. Все эти недостатки сильно поражали слух, уже избалованный точностью и поэтичностью Батюшкова, Жуковского, Баратынского и Пушкина. Удостоверясь в моей способности отличать напыщенные стихи от поэтических, почтенный Иван Иванович отнесся с похвалою о моей статье и, вероятно, счел преждевременным указать мне, что я забыл главное: эпоху, в которую написана ода. Требовать от Державина современной виртуозности, а у современных стихотворцев державинской силы — то же, что требовать от Бетховена листовской игры на рояле, а от Листа — бетховенских произведений.

Познакомился я со студентом Боклевским, прославившимся впоследствии своими иллюстрациями к произведениям Гоголя. В то время мне приходилось не только любоваться щегольскими акварелями и портретами молодого дилетанта, но и слушать у него на квартире прелестное пение студента Мано, обладавшего бархатным тенором.

Между обычными посетителями григорьевского мезонина стал появляться неистощимый рассказчик и юморист, однокурсник и товарищ Григорьева Ник. Антонович Ратынский, сын помещика Орловской губернии Дмитровского уезда; он, кажется, не получал от отца никакого содержания и вынужден был давать уроки. Через Ратынского познакомился я с двумя орловскими земляками-студентами, жившими па одной квартире: Гриневым и поэтом Лизандром.

Пламенная переписка между Еленой Григорьевной и

мною продолжалась до начала октября; но вдруг совершенно неожиданно явился Илья Афанасьевич с известием, что «папаша прибыли в Москву и остановились с сестрицами Анной и Надеждой Афанасьевными у Харитония в Огородниках, в доме П. П. Новосильцова и просили пожаловать к ним». На дворе Новосильцова стояла наша желтая четвероместная карета, в которой отец, в сопровождении няньки Афимьи, привез моих сестренок, чтобы везти их в Смольный монастырь. Не успел я поздороваться с отцом и сестрами, как в комнату вошел в новом блестящем мундире П. П. со словами: «Как вы кстати приехали, почтеннейший Афанасий Неофитович; я назначен московским вице-губернатором и сию минуту еду принимать присягу. Мы на днях с семейством переедем сюда из нашей Сокольничьей дачи, и вашему студенту, право, не стыдно было бы зимою бывать у нас, где он по воскресеньям встретит своих бывших товарищей-кадетов Ваню и Петю Борисовых. Славные ребята; особенно хорошо учится и ведет себя Ваня».

После обеда, приготовленного отцовским походным поваром Афанасием Петровым, отец, оставшись со мною наедине, неожиданно вдруг сказал: «Беспутную Елену Григорьевну я расчел, а девочек везу в институт. Матку-правду сказать, некрасивую глупость ты там затеял. Хорошо, что я вовремя узнал обо всем случайно; но прежде всего il faut partir du point où on est» *.

На другой день отец уехал в Петербург, а недели через две тем же путем последовал в Новоселки.

Во время остановки в Москве отец представил меня в доме своего однофамильца и дальнего родственника Семена Николаевича, занимавшего дом на Большой Никитской против Большого Вознесения. Мценский помещик Семен Николаевич, проводивший зиму с женою и двумя взрослыми дочерьми в Москве, был типом солидного русского барина. Постоянным его чтением был Капфиг, и вся обстановка дома отличалась безукоризненною аккуратностью. Все часы в доме били единовременно и строго согласовались с золотыми карманными часами, стоявшими перед хозяином в кабинете на столе. Утро он проводил в кабинете в красном шелковом халате, но к обеду, хотя бы и без гостей, выходил в воздушном белом галстуке, а жена и дочери обязательно нарядно одетыми. Дворецкий и ливрейные слуги с особенным искусством накрывали стол, на котором приборы и вдоль и поперек должны были

* Отправляться надо от того места, где стоишь *(фр.)*.— *Ред.*

представлять прямые линии, так что каждая отдельная рюмка или стакан с одного конца стола до другого закрывали весь ряд своих товарищей. С первым ударом пяти часов Семен Николаевич выходил к столу, где около дымящегося супа уже стояла его жена и около своих мест ожидали красивые и благовоспитанные дочери. После обеда Семен Николаевич отправлялся на часок отдохнуть и затем уже проводил вечер, слушая прекрасную игру на рояли преимущественно одной из дочерей, или же большею частию за карточным столом с гостями. Одною из оригинальных черт Семена Николаевича был обычай, по которому каждый воскресный день утром, когда барин был еще в халате, камердинер, раскрывши в кабинете запертый шкаф, ставил перед Семеном Николаевичем на большом блюде груду золотых, а на меньшем собрание драгоценных перстней и запонок, и Семен Николаевич мягкою щеткою принимался систематически перечищать свою коллекцию. Не знаю почему, но я с первых посещений заслужил расположение Семена Николаевича и убедился, что этот в свое время благовоспитанный и начитанный человек не особенно нежно относился к членам своей семьи. Каждый раз, когда я обедал у него, нам подавали полбутылки Аи, из которой одной капли не попадало в бокалы дам, и достаточно было при уходе из-за стола ему сказать: «А вы, Афанасий Афанасьевич, посидите с моими дочерьми», для того чтобы ни одна из них не сделала шагу из гостиной до отцовского пробуждения.

Однажды вечером в залу какой-то темно-русый гость ввел двух мальчиков.

— Устройте им сиденья пред роялью,— сказал Семен Николаевич, обращаясь к дочерям.

Приведенным мальчикам, по-видимому, было около восьми лет; их усадили на подмощенных нотах за рояль, и учитель стал за ними, перевертывая ноты. Блистательная игра мальчиков продолжалась около часу, а затем они сели на паркет, куда им дали конфект, фруктов и каких-то игрушек. Мальчики эти были братья Рубинштейны, с которыми позднее мне случалось встречаться не раз в период их славы.

Между тем я тщательно приберег деньги, занятые на издание, и к концу года выхлопотал из довольно неисправной типографии Селивановского свой «Лирический Пантеон».

Письма от Елены Григорьевны вдруг прекратились, и я отчасти понял тому причину.

Однажды вечером, когда я, тоскуя, старался помешать Аполлону в его занятиях, мальчик Ванюшка подал мне небольшую запечатанную записку, в которой я прочел: «Выходи поскорее за ворота, в карете я тебя ожидаю.

Твоя Ел.».

Узнавши руку, я только надел фуражку и без шинели и калош побежал за калитку, где незнакомый слуга помог мне сесть в карету.

Мы бросились в объятия друг другу, и она тотчас же стала тревожиться, что я на морозе так легко одет.

— Ничего, ничего,— говорил я в крайнем смущении; а она, далеко запахивая полу пышной песцовой шубы, старалась прикрыть меня от стужи. Но мне было не до того: мысли пересыпались в моей голове, как бисер в калейдоскопе, и я никак не мог понять, куда и зачем нас везут. Из отрывочных слов и восклицаний я мог наконец понять, что отец мой, узнавши все, поступил с Еленой, как она сама говорила, самым деликатным образом. О наших отношениях он не сказал ни слова, а только сослался на необходимость поместить двух девочек, по примеру старшей сестры их, в институт и, уплативши ей за полгода вперед, с благодарностью возвратил ей триста рублей, занятые у нее сыном студентом.

— Теперь,— говорила Елена,— я поступила в компаньонки к дочерям генерала Коровкина в Ливенский уезд, и вот причина, почему из этого дома я не могла тебе писать. В настоящее время Коровкины переехали в Москву,— и она сказала их адрес.— А я по праздникам буду брать карету и приезжать сюда, а у Коровкиных буду говорить, что эту карету прислала за мною моя подруга.

Раза два нам пришлось видеться таким образом, хотя, признаюсь, я стал мало-помалу понимать всю нелепую несбыточность наших затей. Но у меня недоставало духу разочаровывать мечтательницу, и письма снова беспрепятственно стали ходить между нами.

Однажды, распечатавши письмо, я прочел: «Все пропало; глупый извозчик, на вопрос об имени моей подруги, сказал, что он прямо с биржи. Таким образом, все вышло наружу, принимая самый неблагоприятный оттенок по отношению к нашим с тобою свиданиям. Я сегодня же оставляю их дом».

Возмущенный до глубины души ролью человека, набросившего неблагоприятную и совершенно незаслуженную тень на несчастную девушку, я счел своею обязанностью отправиться к генералу. Я сам чувствовал всю неле-

пость моей выходки. Но долг чести прежде всего, думалось мне, и я добился желаемой аудиенции.

— Что вам угодно? — спросил генерал, когда я вошел к нему в кабинет.

— До вчерашнего дня,— отвечал я,— у вас проживала m-lle Б-а, с которой я познакомился в доме моих родителей и испросил у нее ее руку. Теперь я узнал, что ни в чем не повинная девушка навлекла свиданием со мною на себя незаслуженное нарекание, и счел своим долгом засвидетельствовать, что в этих свиданиях не было и тени чего-либо дурного.

— Если вы хотели,— отвечал генерал,— позаботиться о чести девушки, то избрали для этого наихудший путь. Зная вашего батюшку, я уверен, что он ни в каком случае не даст своего согласия на подобный брак, и разглашать самому тайные свидания с девицей не значит восстановлять ее репутацию. Я отказал m-lle Б-ой потому, что она не обладает сведениями, которые могли бы быть полезны моим дочерям.

Убедившись в своей неудаче, я поклонился и вышел.

Действительность иногда бывает неправдоподобнее всякого вымысла. Такою оказалась развязка нашего полудетского романа. Только впоследствии я узнал, что ко времени неожиданной смуты так же неожиданно приехал в Москву чиновник из Петербурга и проездом на Кавказ, к месту своего назначения, захватил и сестру свою Елену Григорьевну. Впоследствии я слышал, что она вышла там замуж за чиновника, с которым, конечно, была гораздо счастливее, чем могла бы быть со мною.

...«Лирический Пантеон», появясь в свете, отчасти достиг цели. Доставив мне удовольствие увидеть себя в печати, а барону Брамбеусу поскалить зубы над новичком, сборник этот заслужил одобрительный отзыв «Отечественных Записок». Конечно, небольшие деньги, потраченные на это издание, пропали безвозвратно.

Кроме посещавшего нас студенческого кружка, о котором я говорил выше, я познакомился с милейшими товарищами словесниками Гёдике и Басистовым, забегавшими, подобно мне, в трактир «Великобританию» против Манежа. Кроме чаю и мозгов с горошком, привлекательным пунктом в этом заведении была комната с двумя биллиардами: одним весьма правильным и скупым, другим более легким. Последний был поприщем моим и подобных

мне третьестепенных игроков, тогда как трудный биллиард был постоянным поприщем А. Н. Островского и подобных ему корифеев, игравших в два шара или в пирамидку. Хотя я и видал Островского ежедневно у соседнего биллиарда, но лично был с ним незнаком.

За стаканом чаю в круглой студенческой комнате как раз против Манежа, мы с Гёдике и с Басистовым предавались обсуждениям разных эстетических вопросов; и ни разу нам в голову пе приходило задаваться совершенно чуждыми нам государственными или социальными вопросами.

<...> С наступлением Великого поста театральные представления прекратились, и надо было думать о приготовлении к экзаменам. По неизвестным соображениям у нас на словесном факультете Чивилев читал политическую экономию. Наука эта по математической ясности положений Смита, Мальтуса и других своих корифеев до сих пор служит мне для объяснения ежедневных передряг частного и государственного хозяйства. Заинтересованный совершенно новыми для меня точками зрения на распределение ценностей между людьми, я весьма удовлетворительно приготовился из этого предмета. Заметил ли Чивилев, что я не очень усердно посещал его лекции, но вышло совершенно неожиданное. К великой радости я взял билет № 1-й: определение политической экономии. Если бы я сказал только, что политическая экономия есть наука о родном хозяйстве, говорящая о производстве, сохранении и распределении ценностей, то и тогда экзаменатор мог поставить мне, кажется, не ниже среднего балла. Но Чивилев, сказавши: «Не так!» и заставивши меня ответить вторично, приговорил: «Если вы не знаете первого определения науки, то о дальнейшем не может быть и речи», и с этим вместе поставил мне единицу. Единица эта была для меня тем ужаснее, что по всем остальным предметам, в том числе и по греческой словесности, я получил удовлетворительные отметки. А тут из-за этой единицы приходилось оставаться другой год на втором курсе. Чивилев был неумолим. О переэкзаменовке в августе надо было просить попечителя, и вот, надевши парадную форму, в треуголке и в шпаге я отправился к графу С. Г. Строганову.

Если память мне не изменяет, граф принял меня стоя па костыле, так как прошлой весной опрокинувшаяся под ним верховая лошадь переломила ему ногу.

— Вы просите о переэкзаменовке,— сказал граф,— но

ведь экзаменные списки у меня, я сейчас вам их покажу. Я хорошо помню ваши баллы. Хорошие отметки из французского и немецкого я ни во что считаю, мой камердинер говорит по-немецки; из латинского пять,— еще бы вы на словесном факультете не знали по-латыни, а вот по-гречески-то у вас тройка, а из политической экономии единица.

— Я явился к вашему сиятельству,— отвечал я,— не оправдываться, а просить о переэкзаменовке в августе из политической экономии.

— Если бы,— отвечал граф,— в университете был протянут канат, на котором вам следовало протанцевать, и вы не протанцевали, тем хуже для вас. Я ничего не могу для вас сделать.

Нечего говорить, с каким тяжелым чувством я отправился на летние вакации домой, где старался объяснить свою неудачу капризом Чивилева, чем объясняю ее и поныне.

Об обычном возвращении в Москву на григорьевский верх говорить нечего, так как память не подсказывает в этот период ничего сколько-нибудь интересного. Во избежание нового бедствия с политическою экономией, я стал усердно посещать лекции Чивилева и заниматься его предметом.

В нашей с Григорьевым духовной атмосфере произошла значительная перемена. Мало-помалу идеалы Ламартина сошли со сцены, и место их, для меня по крайней мере, заняли Шиллер и главное Байрон, которого *«Каин»* совершенно сводил меня с ума. Однажды наш профессор русской словесности С. П. Шевырев познакомил нас со стихотворениями Лермонтова, а затем и с появившимся тогда «Героем нашего времени». Напрасно старался бы я воспроизвести могучее впечатление, произведенное на нас этим чисто лермонтовским романом. Когда мы вполне насытились им, его выпросил у нас зашедший к вечернему чаю Чистяков, уверявший, что он сделает на романе обертку и возвратит его в полной сохранности.

— Ну что, Чистяков, как тебе понравился роман? — спросил Григорьев возвращавшего книжку.

— Надо ехать в Пятигорск,— отвечал последний,— там бывают замечательные приключения.

К упоению Байроном и Лермонтовым присоединилось страшное увлечение стихами Гейне.

<...> Приехав на две недели рождественских праздников в Новоселки, я застал большую перемену в общем

духовном строе и главное в состоянии здоровья и настроении больной матери. Отсутствие непосредственных забот о детях, развезенных по разным заведениям, как и постоянные разъезды отца, наводили мечтательную мать нашу на меланхолию, развиваемую в ней, с другой стороны, возрастающими жгучими ощущениями в груди. Отец собирался в следующую зиму увезти последнего птенца восьмилетнего Петрушу к лифляндской генеральше Этинген, воспитывавшей своих внучат и любезно предложившей отцу поместить к ней же малолетнего сына.

Я никогда до того времени не замечал такой изменчивости в настроении матери. То и дело, обращаясь к своему болезненному состоянию, она со слезами в голосе прижимала руку к левой груди и говорила: «Рак». От этой мысли не могли ее отклонить ни мои уверения, ни слова навещавшего ее орловского доктора В. И. Лоренца, утверждавшего, что это не рак. В другую минуту мать предавалась мечте побывать в родном Дармштадте, где осталась старшая сестра Лина Фёт.

Вскоре по моем возвращении в Москву отец привез из Петербурга сестру Любиньку, окончившую курс в Екатерининском институте, но без шифра, о котором отец постоянно мечтал.

Великий пост и Святая не только подошли, но и прошли незаметно, особенно для меня, для которого провалиться на экзамене вторично равнялось исключению из университета. Как нарочно, погода стояла чудная, и, сидя день и ночь над тетрадками лекций, я мучительно завидовал каменщикам, сидевшим перед нашими окнами с обвязанными тряпками ступнями на мостовой и разбивавшим упорные голыши тяжелым молотком. Там знаешь и понимаешь, что делаешь, и если камень разбит, то в успехе ни сам труженик, ни сторонний усомниться не может. Здесь же, не зная, что и для чего трудишься,— нельзя быть и уверенным в успехе, который может зависеть от тысячи обстоятельств.

— Слышали ли вы новость? — сказал однажды снявший мундирный фрак и парик Александр Иванович, выходя к обеденному столу.— Конечно, вам теперь не до того, и вы ничего не слыхали, так я вам скажу: курьер привез известие, что государь будет встречать в Москве цесаревича с его августейшей невестой. Процессия пойдет из Петровского дворца в Кремль, и все бросились нанимать окна по Тверской. Я тоже поручил знакомому взять нам окно в строящемся доме, близь Шевалдышевой гостинницы.

Слух, принесенный Александром Ивановичем, распространился по всей Москве, как несомненный; и в назначенный день не только мы с Аполлоном прошли за Александром Ивановичем в недостроенный еще дом, чтобы занять нанятое окошко, но провели за собой и Татьяну Андреевну, никуда не выходившую из дома, за исключением приходской церкви в светлую заутреню. Провести нашу старушку до окна было далеко не легко, так как приходилось, во-первых, пробиваться сквозь толпившийся на тротуаре народ, а во-вторых, всходить в третий этаж не по лестнице, а по лесам, для всхода рабочих; самые стулья стояли на лесах, перед оконными отверстиями, в которых еще и рамы не были вставлены.

С нашей высоты в гору почти до дома генерал-губернатора была ясно видна вся улица с тротуарами, окаймленными непрерывными линиями пехоты. Самая улица, по совершенному отсутствию прохожих и проезжих и даже простого говора, хранила торжественное молчание. Вдруг от Иверских ворот во весь дух в гору понеслась на почтовой паре зеленая тележка с сидящим в ней за ямщиком офицером в шинели и треугольной шляпе с черным пером. Под треск приближающихся колес послышалась команда: «На плечо!» — но когда командовавший вероятно убедился, что это фельдъегерь,— раздалось вторично: «Отставь!» Через час глаза наши, обращенные в гору, убедили нас, что шествие приближается. Впереди всех на гнедой лошади в генеральском мундире и в каске ехал несравненный красавец государь; за ним шагом следовала коляска августейшей невесты. Экипаж ее обращал всеобщее внимание шестериком цугом запряженных белоснежных коней, подаренных ей ее августейшим родителем великим герцогом гессен-дармштадтским. Когда шествие стало спускаться под гору, на площади против дома генерал-губернатора раздался такой очевидно давно сдерживаемый взрыв громогласного *ура,*— и затем толпа, не взирая ни на что, пестрым потоком пошла под гору,— что, как говорили, многие дамы попадали в обморок. Картина, происходившая перед нашими окнами, навсегда врезалась в моей памяти.

<...> На другой день студенческие помыслы наши были окончательно увлечены от вчерашней великолепной картины народного торжества и ото всего в мире приготовлениями к экзаменам. Когда мы с Аполлоном сошли к вечернему чаю в столовую, выходящую окнами на улицу, то сначала услыхали подъехавший к калитке экипаж, а

затем и громкий звонок. Любопытный Александр Иванович первый побежал к деревянному помосту, ведшему от калитки к парадному крыльцу и воскликнул: «Какой-то офицер, должно быть адъютант». Через минуту мы действительно увидали вошедшего в переднюю небольшого роста адъютанта, которого лицо мне сразу показалось как будто знакомым. Но где я его видел, я не мог сказать, да и быть может мне это только показалось. Как ни мало мы все были знакомы с военными формами, но несмотря на обычные адъютантские эполеты и аксельбанты,— тотчас же признали в незнакомце иностранца. Незнакомец, оказавшийся говорящим только по-немецки, и следовательно понятно только для меня и Аполлона, сказал, что он желал бы видеть студента Фета, и когда я подошел к нему, он со слезами бросился обнимать меня, как сына горячо любимой сестры. Оказалось, что это был родной дядя мой, Эрнст Беккер, приехавший в качестве адъютанта принца Александра Гессенского, брата высоконареченной невесты.

Наша хозяйка Татьяна Андреевна, подобно всем не говорящим на иностранных языках, вообразила, что дядя мой не понимает ее только потому, что не довольно ясно слышит слова, и пустилась отчаянно выкрикивать членораздельные звуки. Это не подвинуло нимало взаимного их понимания, и дело пришло в порядок только когда обе стороны убедились, что никакого обмена мыслей не будет, если я не буду их переводчиком. Между прочим, вероятно, из любезности ко мне и к моему дяде, Аполлон характеризовал меня как поэта. «Вот бы,— сказал дядя, обращаясь ко мне,— тебе следовало высказать свое дарование в приветственном стихотворении, которое я нашел бы возможность представить при посредстве принца августейшей невесте».

Через день затем стихотворение было написано, тщательно переписано, и я ко времени завтрака отправился в полной форме в Кремль в помещение дяди, который через час представил меня принцу, благосклонно принявшему мое стихотворение. Так как родные перестали баловать меня значительными денежными подарками, то подаренный мне дядей столбик в пятьдесят серебряных рублей показался мне великой щедротой. Когда на другой день я на минуту забежал к дяде, последний встретил меня со смущенным лицом и сказал: «А я сейчас собирался послать за тобой, Боже, Боже, что на свете делается. Вообрази,— сказал он, жалобно глядя на меня,— твоя сестра Лина здесь, и мы сейчас с тобой поедем к ней».

В номере гостиницы мы застали замечательно красивую и милую девушку, которая, нежно встретившись со мною, сказала, что не понимает переполоха дяди, что она свой поступок считает весьма естественным. Ей хотелось увидать хоть раз в жизни свою мать и родных по матери, что она доехала до Москвы со знакомой ей дамой и надеется и на возвратном пути найти спутницу.

Я должен отдать полную справедливость любезности стариков Григорьевых, которые, услыхав о приезде сестры, тотчас же пригласили ее в свободную в нижнем этаже комнату и послали за нею свою коляску. Сестра говорила по-французски, старик Григорьев тоже сохранил отрывки этого языка из дворянского пансиона, и поэтому объяснения уже не представляли тех затруднений, как при свидании с дядей.

Между тем экзамены шли своим чередом и до последнего времени для меня благополучно. Сестра очень хорошо понимала, что мне было не до разговоров, когда я просиживал дни и ночи напролет, готовясь к последнему экзамену политической экономии. Но вот экзамен сдан с пятеркой, и, доехав по Ленивке до поворота на Каменный мост, я инстинктивно зашел в винный погреб Гревсмиля и захватил бутылку рейнвейна. Дома я, конечно, зашел с радостной вестью к сестре, поджидавшей окончания экзаменов, чтобы уехать с дядей Эрнстом в его походной коляске в Новоселки.

— Ура! — воскликнул я, входя и обнимая сестру: — страшный экзамен сдан.

Затем выпив с жадностью откупоренный рейнвейн, я тут же среди дня повалился на сестрину постель и в ту же минуту заснул мертвым сном. Солнце было уже низко, когда я проснулся. Когда сестра, услыша мое пробуждение, вошла в комнату, она воскликнула: «Боже, что с тобой? У тебя лицо в крови». Оказалось, что я, не обращая ни на что внимания, повалился на постель, на подушке которой лежала сестрина мантилья, красной шелковой подкладкой кверху. Усталый и измученный, я обильно проступившей испариной неизгладимо отпечатал свой силуэт на мантильи, а ее краску — на половине своего лица. Но на радостях было не до мантильи. На другой день Лина уехала с дядей Эрнстом в Новоселки, а я остался на несколько дней поджидать его возвращения в Москву и отъезда вместе с двором в Петербург.

<...> Отъезжая в конце августа в Москву, я оставил Лину, с которой по случаю ее начитанности и развитости очень подружился, вполне освоившеюся в Новоселках. Я бы решился сказать, что доживал до периода, когда университетское общение и знакомство со всевозможными поэтами сгущало мою нравственную атмосферу и, придавая в то же время ей определенное течение, требовало настоятельно последнему исхода.

При трудности тогдашних путей сообщения, прошло некоторое время до распространения между нами роковой вести о трагической смерти Лермонтова. Впечатлительный Шевырев написал по этому случаю стихотворение, из которого память моя удержала только два разрозненных куплета:

О грустный век! мы видно заслужили
И по грехам нам видно суждено,
Чтоб мы в слезах так рано хоронили
Все, что для дум высоких рождено.

Мысль, что толпе все равно, кончается куплетом:

Иль что орла стрелой пронзили люди,
Когда младой к светилу дня летел,
Иль что поэт, зажавши рану груди,
Безмолвно пал и песни не допел.

Добрый Аполлон, несмотря на свои занятия, продолжал восхищаться моими чуть не ежедневными стихотворениями и тщательно переписывал их. Внимание к ним возникало не со стороны одного Аполлона. Некоторые стихотворения ходили по рукам, и в настоящую минуту я за малыми исключениями не в состоянии указать на пути, непосредственно приведшие меня в так называемые интеллигентные дома. Однажды Ратынский, пришедши к нам, заявил, что критик «Отечественных Записок» Васил. Петров. Боткин желает со мной познакомиться и просит его, Ратынского, привести меня. Ратынский в то время был в доме Боткиных своим человеком, так как приходил младшим девочкам давать уроки. Боткин жил в отдельном флигеле, и в 30 лет от роду пользовался семейным столом, и получал от отца 1000 руб. в год. У Боткина я познакомился с Александром Ивановичем Герценом, которого потом встречал и в других московских домах. Слушать этого умного и остроумного человека составляло для меня величайшее наслаждение. С Вас. Петр. знакомство мое продолжалось до самой моей свадьбы, за исключением периода моей службы в Новороссийском крае.

Чтобы не говорить о слишком будничных явлениях, я до сих пор умалчивал о своих посещениях семейства Петра Петровича Новосильцова в доме у Харитония в Огородниках и на даче в Сокольниках. В то время любезный ко мне Новосильцов все-таки смотрел на меня, как на полумальчика, и потому я старался уходить в классную к знакомому уже нам немцу Фелькелю, продолжавшему с той же немецкой аккуратностью давать латинские уроки Ваничке и уроки истории Катеньке на французском языке, вероятно более ей понятном. За обедом у Новосильцова кроме Агриппины бывал нередко в белом галстуке старый полуглухой Текутьев, когда-то поклонник светских красавиц, у ног которых оставил значительное состояние; он по старой памяти весьма часто хаживал обедать к Новосильцову. К обеду появлялись иногда его весьма пожилые дочери, и нередко завязывался за столом такой разговор:

— Петр!

— Что тебе, Текутич?

— Когда же мы с тобой поедем к ней?

— А прехорошенькая эта княжна.

— И не говори, Петр!

— Папа,— восклицает одна из дочерей Текутьева.

Текутьев не слышит.

— Папа,— продолжает, возвышая голос и пригибаясь на ухо к отцу, та же дочь.— Папа, вам стыдно.

— Э! — восклицает он, махая на нее рукой,— что ты понимаешь! Не могу, я влюблен.

— Подумайте, вам скоро 80 лет, а ей 18.

— Не слышу.

— Текутич,— говорит Петр Петрович,— хорошая мадера, не хочешь ли?

— Что, мадера? давай.

— Это он слышит,— смеясь говорит Петр Петрович.

Тут же за столом нередко сиживал Иван Петрович Борисов, бывший фельдфебелем в кадетском корпусе и ожидавший с последним лагерем выпуска в офицеры. Два меньших брата Борисова, Петр и Александр, к немалому горю матери, умерли в корпусе от чахотки.

На этот раз по приезде в Москву я узнал от Фелькеля совершенно неожиданную новость. Обожающий память покойной жены Мансуровой 48-летний Петр Петрович сделал предложение и женится на 35-летней девице Беринг.

Прежде чем свадьба состоялась, на Лубянке был на-

пят дом Гиппиуса, в который вместе с новобрачной переселилось и все семейство. Тут начались приемы и званые обеды.

В этом году выпущенный из корпуса офицером в артиллерию Борисов поселился в одной из комнат, занимаемых Ваничкой и Фелькелем. Приписанный к штабу шестого корпуса исправляющим должность адъютанта, Борисов посвящал службе весьма мало часов, так что во всякое время можно было его застать дома за чтением. <...>

Между тем хмель, сообщаемый произведениями мировых поэтов, овладел моим существом и стал проситься на волю. Гете со своими римскими элегиями и «Германом и Доротеей» и вообще мастерскими произведениями под влиянием античной поэзии увлек меня до того, что я перевел первую песню «Германа и Доротеи». Но никто, в свою очередь, не овладевал мною так сильно, как Гейне своею манерой говорить не о влиянии одного предмета на другой, а только об этих предметах, вынуждая читателя самого чувствовать эти соотношения в общей картине, например, плачущей дочери покойного лесничего и свернувшейся у ее ног собаки. Гейне в ту пору завоевал все симпатии; влияния его не избежал и самобытный Лермонтов. Мои стихотворения стали ходить по рукам. Не могу в настоящую минуту припомнить, каким образом я в первый раз вошел в гостиную профессора истории словесности Шевырева. Он отнесся с великим участием к моим стихотворным трудам и снисходительно проводил за чаем по часу и по два в литературных со мною беседах. Эти беседы меня занимали, оживляли и вдохновляли. Я чувствовал, что добрый Степан Петрович относился к моей сыновней привязанности с истинно отеческим расположением. Он старался дать ход моим стихотворениям и с этою целью, как соиздатель «Москвитянина», рекомендовал Погодину написанный мною ряд стихотворений под названием: «Снега». Все размещения стихотворений по отделам с отличительными прозваниями производились трудами Григорьева.

Счастлив юноша, имеющий свободный доступ к сердцу взрослого человека, к которому он вынужден относиться с величайшим уважением. Такой нравственной пристани в минуты молодых бурь не может заменить никакая дружба между равными. Мне не раз приходилось хвататься за спасительную руку Степана Петровича в минуты, казав-

шиеся для меня окончательным крушением. Но не один Шевырев замечал мое стихотворство.

Увлеченный до крайности выпуклыми и изящными объяснениями Дм. Льв. Крюковым Горация, я представил последнему свой стихотворный перевод оды Горация, кн. I, XIV, «К республике». Как университетское начальство, от попечителя графа Строганова до инспектора П. С. Нахимова, относилось к студенческому стихотворству, можно видеть из ходившего в то время по рукам шуточного стихотворения Я. П. Полонского, по поводу некоего Данкова, писавшего мизерные стишки к Масляной под названием «Блины» и к Святой под названием «Красное Яичко» и продававшего эти небольшие тетрадки книгопродавцу издателю Лонгинову за десятирублевый гонорар.

Привожу самое стихотворение Полонского, насколько оно удержалось в моей памяти.

Второй этаж. Платон сидит,
Пред ним студент Данков стоит:
Ну, вот, я слышал, вы поэт.
На Масляните сочинили
Какие-то блины и в свет
По пятиалтынному пустили.
— Платон Степаныч, я писал
Затем, что чувствовал призванье.
— Призванье? Кто вас призывал?
Я вас не призывал, граф тоже;
То ж Дмитрий Павлович. Так кто же?
Скажите, кто вас призывал?
— Платон Степаныч, я пою
В пылу святого вдохновенья,
И я мои стихотворенья
В отраду людям продаю.
— Опять не то, опять вы врете!
Кто вам мешает дома петь?
Мне дела нет, что вы поете:
Стихов-то не могу терпеть.
Стихов-то только не марайте!
Я потому вам говорю,
Что мне вас жаль. Теперь ступайте!
— Покорно вас благодарю!

Однажды, когда только что начавший лекцию Крюков, прерывая обычную латинскую речь, сказал по-русски: «М. г.,— в качестве наглядной иллюстрации к нашим филологическим объяснениям од Горация, позвольте прочесть перевод одного из ваших товарищей, Фета, книги первой, оды четырнадцатой, «К республике»; при этих словах дверь отворилась, и граф С. Г. Строганов вошел в своем генерал-адъютантском мундире. Раскланявшись с

профессором, он сел в кресло со словами: «Прошу вас продолжать» — и безмолвно выслушал чтение моего перевода. Такое в тогдашнее время исключительное отношение к моим трудам было тем более изумительно, что проявлялось уже не в первый раз. Так, когда И. И. Давыдов в сороковом году сказал мне на лекции, в присутствии графа Строганова: «Вашу печатную работу я получил, но желал бы получить и письменную», граф спросил: «Какую печатную работу?» и на ответ профессора: «Небольшой сборник лирических стихотворений» — ничего не ответил.

Не помню хорошо, каким образом я вошел в почтенный дом Федора Николаевича и Авдотьи Павловны Глинок. Вероятно, это случилось при посредстве Шевырева. Нетрудно было догадаться о небольших материальпых средствах бездетной четы, но это нимало не мешало ни внешнему виду, ни внутреннему значению их радушного дома. В небольшом деревянном домике, в одном из переулков близ Сретенки, мне хорошо памятны только три, а если хотите две комнаты: тотчас направо от передней небольшой хозяйский кабинет, куда желающие уходили курить, и затем налево столовая, отделенная аркой от гостиной, представлявшей как бы ее продолжение. Зато это был дом чисто художественных интересов. Здесь каждый ценился по мере своего усердия к этому вопросу, и если, с одной стороны, в гостиной не появлялось чванных людей напоказ, зато не было там и неотесанных неуков, прикрывающих свою неблаговоспитанность мнимою ученостью. Мастерские переводы Авдотьи Павловны из Шиллера ручаются за ее литературный вкус, а «Письма русского офицера» свидетельствуют об образованности их автора. В оживленной гостиной Глинок довольно часто появлялся обер-прокурор Мих. Ал. Дмитриев, о котором я уже говорил по поводу его сына в Погодинской школе. Между дамами замечательны были по уму и по образованию две сестры девицы Бакунины, из которых меньшая, несмотря на зрелые лета, сохранила еще неизгладимые черты красоты. Мы собирались по пятницам на вечер, и почти каждый раз присутствовал премилый живописец Рабус, о котором Глинки говорили как о замечательном таланте. Он держал себя чрезвычайно скромно, высказывая по временам горячие сочувствия той или другой литературной новинке. Не знаю, по какому случаю на этих вечерах я постоянно встречал инженерного капитана Непокойчицкого, и когда в 1877 году я читал о действиях начальника штаба Непокойчицкого, то поневоле сближал

эту личность с тою, которую глаз мой привык видеть с ученым аксельбантом на вечерах у Глинок.

Услыхав о моей попытке перевести «Германа и Доротею», Глинки просили меня привезти в следующую пятницу тетрадку и прочесть оконченную первую песнь. Нетрудно представить себе мое смущение, когда в следующий раз, при появлении моем в гостиной, Федор Николаевич, поблагодарив меня за исполнение общего желания, прибавил: «Мы ждем сегодня князя Шаховского и решили прочесть при нем отрывок из его поэмы «Расхищенные шубы». Это старику будет приятно». Действительно, через несколько времени в гостиную вошел старик Шаховской, которого я непременно узнал бы по чрезвычайно схожему и давно знакомому мне из «Ста русских литераторов» гравированному портрету.

Старому князю, видимо, было чрезвычайно приятно слушать прекрасное чтение его плавных и по своему времени гармонических стихов.

Тем сильнее было мое смущение, когда, после небольшого всеобщего молчания, хозяйка напомнила мое обещание прочесть начало перевода. Ведь нужно же было судьбе заставить меня выступить с моими неизвестными попытками непосредственно за чтением произведения славного и присутствовавшего писателя. Но робость стеснила меня только до прочтения первых двух-трех стихов, а затем самое течение поэмы увлекло меня, и я старался только, чтобы чтение было по возможности на уровне содержания. Не менее смущен и восхищен был я общим одобрением кружка, когда я окончил. Приятнее всего было мне слышать замечание Рабуса: «Я хорошо знаю «Германа и Доротею», и во все продолжение чтения мне казалось, что я слышу немецкий текст».

Около полуночи в зале накрывался стол, установленный грибками и всякого рода соленьями, посреди которых красовалась большая деревенская индейка и, кроме разных водок, появлялись разнообразные и превкусные наливки.

Совершенно в другом роде были литературные чайные вечера у Павловых на Рождественском бульваре. Там все, начиная от роскошного входа с парадным швейцаром и до большого хозяйского кабинета с пылающим камином, говорило если не о роскоши, то по крайней мере о широком довольстве.

Находя во всю жизнь большое удовольствие читать избранным свои стихи, я постоянно считал публичное их

чтение чем-то нескромным, чтобы не сказать профанацией. Вот почему я всегда старался прийти к Кар. Карл. Павловой, пока в кабинете не появлялось посторонних гостей. Тогда по просьбе моей она мне читала свое последнее стихотворение, и я с наслаждением выслушивал ее одобрение моему. Затем мало-помалу прибывали гости, между которыми я в первый и последний раз был представлен не меньшей в свое время знаменитости М. Н. Загоскину. За столом, за которым сама хозяйка разливала чай, и появлялись редкие еще в то время мелкие печенья, сходились по временам А. И. Герцен и Т. Н. Грановский. Трудно себе представить более остроумного и забавного собеседника, чем Герцен. Помню, что увлеченный, вероятно, его примером, Тимофей Николаевич, которым в то время бредили московские барыни, в свою очередь, рассказал, своим особенным невозмутимым тоном с пришепетыванием, анекдот об одном лице, державшем у него экзамен из истории для получения права домашнего учителя.

«Видя, что человек и одет-то бедно,— говорил Грановский,— я решился быть до крайности снисходительным и подумал: бог с ним, пусть получит кусок хлеба. Что бы спросить полегче? — подумал я. Да и говорю: не можете ли мне что-нибудь сказать о Петре? — Петр,— заговорил он,— был великий государь, великий полководец и великий законодатель.— Не можете ли указать на какое-либо из его деяний? — Петр разбил,— был ответ.— Не можете ли сказать, кого он разбил при Полтаве? Он подумал, подумал и сказал: Батыя. Я удивился.— Кто же, по вашему мнению, был Батый? Он подумал, подумал и сказал: Протестант.— Мне остается спросить вас: что такое, по вашему мнению, протестант? — Всякий, не исповедующий православную греко-российскую церковь.— Извините,— сказал я,— я не могу поставить вам больше единицы.— Если вы недовольны и таким знанием,— сказал он уходя,— то я и не знаю, чего вы требуете».

Помню, что однажды у Павловых я встретил весьма благообразного иностранного немецкого графа, который, вероятно, узнав, что я говорю по-немецки, невзирая на свои почтенные лета, подсел ко мне и с видимым удовольствием стал на чужбине говорить о родной литературе. Услыхав мои восторженные отзывы о Шиллере, граф сказал: «Вполне понимаю ваш восторг, молодой человек, но вспомните мои слова: придет время, когда Шиллер уже не будет удовлетворять вас, и предметом неизменного

удивления и наслаждения станет Гете». Сколько раз пришлось мне вспоминать эти слова.

Однажды, сходя к лекции, Шевырев сказал мне на лестнице: «Михаил Петрович готовит вам подарок». А так как Степан Петрович не сказал, в чем заключается подарок, то я находился в большом недоумении, пока через несколько дней не получил желтого билета на журнал «Москвитянин». На обороте рукою Погодина было написано: «Талантливому сотруднику от журналиста; а студент берегись! пощады не будет, разве взыскание сугубое по мере талантов полученных. Погодин».

В числе посетителей нашего григорьевского верха появился весьма любезный правовед Калайдович, сын покойного профессора и издателя песен Кирши Данилова. Молодой Калайдович не только оказывал горячее сочувствие моим стихам, но, к немалому моему удовольствию, ввел меня в свое небольшое семейство, проживавшее в собственном доме на Плющихе. Семейство Калайдовичей состояло из добрейшей старушки матери, прелестной дочери, сестры Калайдовича, и двоюродного его брата, исполнявшего в доме роль хозяина, так как сам Калайдович, кончив курс школы правоведения, поступил на службу в Петербурге и у матери проводил только весьма короткое время. Старушка так полюбила и приласкала меня, что по отъезде сына я нередко просиживал вечера в их уютном домике. Чтобы не сидеть сложа руки, мы раскидывали ломберный столик и садились играть в преферанс по микроскопической игре, несмотря на мою совершенную неспособность к картам. Через молодого Калайдовича я познакомился с его друзьями: Константином и Иваном Аксаковыми. Однажды, начитавшись песен Кирши Данилова, я придумал под них подделаться, и мы с Калайдовичем решили ввести в заблуждение любителей и знатоков русской старины братьев Аксаковых. Отыскав между бумагами покойного отца чистый полулист, Калайдович постарался подделаться под руку покойного, передал рукопись Константину Сергеевичу, сказав, что нашел ее в бумагах отца, но желал бы знать, можно ли довериться ее подлинности. В следующий мой приход я с восхищением услыхал, что Аксаков, прочитав песню, сказал: «Очень может быть, очень может быть; надо хорошенько ее разобрать». Но, кажется, в следующее затем свидание Калайдович расхохотался и тем положил конец нашей затее.

Но никакие литературные успехи не могли унять душевного волнения, возраставшего по мере приближения весны, Святой недели и экзаменов. Не буду говорить о корпоративном изучении разных предметов, как, например, статистики, причем мы, студенты, сойдясь у кого-либо на квартире, ложились на пол втроем или четвером вокруг разостланной громадной карты, по которой воочию следили за статистическими фигурами известных произведений страны, обозначенными в лекциях Чивилева.

Но вот начались и самые экзамены, и сдавались мною один за другим весьма успешно, хотя и с возрастающим чувством томительного страха перед греческим языком. Мучительное предчувствие меня не обмануло, и в то время, когда Ап. Григорьев радостный принес из университета своим старикам известие, что кончил курс первым кандидатом, я, получив единицу у Гофмана из греческого языка, остался на третьем курсе еще на год.

<...> Недели через две я и сам вернулся в Москву, где к обычным университетским занятиям присоединился раз в неделю греческий урок у Гофмана, на что отцом было ассигновано по 10 р. за час. Не помню, что Гофман в этом году читал в университете на моем курсе, но на частных уроках мы с ним читали Одиссею, переводя с греческого на латинский, так как Гофман читал и преподавал греческую словесность по-латыни. Жил он в этом году до глубокой осени, и с открытием следующей весны 43 года до самых экзаменов, на Воробьевых горах, куда, как помнится, отправляясь из Москвы пешком, заходил на Малую Полянку давать мне урок, или же назначать время такового у себя на Воробьевых горах. Григорьевский слуга Иван, заслуживший прозвание Гегеля, соображая, вероятно, страдание, причиненное мне профессором, каждый раз, сообщая мне о приходившем в мое отсутствие профессоре, говорил: «Ох-ма приходил». И, конечно, я догадывался, что это был Гофман.

Но что случилось с потерянными при самом начале необычными в других азбуках буквами *кси* и *пси*, не умеющими у меня до сих пор попасть при поисках в лексиконе в надлежащее место, случилось и с греческой этимологией и преимущественно с глаголами, не усвоенными своевременно памятью. То, что при помощи толкового репетитора могло быть достигнуто сравнительно легко, продолжало производить отталкивающее впечатление и мешало усвоению.

Тем не менее обычная студенческая жизнь брала свое,

не взирая ни на какие потрясения и внутренние перемены. К последним принадлежало окончание университетского учения Ап. Григорьевым, продолжавшим еще проживать со мною наверху Полянского дома. Освободившись от сидения над тетрадками, Аполлон стал не только чаще бывать в доме Коршей, но и посещать дом профессора Н. И. Крылова и его красавицы жены, урожденной Корш. По привязанности к лучшему своему ученику, Никита Ив. сам не раз приходил к старикам Григорьевым и явно старался выхлопотать Аполлону служебное место, которое бы не отрывало дорогого сына от обожавших его родителей. Как нарочно, секретарь университетского правления Назимов вышел в отставку, и, при влиянии Крылова в совете, едва окончивший курс Григорьев был выбран секретарем правления. Радости стариков не было конца. Зато мне по вечерам нередко приходилось оставаться одному, по причине отлучек Григорьева из дому.

Мои студенческие воспоминания сороковых годов были бы неполны без упоминания кофейни Печкина. Подыматься в нее в бель-этаж с Воскресенской площади приходилось по неширокой и крутой лестнице, выходившей вверху в небольшую комнату с двумя или тремя столиками около окошек. У ближайшего к балюстраде лестницы столика можно было ежедневно с утра и до вечера видеть густоволосого и белого, как лунь, небольшого старика, сидящего спиною к балюстраде и лежащего большей частью на краю стола лбом, подпертым кулак на кулак.

Старик этот, никогда не встававший с места, был известный всем посетителям Калмык. Рассказывали, что он был в свое время приобретен какой-то старухой-барыней, и когда последняя умерла бездетной, то, оставшись бесприютным, занял в добрый час свое место в Печкинской кофейне.

Посетители знали только, что он очень стар и не забывали его своим вниманием. Сам же Калмык, страдая, вероятно, от болезненных припадков, давал о себе знать, приподымая голову с кулаков и испуская громкое восклицание: «Ох-ох-ох!» Сколько раз, сидя в одной из соседних комнат, я слыхал, как тот или другой посетитель, позвонив слугу, говорил: «Дай Калмыку солянки» или: «Дай Калмыку стакан чаю». Вкусив присланное, Калмык, простонав: «Ох-ох-ох», безмолвно снова опускался на кулаки.

Прямо против лестницы дверь вела в более просторную комнату, из которой вправо был ход в биллиардную, окруженную со всех сторон мягкими диванами. В эти ком-

наты я заглядывал очень редко, но зато следует поговорить о небольшой комнате вправо от передней Калмыка и небольшом кабинете, отделенном от этой комнаты аркой. Комнату эту можно было по справедливости считать некоторым центром московской науки и искусства. Там стоял стол с шахматами, за которым можно было в известные часы встретить профессора Дм. Матвеев. Перевощикова в состязании с персианином или армянином, носившим название Кирюши. Как теперь помню кудрявую, черную с едва заметной проседью голову этого восточного человека, сидящего в суконном черном архалуке с разрезными рукавами у шахматного стола против Перевощикова. Вероятно, Кирюша был весьма сильный шахматный игрок, чем только и можно объяснить постоянную игру с ним Перевощикова. Сочувствуя со своей стороны знаменитому астроному, Кирюша и в отсутствие своего партнера, стараясь усилить значение какой-либо вещи, выразительно прибавлял: «Тут нужно матэматык».

Заглядывал в кофейню и Т. Н. Грановский. Подобно Перевощикову, завсегдатаем кофейни был М. С. Щепкин, к которому попеременно подходили то Ленский, то только что начинавший играть Садовский, на которого Щепкин смотрел, как на своего любимого ученика. Помню, как однажды на слова Садовского, что NN вчера сидел в третьем ряду кресел, Щепкин сказал: «Вот когда ты никого не будешь видеть из сидящих в театре, тогда ты начнешь хорошо играть».

Помню, в какое волнение, чтобы не сказать негодование, пришел Щепкин, когда я под впечатлением неприятности от рыбьих костей позволил себе сказать, что в рыбе собственно ничего хорошего нет.

— Как! — воскликнул он,— в рыбе! — и произносил слово «рыба» таким жирным голосом, как будто глотал янтарные куски осетрины или стерляди.

Только со временем узнал я, как два наклонные к тучности приятеля — Перевощиков и Щепкин — ходили к рыбьему садку облюбовывать подценного осетра, но так как цена за него казалась им все-таки не по средствам, они давали мальчику при садке полтинник, обещая еще другой, если он прибежит с известием, что осетр сию минуту заснул. Но сердце не камень, и Щепкин по временам отправлялся навестить своего избранника, и когда последний весело пошевелится, Мих. Сем., потрясая кулаком, воскликнет: «У-у подлец!» и уедет домой.

Но неизменным посетителем кофейни был страстный

потребитель шампанского и неистощимый в остротах Дм. Тим. Ленский. Соль его острот в большинстве случаев была нецензурна, но порою он отпускал и самые невинные остроты. Так, слыша чей-то совет какому-то обросшему волосами обрезать волосы, Ленский заметил, что не всякому дано «остриться». Помню, как однажды с Я. П. Полонским мы сидели на диване в небольшом кабинете, о котором я уж говорил, пред полукруглым столом, и Полонский, желая позвать слугу, почему-то не являвшегося, много раз принимался звонить стоявшим на столе колокольчиком.

— Согласитесь,— крикнул нам через арку из смежной комнаты Ленский,— что между студентами иногда бывают пустозвоны.

Не менее постоянным посетителем кофейни бывал уже в то время почтенный А. Д. Галахов, которого христоматия появилась около того времени. Однажды он вошел в кофейню в мундирном фраке со словами: «Я только что от графа Строганова, который сказал мне: «Я вас вызвал, чтобы заметить, что вы в своей христоматии поместили стихотворение Фета, не зная, может быть, что он еще студент».

— Ваше сиятельство,— отвечал я,— я выбирал стихотворения, заслуживающие, по моему мнению, быть помещенными в христоматии, и виноват, не обращал внимания на положение автора».

Из биллиардной порою приходил красивый брюнет, восторгавший нас своим бархатным тенором, неподражаемый «Торопка» — Бантышев. И этого Щепкин не оставлял своим вкрадчиво-любезным наставлением.

Кто знает, сколько кофейня Печкина разнесла по Руси истинной любви к науке и искусству. Не знаю подлинно, кому принадлежала пародия на «Двенадцать спящих дев», изображающая кофейню Печкина. Мне удалось слышать ее не более двух раз, и потому я могу на нее скорее намекнуть, чем передать ее в настоящее время. Говорилось в ней о бренности всего великого на земле:

И прошло много лет,
И кофейни уж нет...
. . . .
Но в двенадцать часов...

— на биллиарде гремят шары...

И на лестницу лезет Калмык.
Ленский пьян и румян,

Ленский держит стакан,
Ухмыляется Ленского лик.

Стихи эти едва ли не принадлежат Клюшникову.

<...> Можно было предполагать, что неуклонный посетитель лекций и неутомимый труженик Ап. Григорьев будет безукоризненным чиновником. Но на деле вышло далеко не то: списки, отчеты с своею сухою формалистикой, требующие тем не менее настойчивого внимания, не возбуждали в нем никакой симпатии, и совет университета вскорости пришел к убеждению в совершенной неспособности Григорьева исполнять должность секретаря правления. Как нарочно, упразднилось место университетского библиотекаря, на которое Крылов успел поместить Ап. Григорьева. Надо сказать, что пробуждение стариков посредством музыки Аполлона продолжалось со стороны кандидата, секретаря правления и библиотекаря точно так же, как оно производилось студентом первого курса. Хотя Аполлон наверху со мною жестоко иронизировал над догматизмом патеров, как он выражался, тем не менее по субботам сходил вниз по приглашению: «Ап. Ал., пожалуйте к маменьке головку чесать» — и подставлял свою голову под ее гребень. Соответственно всему этому Аполлон в первое время поступления на службу считал своею гордостью отдавать все жалованье родителям без остатка. И можно было только удивляться наивности стариков, не догадывавшихся, что молодой чиновник мог нуждаться в карманных деньгах. Следствием такого недоразумения было тайное сотрудничество Григорьева в журналах и уроки в богатых домах. К этому Григорьев не раз говорил мне о своем поступлении в масонскую ложу и возможности получить с этой стороны денежной субсидии. Помню, как однажды посетивший нас Ратынский с раздражением воскликнул: «Григорьев! Подавайте мне руку, хватая меня за кисть руки сколько хотите, но я ни за что не поверю, чтобы вы были масоном».

Насколько было правды в этом масонстве, судить не берусь, знаю только, что в этот период времени Григорьев от самого отчаянного атеизма одним скачком переходил в крайний аскетизм и молился пред образом, налепляя и зажигая на всех пальцах по восковой свечке. Я знал, что между знакомыми он раздавал университетские книги как свои собственные, и я далеко даже не знал всех его знакомых. Однажды, к крайнему моему изумлению, он объ-

явил мне, что получил из масонской ложи временное вспомоществование и завтра же уезжает в три часа дня в дилижансе в Петербург, вследствие чего просит меня проводить его до Шевалдышевской гостиницы, откуда уходит дилижанс, и затем вернувшись с возможною мягкостью объявить старикам о случившемся. Он ссылался на нестерпимость семейного догматизма и умолял меня во имя дружбы исполнить его просьбу. Прожить уроками и литературным трудом казалось ему самой легкой задачей.

Сборы его были несложны, ограничиваясь едва ли не бельем и платьем, бывшим на нем в данную минуту, так как остальное было на руках Татьяны Андреевны, у которой нельзя было выпросить вещей в большом количестве, не возбудив подозрения. В минуту отъезда дилижанса мы пожали друг другу руки, и Аполлон вошел в экипаж. Когда дилижанс тронулся, я почувствовал себя как бы в опустелом городе. Это чувство сиротливой пустоты я донес с собою на григорьевские антресоли. Не буду описывать взрыва негодования со стороны Александра Ивановича и жалобного плача Татьяны Андреевны после моего объявления об отъезде сына. Только успокоившись несколько, на другой день они решились послать вслед за сыном слугу Ивана-Гегеля с платьем, туалетными вещами и несколькими сотнями рублей денег. При отъезде Аполлон сказал мне, у кого можно было искать его в Петербурге. Оказалось, что Аполлон по добродушной бесшабашности роздал множество книг из университетской библиотеки, которые мне пришлось не без хлопот возвращать на старое место. <...>

О новом академическом годе четвертого курса распространяться не буду, во избежание повторений. Пословица говорит: «Чужая душа потьмы», но неменьшие потьмы представляет и собственная, которая врожденными склонностями служит оправданием пословицы: «Каков в колыбелку, таков и в могилку». На это невольное размышление наводит меня воспоминание о тогдашнем сознании роковой необходимости сделать все от меня зависящее, чтобы перешагнуть через окончательный греческий экзамен. Казалось бы, не нужно было никаких измышлений, а стоило основательно изучить греческую грамматику. Но отчего же это тогда было для меня совершенно неподсильно? Отчего я теперь в семьдесят лет с наслаждением изучаю фразу латинского поэта и не стесняюсь отыскиванием незнакомого слова, тогда как тот же самый труд в то время

был мне совершенно неподсилен? Между тем тогда все жизненные интересы требовали от меня подобного труда, а в настоящее время, при отсутствии всяких сторонних побуждений, я нахожу отраду в самом труде? Почему граф Л. Толстой, совершенно незнакомый в университете с греческим языком, в течение одного года при усидчивом труде выучился читать в подлиннике Гомера? Что может быть несноснее и даже обиднее для самолюбия постоянного сидения на лекциях, с которыми справиться не в состоянии? По-моему, это хуже состояния Прометея, прикованного к скале и терзаемого коршуном скуки.

С самого возвращения в Москву я дал себе слово с Аристофановыми «Облаками» в руках не пропускать ни одной лекции Гофмана, а там будь что будет, и сдержал слово.

Не помню, по какому случаю я вошел в дом молодых Полуденских. Недавно кончивший курс в Московском университете, Полуденский был женат на прелестной блондинке. На скромных домашних вечерах их царствовала самая изящная простота. Почти каждый раз я заставал в гостиной неистощимого Ал. И. Герцена, смешившего всех неожиданными остротами. Полуденский сам следил за европейской литературой, а жена его и молодая свояченица были страстными поклонницами поэзии. Наши небольшие чтения заканчивались прекрасно поданным ужином, а к полуночи все расходились по домам. Тихим, прекрасным людям недолго суждено было оставаться на земле: сначала чахотка унесла горячо любимую жену Полуденского, а немного лет спустя и его самого.

Несмотря на мои усердные посещения лекций Гофмана, я, по мере приближения экзаменов, все сильнее чувствовал надвигающуюся роковую тучу. Только изредка среди мрачного отчаяния возникало восклицание: если кончу курс, сойду с крыльца университета, найму двух извощиков и поеду домой, растянувшись на две пролетки. Всю Страстную, Святую и Фомину недели я только сходил вниз к обеду и затем, проспав часа два, садился за работу и на ночь заказывал себе кастрюлю крепкого кофею.

У Гофмана мы читали «Облака» Аристофана, которые обязаны были переводить и объяснять по-латыни. Поэтому мне предстояла египетская работа глазами ознакомиться со всеми стихами комедии, прилаживая к ним латинский перевод и по возможности грамматически объясняя каждое слово. Излишне говорить о трудностях такой

мозаической работы. Погруженный в нее в бессонные ночи, я буквально думал, что наши степные часы испортились, так как почти без промежутка били один час за другим.

Между тем время экзаменов наступило, и все они сошли для меня благополучно.

Это всего более можно сказать про экзамен из средней истории у Т. Н. Грановского.

Не одаренный исторической памятью, я никогда не любил историю, в которой, по неправильному отношению первоначального моего преподавания, эпохи, события и действующие лица представляли для меня мешок живых раков, которые и по тщательному подбору и ранжиру их немедля приходили в прежнее хаотическое состояние, как только я отнимал от них усталую руку.

Как ни противно было мне изучать объемистые записки о Реформации, но пришлось читать их. Опоздав с этим занятием среди других приуготовлений, я прочел тетрадь только до половины и отправился на экзамен в надежде на счастливую звезду, которая, быть может, пошлет мне билет из знакомой части лекций.

Взошел я на самый верхний этаж университета в опустевшую аудиторию, в которой на правой стороне за столом перед окнами во двор сидел Грановский, а по левую за таким же столом какой-то математический профессор, что́ я сознавал как-то непосредственно, так как в данную минуту мне было не до наблюдений.

Помню, что перед профессором налево, на скамьях, мелькало несколько студентов, тогда как перед Грановским было только двое, из которых один видимо кончал ответ, а другой вставал, чтобы ответить. Я по алфавиту был последним и, поставив портфель на лавку, не без волнения ждал решения участи.

— Господин Фет! — наконец произнес Грановский тихим и несколько шепелявым, но ясным голосом.

Я встал и, подходя к столу, усердно поклонился ему как профессору и как человеку, которого встречал вне стен университета.

— Не угодно ли вам взять билет.

Протягиваю руку и читаю: «Крестьянская война» (Der Bauernkrieg).

Слава Богу, подумал я, вопрос знакомый, но, к сожалению, только наполовину. Мое чтение лекций как раз окончилось на том месте, где крестьянская война переходит в Швейцарию, и там уже мои сведения равняются

нулю. Как же выйти из беды? — подумал я. Попробую известные мне факты убирать цветами красноречия и утомить профессора, так чтобы он на половине вопроса сказал: довольно. Но вот красноречие мое на исходе, а между тем я вижу в окно мчащийся фаэтон Дм. Павл. Голохвастова и его цилиндр, подъезжающий к университетскому подъезду. Я знал, что история была любимым предметом Голохвастова, и что он не пропускал случая задавать студентам исторические вопросы помимо формальных ответов по билету.

— Этого недоставало,— подумал я,— теперь или никогда нужна предприимчивость. Лучше погибнуть домашним образом, чем подвергнуться торжественному сраму. А ведь Дмитрий Павлович еще проворен, соображал я, и в настоящее время уже бежит по лестнице к нам в аудиторию.

При этой мысли я положил билет на стол и почтительно поклонился Грановскому.

— Позвольте, г. Фет,— тихо сказал он, взглянув на меня. Я отступил на два шага от стола и снова поклонился.

— Позвольте еще...— повторил так же тихо Грановский.

Но я, отойдя уже до скамеек, еще раз сделал поклон.

Когда после третьего «позвольте» я поклонился ему с портфелем в руках, он тем же ровным голосом прибавил: «Ну все равно».

Стремительно подбегая к двери, я лицом к лицу встретился со входящим Голохвастовым.

Грановский поставил мне четыре.

На предпоследнем латинском испытании мне пришлось сдавать экзамен из Горация не Крюкову, а за болезнью последнего Гофману, и он, помнится, поставил мне четверку. Дня через три предстоял роковой греческий экзамен, и я почувствовал такое душевное томление, что решился во что бы то ни стало разрубить немедля Гордиев узел. Погода стояла не только ясная, но жаркая, и я, наняв извощика, в одном форменном сюртуке поехал на Тверскую в хорошо знакомую мне квартиру Гофмана. Квартира оказалась запертой, и только после долгих расспросов я добился адреса Гофмана, переехавшего на дачу в Петровский парк. Конечно, я тотчас же нанял извощика в парк. Но приехав туда уже перед захождением солнца, я и там не застал Гофмана на квартире. Слуга профессора объяснил, как отыскать квартиру барыни, сыновьям кото-

рой Гофман давал уроки. Солнце садилось, умаляя постепенно надежду найти обратного извощика, и я решился попытать счастье вызвать Гофмана на минутку для объяснений. Я прошелся раза два под балконом указанного дома, и мне показалось, что в растворенную дверь я слышу голос и даже смех Гофмана. Проходя в другой или в третий раз мимо калитки, я обратился к стоящему перед ней ливрейному лакею с вопросом: тут ли профессор Гофман? На утвердительный ответ я просил доложить ему, что студент Фет желает видеть его на минутку. Минуты через две слуга вернулся со словами: «Профессор просит вас обождать у него на квартире, куда он не замедлит придти». Вернувшись на квартиру Гофмана, я в волнении стал ходить взад и вперед по окончательно потемневшей комнате. Наконец Гофман вернулся и, заметив меня, крикнул слуге: «Что ж ты не зажжешь лампу?»

— Как я рад видеть вас! — прибавил он, обращаясь ко мне.— Самовар готов? — спросил он слугу.

— Готов.

— Давай. Становится свежо,— обратился он ко мне,— и мы с вами выпьем чаю.

На столе, за которым мы уселись, появился огромный самовар с чайным прибором, двумя стаканами и большой непочатой бутылкой коньяку. Я еще из публичных маскарадов знал, что Гофман не дурак выпить, и сам инстинктивно обрадовался возможности под влиянием коньяку набраться большей смелости для предстоящего объяснения. Полагаю, что мы, усердно подливая в стаканы вдохновительной влаги, просидели два или три часа, судя по тому, что опорожнили по-братски вместительную бутылку. Голова моя горела, но страх не дозволял мне охмелеть. Хмелю хватило только для храбрости высказаться. Уже давно я порывался встать и отправиться домой, но каждый раз Гофман удерживал меня словами: «Куда вам спешить?» Наконец на повторенный вопрос я рассказал, как мучаюсь, готовясь к экзамену, прибавляя немецкое выражение: «надо окончательно приложить руку» — «letzte Hand anlegen». Гофман расхохотался и сказал: «Это для многих значит: в последний раз в жизни взять в руки греческую книжку».

— Признаюсь,— отвечал я,— при мысли об экзамене мне не до смеху.

— Напрасно вы так тревожитесь,— отвечал Гофман,— вы так усердно весь год посещали лекции, что я ни в каком случае вам менее тройки не поставлю.

Я весьма сдержанно принял слова Гофмана, хотя в сущности готов был задушить его в объятиях.

Крепко пожавши ему руку, я, поблагодарив за чай, вышел на улицу.

Пылая счастьем и коньяком, я с наслаждением почувствовал охвативший меня холод весеннего утра. Напрасно вслушивался я в окружающее меня молчание, желая уловить стук пролетки. Не было слышно никакой жизни, за исключением собачьих басов с левой стороны еще обнаженной липовой аллеи, на которую я взошел из чувства самосохранения. Вероятно шум моих торопливых шагов раздражал собак, которых густой лай не переставал провожать меня. Хорошо, думалось мне, если собаки лают на запертых дворах, но они бывают нередко спущены на улицу, и тогда чем могу я от них защититься с голыми руками? Кроме собак, я легко мог до Триумфальных ворот подвергнуться нападению мошенников. Продолжая удваивать шаги, я услыхал за собой сначала легкий конский топот, а затем стук колес. Так как время близилось к рассвету, то я мог хотя не с полной ясностью различать предметы, и вскоре убедился, что догонявшая меня лошадь везла небольшой воз с сидящим на нем человеком, спешившим очевидно на базар. Судя о его положении по собственному беспокойству, я даже не решился сбежать с дорожки аллеи на шоссе и попросить проезжего за известную плату прихватить меня до первого извощика. Действительно ли мой неожиданный спутник торопился к заставе, или впал в сомнение насчет моей личности, старавшейся равняться с его повозкой. Вступая таким образом в безмолвное состязание с проезжим, я из самосохранения решился ни за что от него не отставать. Словно наперекор мне, желая от меня уехать, проезжий на значительное расстояние пускал свою лошадку рысью. Понимая, что в случае нападения я мог броситься под защиту живого человека, я не решался отстать от своего спутника и каждый раз, когда он трогал рысью, пускался бежать по аллее. Как благодарил я судьбу, что на мне не было шинели, в которой бы я никоим образом не мог играть роли скорохода. Слава Богу, что проезжий по временам переходил с рыси на шаг, иначе я кажется упал бы, не добежав до Триумфальных ворот, в которые мы вступили единовременно. Зато я мог бы с полной правдивостью повторить, прилагая к себе стих Горация:

Увы, в каком поту и мужи, и кони.

Тем не менее мне пришлось до самой глазной больницы идти в ожидании извощика. Здесь я сел на дрожки и, постепенно остывая, добрался до Малой Полянки, стуча зубами от холода.

В день экзамена Гофман сдержал слово и поставил тройку, которая только и нужна была мне для окончания курса. Когда по окончании экзамена я вышел на площадку лестницы старого университета, мне и в голову не пришло торжествовать какой-нибудь выходкой радостную минуту. Странное дело! я остановился спиною к дверям коридора и почувствовал, что связь моя с обычным прошлым расторгнута, и что, сходя по ступеням крыльца, я от известного иду к неизвестному.

Отправился я благодарить добрейшего Ст. П. Шевырева за его постоянное и дорогое во мне участие. Он оставил меня обедать и даже, потребовав у жены полбутылки шампанского, пил мое здоровье и поздравлял со вступлением в новую жизнь.

Был я и у Крюкова, который принял меня в постели и никак не мог понять моего намерения поступить на кавалерийскую службу.

Вероятно, в частых разговорах с Карлом Федоровичем я проговорился о томившем меня желании издать накопившиеся в разных журналах мои стихотворения отдельным выпуском, для чего мне нужно бы недельки две пробыть в Москве.

— Вот кстати,— сказал полковник,— я вам дам поручение принять от поставщика черные кожи для крышек на потники. Вы получите от меня формальное поручение и подорожную по казенной надобности.

Я и поныне убежден, что эту командировку придумал барон, желая мне помочь.

Пробыв проездом в Новоселках самое короткое время, я прямо проехал в Москву к Григорьевым, у которых поместился наверху на старом месте, как будто бы ничто со времени нашей последней встречи и не случилось. Аполлон после странствований вернулся из Петербурга и занимал по-прежнему комнатки налево, а я занял свои по правую сторону мезонина. С обычной чуткостью и симпатией принялся Аполлон за редакцию стихов моих. При скудных материальных средствах я не мог тратить больших денег на переписку стихотворений, подлежавших предварительной цензуре. Услыхав о моем затрудне-

нии, старик Григорьев сказал: «Да чего вам искать? возьмите бывшего своего учителя П. П. Хилкова. Вы ему этой работой окажете великую помощь, так как он в страшной бедности».

— Как? великий франт Павел Павлович?

— Он пьет запоем и потому потерял место в гимназии и частные уроки.

Отыскав недалеко на Большой Полянке небольшую квартиру Хилкова, проживавшего по-прежнему с сестрой, я передал последней за его отсутствием мое предложение о переписке.

— Покорно вас благодарим,— сказала она,— завтра в 9 часов утра Павел Павлович будет у вас.

На другой день в назначенный час Павел Павлович с той же женственной застенчивостью пришел к нам. Но Боже, в каком виде! Из прорванных сапогов вылядывали босые ноги. Этому соответствовала и остальная одежда. Переписывал он необыкновенно четко, проворно, грамотно и толково. Через неделю рукопись была уже у бывшего моего профессора В. Н. Лешкова, давшего слово по старому знакомству не задерживать меня.

— Василий Никол.,— говорил я,— вам тем легче исполнить слово, что все в сборнике было уже напечатано.

Между тем образчиком тогдашней цензуры может послужить следующее.

В стихотворении «Гаданье на зеркало» находятся стихи:

Вижу, вижу! потянулись:
Раз, два, три, четыре, пять...

И далее:

Шесть, семь, восемь, девять, десять —
Чешуя как чешуя...

— Василий Никол.! — воскликнул я,— почему же вы «Раз, два, три, четыре, пять» пропустили, а

Шесть, семь, восемь...

— замарали чернилами?

— Не могу,— отвечал Лешков,— может быть, тут скрывается что-либо непозволительное.

— Почему же непозволительное не скрывается в первом пятке, а забралось во второй?

— Я и первый со страхом оставляю, а уж второго, извините, пропустить не могу.

— Но ведь это уже напечатано в «Москвитянине» и следовательно пропущено цензурой.

— Покажите, тогда я пропущу.

Волей-неволей пришлось из-за этого стиха ехать из Лефортова, где жил Лешков, к Погодину на Девичье поле.

— Вот чудаки то! — воскликнул Мих. Петр.— возьмите табуретку и посмотрите вон на той полке: там старый «Москвитянин». Да привозите книгу назад.

Прочитав страшные стихи в «Москвитянине», цензор пропустил их.

Не помню, где судьба наткнула меня на моего К. К. Гофмана, оставшегося навсегда типом немецкого бурша. Кто поверит, что Гофман приглашал меня бывать у него для того, чтобы он мог давать мне греческие уроки.

Вскорости я узнал, что до правительства дошла его переписка с французскими либералами 48 года, и ему было сказано выехать из России, чтобы лично подавать советы единомышленникам.

Между прочим я нашел время забежать к давно знакомому Вас. Петр. Боткину, литературным судом которого дорожил.

Хотя дело было в дообеденную пору, я застал у него на кресле в поношенном фраке кудрявого с легкой проседью человека среднего роста.

— Вас. Петр.,— сказал я,— я пришел к вам с корыстною целью воспользоваться часом вашего времени, чтобы подвергнуть мой стихотворный перевод шиллеровской «Семелы» вашему суду, если это не стеснит вас и вашего гостя.

И хозяин, и гость любезно приняли мое предложение, и, достав тетрадку из кармана, я прочел перевод. Когда я, окончив текст, прочел: «Симфония, занавес падает» — посетитель во фраке встал и сказал: «Конца-то нет, но я понимаю, предоставляется актеру сделать от себя надлежащее заключение».

С этим он пожал хозяину руку и, раскланявшись со мною, вышел.

— Кто этот чудак? — спросил я Боткина.

— Это наш знаменитый Мочалов,— не без иронии заключил Боткин.

Устроившись насчет печати с типографией Степанова и упросив Аполлона продержать корректуру, я принял кожи и через Новоселки и Киев вернулся в полк. <...>

* * *

Был чудный майский день в Москве;
Кресты церквей сверкали,
Вились касатки под окном
И звонко щебетали.

Я под окном сидел, влюблен,
Душой и юн и болен.
Как пчелы, звуки вдалеке
Жужжали с колоколен.

Вдруг звуки стройно, как орган,
Запели в отдаленьи;
Невольно дрогнула душа
При этом стройном пеньи.

И шел и рос поющий хор,—
И непонятной силой
В душе сливался лик небес
С безмолвною могилой.

И шел и рос поющий хор,—
И черною грядою
Тянулся набожно народ
С открытой головою.

И миновал поющий хор,
Его я минул взором,
И гробик розовый прошел
За громогласным хором.

Струился теплый ветерок,
Покровы колыхая,
И мне казалось, что душа
Парила молодая.

Весенний блеск, весенний шум,
Молитвы стройной звуки —
Всё тихим веяло крылом
Над грустию разлуки.

За гробом шла, шатаясь, мать.
Надгробное рыданье! —
Но мне казалось, что легко
И самое страданье.

<1857>.

ЛИРИЧЕСКИЙ ПАНТЕОН

Si tu pouvais jamais égaler, o ma lyre,
Le doux frémissement des ailes du zéphire
A travers les rameaux,
Ou l'onde qui murmure en caressant ses rives,
Ou le roucoulement des colombes plaintives
Jouant aux bords des eaux.

Lamartine *

* * *

Пуская в свет мои мечты,
Я предаюсь надежде сладкой,
Что, может быть, на них украдкой
Блеснет улыбка красоты,

Иль раб мучительных страстей,
Читая скромные созданья,
Разделит тайные страданья
С душой взволнованной моей.

<1840>

Баллады

ПОХИЩЕНИЕ ИЗ ГАРЕМА

Кто в ночи при луне открывает окно?
Чья рука, чья чалма там белеют?
Тихо всё. Злой евнух уже дремлет давно,
И окошки гарема чернеют.

Ты, султанша, дрожишь? Ты, султанша, бледна?..
Страшно ждать при луне иноверца!..
Но зачем же, скажи мне, ты ждешь у окна?
Отчего ноет сладостно сердце?

— Что ж ты медлишь, гяур? Приезжай поскорей!
Уж луна над луной минарета.

* Если бы ты могла когда-нибудь, о моя лира, уподобиться тихому трепету крыльев зефира меж ветвей, или волне, что журчит, лаская свои берега, или воркованию стонущих голубей, играющих на берегу вод. *Ламартин (фр.)*.— *Ред.*

Чу, не он ли?.. Мне чудится топот копей.
      Далеко нам скакать до рассвета!

Да! То он! Мой гяур уж заметил меня!
      Конь идет осторожной стопою,
Всадник машет платком и другого коня
      На поводьях ведет за собою.

Дремлет страж под окном; вдруг кинжал полетел
      На него серебристой змеею;
Стон глухой... Меч сверкнул, и песок почернел
      Там, где пала чалма с головою.

— Ножкой стань на плечо! Ах, скорей! не сорвись!
      — Я боюся ревнивой погони.
Ах, в гареме огонь! — Захрапевши, взвелись
      И как вихри помчалися кони.

Поутру под окном изумленной толпой
      Чернолицая стража стояла;
Перед нею с султаншиной белой чалмой
      Иноверца перчатка лежала.

<1840>

ЗАМОК РАУФЕНБАХ

1

На гранит ступает твердо
Неприступный Рауфенбах,
И четыре башни гордо
Там белеют на углах.

Заредеют ли туманы
Перед утренней зарей,
Освежатся ли поляны
Хладной вечера росой,

Пробирается ль в тумане
В полночь чуткая луна,—
Всё молений и стенаний
Башня южная полна.

Там под кровлею железной
Протянулося окно,
И решеткой бесполезной
Не заковано оно.

Что ж ты, пленник, так бледнеешь?
Вольный мир перед тобой!
Иль нет крыльев? — Знать, сотлеешь
За удушливой стеной.

Но потухшими очами
Ты не смотришь в синю даль;
Знать, что куплено слезами,
Знать, чего так больно жаль, —

Не вдали. Сухие руки
Не протягивай к земле,
И в жару безумной муки
Не зови ее к себе!

Что ты бьешься?... Теодора,
Нежный друг твой не придет,
Не избавит от позора
И на грудь не упадет.

Завтра казнь! Барону-змею
Любо, что перед женой
Завтра к плахе склонишь шею
Ты с косматой головой!..

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

2

Светом облит лик иконы,
Перед ней стоит налой,
Слышны вздохи, слышны стоны,
И, во прах склонясь главой,

Горько плачет Теодора,
Кудри по полу легли;

Завтра день его позора,
Завтра с горестной земли

Милый друг ее умчится;
Не слезой горячей с ней
Он в последнее простится —
Жаркой кровию своей!

3

Уж редеет сумрак хладный,
Уж поднялся эшафот,
И кругом толпою жадной
Собирается народ.

Час настал. С своей женою
К башне подошел барон
И могучею рукою
Уж замка коснулся он.

Вдруг с окна над ним слетело
Что-то.— Ах! — и уж в пыли
Два разбитых мертвых тела
Близ дверей тюрьмы легли.

4

Там, в капелле, под горою,
За решеткой золотой
Спит под мраморной плитою
Руафенбах с своей женой.

Любо черни на просторе,
Чтó толпе любви закон?
Душно в гробе Теодоре
Спать с немилым; где же *он*?

Холм песчаный за рекою
Лег над избранным твоим.
Все там тихо,— лишь зарею
Ворон каркает над ним.

<1840>

УДАВЛЕННИК

Ужин сняли. Слава богу,
Что собрались как-нибудь.
Ну, присядем на дорогу,
Да и с богом в дальний путь.

Вот уж месяц вполовину
Показался,— не поздай;
Только слушай: ты долину
За кладби́щем объезжай!

Речь давно об ней ведется:
Там удавленник зарыт.
Только полночь — он проснется
И проезжих сторожит.

Как огни, у исполина
Светят страшные глаза;
На макушке, как щетина,
Поднялися волоса;

С шеей, петлею обвитой,
Как котел он посинел,
Зубы кровию облиты,
И язык окостенел.

Самому мне с ним возиться
Довелось лет пять назад;
И теперь — когда, случится,
Вспомнишь ночью — и не рад!

Всё ли в путь собрали сыну?
Вот и с богом: поезжай!
Только слушай: ты долину
За кладби́щем объезжай.

<1840>

Лирические стихотворения

БЕЗУМНАЯ

Ах, не плачь и не тужи,
Мать родная! Покажи,
Где его могила!
Иль не знаешь ты того,
Как я нежила его,
Как его любила?

Ох, родная, страшно мне:
Он мерещится во сне
С яркими очами!
Всё кивает головой
И зовет меня с собой
Грозными речами.

Нет, родная, бог уж с ним!
Не пойду я вслед за ним:
Он меня задушит.
Пусть он спит в земле сырой;
Мой приход его покой
В гробе не нарушит.

Ох, родная, покажи,
Где он, где он? — Задуши
Ты меня, мой милый!
Сладко я умру с тобой;
Ты поделишься со мной
Тесною могилой.

Не задушишь ты меня;
Обовьюсь вокруг тебя
Жадными руками;
Я прижмусь к твоим устам
И полжизни передам
Мертвецу устами.

Что ж ты смотришь на меня?
Мне смешно и без тебя:
Сердце лопнуть хочет!
Тяжко мне среди людей!

Слышишь... Свищет соловей,
И сова хохочет.

Ха-ха-ха! так смех берет!
То из раны кровь польет,
То застынет снова;
Жадно кровию напьюсь,
Сладко-сладко захлебнусь
Кровию милова.

В чистом поле он убит
И в сырой земле лежит
С раною кровавой.
Кровь и слезы — слезы — кровь,
Где ж ты, где моя любовь
С головой кудрявой?

Вскинусь птицей, полечу,
Черны кудри размечу
По челу кольца́ми.
Улыбнись же, полно спать!
Это я пришла играть
Черными кудрями!

<1840>

ДВЕ РОЗЫ

Вчера златокудрявый,
Румяный майский день
Принес мне двух душистых
Любовниц соловья:
Одна одета ризой
Из снежных облаков,
Другая же — туникой
Авроры молодой.

Я долго колебался,
Какую розу взять.
Ах, белая так нежно
Зеленые листки
В венке моем пахучем,
Целуя, оттенит!

А ты, коралл душистый,
Прильнув к моей груди,
Горячее дыханье
Бальзамом напоишь;
И взоры огневые
Красотки молодой
Скорей падут на сердце,
Над коим дышишь ты!..
И с розы на другую
Бросал я жадный взор.

Заметив нерешимость,
Мне юный Май сказал:
Возьми сестер обеих
И, счастливый вдвойне,
Укрась венок зеленый
И любящую грудь!

Я принял их и понял
Спасительный урок.
Давно на дне кристальном
Души моей живой
Любуется собою
Наины светлый взор,
И грудь полунагая,
И черная коса;

И тут же ненарочно
В тени златых кудрей
Красотка Зинаида
Предстанет предо мной.
И каждый раз, как кольца
Упругие прыгнут
И золотом заблещет
Их радужный отлив,
Я слышу, как в ланитах
Моих зардеет кровь.
Вы розы — да, две розы! —
Обеим вам любовь!

<1840>

СЕРЕНАДА

Плывет луна по высоте,
Смахнув с чела туман ревнивый.
И в сладострастной темноте
Шумят ветвистые оливы.

Чу,— слышу звуки вдалеке!
Там, под балконом, близ ограды,
Поют — и эхо по реке
Несет аккорды серенады.

И звуки, стройные сыны
Звонча́той лиры Аполлона,
Несут владычице балкона
На ложе пламенные сны.

Луна плывет, река дрожит,
Трепещет сердце у поэта.
Проснись, о дева, он стоит
И ждет отрадного ответа.

И вдруг раздался тихий звон
Замка средь звуков песнопенья,
И вот брюнетка на балкон
Взошла с улыбкой умиленья,

И, будто невзначай, само,
Скользнув из ручки девы милой,
Сердец поверенный — письмо
Упало вниз через перилы.

<1840>

МОЙ САД

В моем саду, в тени густых аллей,
Поет в ночи влюбленный соловей,
И, позлащен июньскою луной,
Шумит фонтан холодною волной,
Кругом росой увлажены цветы,—
Пойдем туда вкушать восторг мечты!

Не чужд ли ты волшебных чар любви?
В моем саду сильней огонь в крови;

Всё чудно там, и звезды над тобой
Текут плавней небесной синевой,
Луна дрожит и блещет, как алмаз,—
Пойдем туда: полюбишь в первый раз!

Но если ты уж любишь и любим,
Всё там найдешь, все назовешь своим:
Фонтан, цветы, влюбленный соловей —
Везде она, везде поют о ней!
К луне ли взор — там тихо и светло —
Опять она, опять ее чело!

<1840>

ПРИЗНАНИЕ

Простите мне невольное признанье!
Я был бы нем, когда бы мог молчать,
Но в этот миг я должен передать
Вам весь мой страх, надежду и желанье.

Я не умел скрываться.— Да, вам можно
Заметить было, как я вас любил!
Уже давно я тайне изменил
И высказал вам все неосторожно.

Как я следил за милою стопой!
Как платья милого мне радостен был шорох!
Как каждый мне предмет был безотчетно дорог,
Которого касались вы рукой!

Однажды вы мне сами в том признались,
Что видели меня в тот самый миг,
Как я устами к зеркалу приник,
В котором вы недавно улыбались.

И я мечтал, что к вам закралась в грудь
Моей души безумная тревога;
Скажите мне,— не смейтесь так жестоко:
Могла ли в вас наружность обмануть?

Но если я безжалостно обманут,—
Один ваш взгляд, один полунамек —
И нет меня, и я уже далек,
И вздохи вас печалить перестанут.

Вдали от вас измучуся, изною,
Ночь будет днем моим — ей буду жить,
С луной тоскующей о прошлом говорить;
Но вы любуйтеся веселою луною.

И ваших девственных и ваших светлых дней
Участием в страдальце не темните;
Тогда — одно желанье: разрешите,
Лицо луны — или мое бледней?

<1840>

ЗАСТОЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Фиял кипит янтарной Ипокреной,
Душа горит и силится во мне
Залить в груди огонь жемчужной пеной.
Но что́ забыть, что́ вспомнить при вине?

Красавица с коварною душою,
Ты, божеством забытый пышный храм,
И вы, друзья с притворною слезою,
И вы враги с презренной клеветою,
Забвенье вам!

И вы, мечты, которыми прельщался,
И ты, судьба, противница мечтам,—
Довольно я страдал и заблуждался,
Надеялся, слезами обливался...
Забвенье вам!

Ты, девы грудь, вы, кудри золотые,
Ты, Грации художественный рост,
Вы, ямочки и щечки огневые,
Ты, тень ресниц, вы, глазки голубые,—
Вам первый тост!

И вы, друзья святого вдохновенья
С мечтательной и нежною душой,
Вы, полные к прекрасному стремленья,
С тоской души, с улыбкой умиленья —
Вам тост второй!

И вы, друзья с зелеными венками
И с хохотом в досужный Вакха час,—

Похмелья гений носится над вами!
Поднимем кубки дружными руками!
Я пью за вас!

Фиял кипит янтарной Ипокреной,
И что души тревожило покой —
Всё умерло в груди воспламененной,
Всё милое — воскресло предо мной!

<1840>

КОЛЬЦО

Скажи, кольцо, как друг иль как злодей
Ты сжало мне трепещущую руку?
Скажи, что́ мне сулишь: ряд ясных дней
Иль черных дней томительную муку?

Нет, за тебя мне сердце говорит,
И я тебя, мой друг, кольцо, целую,—
И, вечности симво́л, твой круг сулит,
Как ты само, мне вечность золотую.

Что ж ты молчишь, предвестник лучших дней?
Скажи ты мне, подарок обручальный,
Скажи, далек ли миг, когда у ней
Блеснет чело короною венчальной?

И счастье мне!.. Но мне ль мечтать о нем?..
Дают ли груз сокровищ несть бессильным?
Мне счастья нет в страдальчестве земном,—
Найду ль его и за холмом могильным?

Зачем же миг, зачем миг счастья мне?
Зачем в цепь узника сапфир лазурный?
Пусть я несусь по яростной волне,
Чтоб потонуть в пучине жизни бурной!

О, не мертвей, небесное лицо,
Не раздирай души твоим страданьем!
О, не блистай, заветное кольцо,
И не сжигай груди твоим блистаньем!

Прочь, счастье, прочь! — я не привык к тебе,
Ее кольцо меня с тобой сковало,—

Но, море,— вот, возьми его себе:
Его давно ты с шумом ожидало!

И не меняет моего лица
От тиши к бурям переход столь быстрый,
Но сердцу так легко: нет на руке кольца —
И нет в душе надежды даже искры!

<1840>

УТЕШЕНИЕ

Вспорхнул твой ветренник, уж нет его с тобою!
Уже, склонясь к тебе, дрожащею рукою
Он шейку белую твою не обовьет,
Извившись талией могучею и ловкой,
И розы пламенной над милою головкой
Дыханье сладкое в восторге не вопьет.

Он ветрен — ты верна изменнику душою;
Ты плачешь здесь, а он смеется над тобою;
Рассмейся, милая, как солнце поутру,
Забудь любовника твоей душистой розы,
Дай руку мне,— а я пленительные слезы
Устами жаркими с очей твоих сотру.

<1840>

СТРАННОСТЬ

В мире, где радостей нет, Эпикур говорит:
наслаждайся!
Дай мне восторгов, а там можешь сказать:
удержись!

<1840>

ОТКРОВЕННОСТЬ

Не силен жар ланит твоих младых
Расшевелить певца уснувшей воли;
Не мне просить у прелестей твоих
Очаровательной неволи.

Не привлекай и глазки не взводи:
Я сердце жен изведал слишком рано;
Не разожжешь в измученной груди
Давно потухшего волкана.

Смотри, там ждет влюбленный круг мужчин,
А я стою желаний общих чуждый;
Но, женщины, у вас каприз один:
Вам нужны те, которым вы ненужны!

Вам надоел по розам мягкий путь
И тяжелы влюбленные беседы;
Вам радостно разжечь стальную грудь
И льстят одни тяжелые победы.

Но ты во мне не распалишь страстей
Ни плечками, ни шейкою атласной,
Ни благовонием рассыпанных кудрей,
Ни этой грудью сладострастной.

Зачем даришь ты этот мне букет?
Он будет мне причиною печали.
И я когда-то цвел, как этот цвет,—
Но и меня, как этот цвет, сорвали.

Ужель страдать меня заставишь ты?
Брось эту мысль: уж я страдал довольно —
От ваших козней, вашей простоты
И вашей ласки своевольной.

Другим отрадно быть в плену твоем,
Я ж сердце жен изведал слишком рано;
Ни хитростью, ни истинным огнем
Не распалишь потухшего волкана.

<1840>

ОДАЛИСКА

Вот груди — жаркий пух, вот взоры — звезды ночи,
Здесь цитры звон и сладостный щербет.
О юноша, прекрасный Аллы цвет,
Иди ко мне лобзать живые очи
И грудь отогревать под ризой тихой ночи!

<1840>

ЛАСТОЧКА

Я люблю посмотреть,
Когда ласточка
Вьется вверх иль стрелой
Пó рву стелется.

Точно молодость! Всё
В небо просится,
И земля хороша —
Не расстался б с ней!

<1840>

В АЛЬБОМ

Пусть гений прошлого с улыбкой
Вам обо мне заговорит,
Когда ваш взор, хотя ошибкой,
По этим строчкам пробежит.

Так иногда певец унылый
Идет в стране своей родной,
В былые дни когда-то милой,
Теперь заглохшею тропой.

<1840>

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Побольше влаги светлой мне,
И пену через край!
Ищи спокойствия на дне
И горе запивай!

Вино богами нам дано
В замену летских струй:
Разгонит горести оно,
Как смерти поцелуй,

И новый мир откроет нам,
Янтарных струй светлей,

И я за этот мир отдам
Всю нить грядущих дней.

Лишь кубок, чокнув, закипит,—
Воспламенится кровь,
И снова в сердце проблестит
И радость и любовь!

В душе отвага закипит,
Свобода оживет,
И сын толпы не уследит
Орлиный мой полет!

<1840>

НА СМЕРТЬ ЮНОЙ ДЕВЫ

В обширном саду, испещренном живыми цветами,
Где липа душистая солнца лучи преломила,
Природа-волшебница дивный цветок насадила —
Любимицу-розу в тени под густыми листами.

И дева могучая милым цветком любовалась,
Слезами чистейшими неба ее поливала,
Дыханием груди родимой ее согревала,—
И роза с улыбкой младенца в тиши развивалась.

Ах, роза, зачем на тебя не падут мои слезы?
Еще над тобой не вздыхала в тиши Филомела
И бабочка легкой подругой к тебе не летела,
Природа не знала чела, достойного розы.

Восток загорелся, и мощная дева в печали
Стояла; цветы фимиам погребальный курили,—
В гирлянду небесную ангелы розу сломили
И этой гирляндою вечного трон увенчали.

<1840>

ХУДОЖНИК К ДЕВЕ

Дева, не спрашивай
Ясными взорами,
Зачем так робко я

Гляжу на дивные
Твои формы?
Зачем любовь ко мне
Волной серебряной
Катится в грудь?

Ты — легкая, юная,
Как первая серна
У струй Евфрата,—
Одна достойна
Руками лилейными
Прижать к груди твоей
Широкую грудь,
Где кроется чудный дар
Бессмертных песен
Про жизнь и природу!

Лишь ты сохранишь ее
Святою и чистою;
Ты, перл земной,
Расскажешь небесному
Про чистые радости
Сына земли,
Когда он молча
Стоит пред изящным.

Лишь ты достойно
Венчаешь художника,
Когда венок свой
С кудрей шелковых
Рукою белою
С улыбкой снимаешь,
Чтобы украсить
Чело любовника.
Сними поскорее
Венок, златовласая!
Пускай твои кудри
Играют с зефиром.

<1840>

ВАКХАНКА

Зачем как газель
По лесистым утесам
Ты мчишься, вакханка?

Зачем из-под грубой
Косматой одежды
Так дерзко мне кажешь
Блестящую, стройную,
Воздушную ножку?

Зачем твои черные,
Мягкие кудри,
Взвеваясь, не кроют
Той страсти, той неги,
Что пышет зарею
На диком лице твоем?

Никто нас не видит,—
Далеко-далеко
Умчались подруги! —
Ты слышишь? — в горах там:
Эвое! Эвое!

Брось тирс и венок твой!
Скорее на грудь ко мне...
Не дай утишиться
Вакхической буре
В пахучих грудях твоих!
Сатир не подсмотрит,
С коварной улыбкой,
Проказ молодых.

<1840>

КОЛОДНИК

С каждым шагом тяжкие оковы
На руках и на ногах гремят,
С каждым шагом дальше в край суровый —
Не вернешься, бедный брат!

На лице спокойствие могилы,
Очи тихи; может быть, ты рад,
Что оставил край, тебе немилый?
Помолися, бедный брат!

<1840>

ТОСКА ПО НЕВОЗВРАТНОМ

Опять в душе минувшая тревога,
Вновь сердце просится в неведомую даль,
Чего-то милого мне больно-больно жаль,
Но не дерзну просить его у бога.

И вновь маню высокий идеал,
И снова жизнь мне грезится иная:
Так грешник-праотец, проснувшися, искал
Знакомых благ утраченного рая!

<1840>

НЕВОЗВРАТНОЕ

Друг, о чем ты все тоскуешь?
Нет улыбки на устах,
Черны кудри в беспорядке,
Очи черные в слезах.

— Я тоскую, я горюю,
Ты ж не можешь пособить:
Ты любила, разлюбила
И не в силах полюбить.

<1840>

ВЗДОХ

Быть может, всё оставило поэта,—
Душа, не плачь, не сетуй, не грусти!
Зачем любить и требовать ответа?
Ты изрекла мне вечное прости.

Но будет жизнь за жизнию земною,
Где буду вновь и светел и любим,
Где заблещу прославленной звездою,
Где я сольюсь с дыханием твоим!

<1840>

К ЛЕШЕМУ

На мшистом старом пне, скрестив кривые ноги
И вещей * наготой блистая меж древес,
Ты громче хохочи и смешивай дороги,
Когда красавица зайдет в твой темный лес,

Где я люблю следить за чуткими зверями,—
От страха робкая домой забудет путь,
И, кузов уронив с душистыми цветами,
Она падет ко мне на пламенную грудь.

<1840>

ХАНДРА

1

Когда на серый, мутный небосклон
Осенний ветер нагоняет тучи
И крупный дождь в стекло моих окон
Стучится глухо, в поле вихрь летучий
Гоняет желтый лист и разложён
Передо мной в камине огнь трескучий,—
Тогда я сам осенняя пора:
Меня томит несносная хандра.

2

Мне хочется идти таскаться в дождь;
Пусть шляпу вихрь покружит в чистом поле.
Сорвал... унес... и кружит. Ну так что ж?
Ведь голова осталась.— Поневоле
О голове прикованной вздохнешь,—
Не царь она, а узник — и не боле!
И думаешь: где взять разрыв-травы,
Чтоб с плеч свалить обузу головы?

3

Горят дрова в камине предо мной,
Кругом зола горячая сереет.
Светло — а холодно! Дай, обернусь спиной

---

* Простолюдины думают, что увидеть лешего предвещает беду. (*Примеч.* А. Фета — *Ред.*)

И сяду ближе. Но халат чадеет.
Ну вот точь-в-точь искусств огонь святой:
Ты ближе — жжет, отдвинешься — не греет!
Эх, мудрецы! когда б мне кто помог
И сделал так, чтобы огонь не жег!

4

Один, один! Ну, право, сущий ад!
Хотя бы черт явился мне в камине:
В нем много есть поэзии. Вот клад
Вы для меня в несносном карантине!..
Нет, съезжу к ней!.. Да нынче маскерад,
И некогда со мной болтать Алине.
Нет, лучше с чертом наболтаюсь я:
Он слез не знает — скучного дождя!

5

Не еду в город. «Смесь одежд и лиц»
Так бестолкова! Лучше у камина
Засну — и черт мне тучу небылиц
Представит. Пусть прекрасная Алина
Прекрасна.— Завтра поздней стаей птиц
Потянется по небу паутина,
И буду вновь глядеть на небеса:
Эх, тяжело! хоть бы одна слеза!

<1840>

НОЧЬ И ДЕНЬ

Мила мне ночь, когда в неверной тьме
Ты на руке моей в восторге таешь,
Устами ищешь уст и нежно так ко мне
Горячей щечкой припадаешь!

И я, рукой коснувшись как-нибудь
Твоих грудей, их сладостно взволную;
Но днем ты ищешь скрыть, упав ко мне на грудь,
Пожар лица от поцелуя —
И мне милее день...

<1840>

ЭПИТАФИЯ

Любил он песням дев задумчиво внимать,
Когда на звуки их березник отзовется,
Любил о них поплакать, помечтать,
Под этой липою лениво отдыхать;
Теперь он спит — и не проснется.

<1840>

АРАБЕСК

Черную урну с прахом поэта
Плющ обогнул;
К брошенной арфе девственный пояс
Крепко прильнул.

Факел угасший подле папира
Вечного спит;
Гарпия-зависть, крылья раскинув,
В прахе лежит.

Но за Коцитом ты улыбнешься,
Дивный певец;
К урне прижался дар Аполлона —
Свежий венец!

<1840>

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

(Памяти Козлова)

Мечтанье было то иль сон?
Мне слышался вечерний звон;
А над рекою, под холмом,
Стоял забытый сельский дом,
И перелив тяжелых дум
Давил мне сердце, мучил ум.

Пустынный дом! где твой жилец?
Увы! вдали поэт-слепец
О родине не забывал
И сладкозвучно тосковал.

Он спит: его глубокий сон
Уж не прервет вечерний звон.

Но что ж,— певец земных скорбей,
Ты не умрешь в сердцах людей! —
Так я мечтал — и надо мной
Пронесся чрез эфир пустой
Какой-то грусти полный стон,
И я запел «Вечерний звон».

<1840>

ВОДОПАД

Там, как сраженный
Титан, простерся
Между скалами
Обросший мохом
Седой гранит
И запер пропасть;
Но с дикой страстью
Стремится в бездну
Через препоны
Поток гремучий
И мечет жемчуг
Шипучей пены
На черный брег.

Смотри, как быстро
Несется ветка
К кипучей бездне,
Как струйка сильно
Ее кидает
С прозрачной мели
На острый камень.—
Мелькнула! — Полно!
Из черной бездны
Возврата нет.

Слежу глазами
За быстрым током.
Как присмирел он
Там, в отдаленьи;
Как будто небо
В нем хочет видеть
Свою красу.

Смотри: та ветка,
Что там исчезла
В пучине лютой,
Плывет так тихо,
Так безмятежно
По вечной влаге.
<*1840*>

* * *

Весна, весна, пора любви.
Пушкин

Солнце потухло, плавает запах
Юных берез
В воздухе сладком; лодка катится
Вниз по реке;
Небо прозрачно, плавает месяц
В ясной воде.

Там, за рекою, звездною цепью
Блещут огни,
Тени мелькают, вторится эхом
Песнь рыбака;

Здесь, над горою, к другу склонившись
Легкой главой,
Милая Мери с нежной улыбкой
Шепчет: «Люблю».

Мери, ты любишь! Скоро умолкнет
Ночи певец,
Лист потемнеет,— будешь ли так же,
Мери, любить?..
<*1840*>

* * *

Amantium irae amoris renovatio.
Horatius *

Ты мне простишь, мой друг, что каждый раз,
Как ссоришься ты с милою своею,
Кусаю губы в кровь, но лишь взгляну на вас,
Рассеять смеха не умею.

---

* Ссоры любовников — обновление любви. *Гораций (лат.).— Ред.*

Как к ней пристал суровый этот взгляд,
Как на устах улыбка скрыта мило,—
А всё видна! Недаром говорят:
«Как ни клади, в мешке не скроешь шила».

А ты,— ты в этот миг оригинал большой;
С сигарою во рту, в халате, у окошка
Алеко, Мортимер, Отелло предо мной,
И даже Гамлет ты немножко.

А я, смотря на вас, смеюсь,— не утерплю!
Вот люди, думаю, не знают, как придраться,—
Напившись кофею, сто раз сказать «люблю»
И тысячу — поцеловаться.

<1840>

* * *

И девушка пленить умела их
Без помощи нарядов дорогих.
Пушкин.
«Домик в Коломне»

Сними свою одежду дорогую,
С чела лилейного сбрось жемчуг и цветы,—
И стра́стней я милашку поцелую,
И простодушнее мне улыбнешься ты.

Когда ты легкую свою накинешь блузу
И локон твой скользит по щечке как-нибудь,
Я вижу простотой овеянную музу,
И не простой восторг мне сладко льется в грудь.

<1840>

* * *

Не плачь, моя душа: ведь сердцу не легко
Смотреть, как борешься ты с лютою тоскою!
Утешься, милая: хоть еду далеко,
Но скоро возвращусь нежданною порою
И снова под руку пойду гулять с тобою.

В твои глаза с улыбкой погляжу,
Вкруг стана обовью трепещущие руки
И всё, и всё тебе подробно расскажу

Про дни веселия, про дни несносной муки,
Про злую грусть томительной разлуки,

Про сны, что снились мне от милой далеко.
Прощай — и, укрепясь смеющейся мечтою,
Не плачь, моя душа: ведь сердцу не легко
Смотреть, как борешься ты с лютою тоскою,
Склонясь на локоток печальной головою!

<1840>

* * *

Доволен я на дне моей души,
Чуждаясь мысли дерзкой и преступной;
Пусть как звезда ты светишь мне в тиши,
Чиста, свята красою неприступной.

<1840>

* * *

Ich singe wie ein Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet.
Goethe *

Над морем спит косматый бор;
Там часто слушал я
Прибрежных волн мятежный спор
И песни соловья.

Бывало, там внизу шумят
Ветрила кораблей,
На ветре снасти шелестят
И гордый царь зыбей

Несется,— с палубы крутой
Далеко песнь звучит,—
А соловей во тьме лесной
Неслышимый грустит.

<1840>

---

* Я пою, как поет птица, живущая в ветвях. *Гете (нем.).— Ред.*

* * *

Посмотри, наш боец зашатался, упал,
Залило алой кровью всего.
Что, он ранен легко — иль убит наповал?
На плаще вы несите его.

Может быть, оживет, и к геройской груди
Он прижмет и жену и детей.
Осторожней, чтоб нам не толкнуть на пути
Храбреца! Ну, беритесь скорей!

А убит... ну, зато видел я, что за взор
Бросил он на врага своего!
Хоть убит — не стоять же над ним. Что за вздор!
На плаще вы несите его.

<1840>

* * *

Она легка, как тонкий пар
Вокруг луны златой,
Ее очей стыдливый дар
Вливает в сердце томный жар,
Беседует с душой.

Она стройна, как гибкий клен,
Она чиста, как свет,
Ее кудрей блестящий лен
Увил чело — и упоен
Стоит пред ней поэт.

<1840>

* * *

Nec sit ancillae tibi amor pudori.
Horatius *

Уж, серпы на плеча взложив, усталые жницы
Звонкою песнью своей оглашают прохладное поле;
Ландышем пахнет в лесу; там, над оврагом, березы
Рдеют багрянцем зари, а здесь, в кустарнике мелком,
Звонко запел соловей, довольный вечерней прохладой.
Верный конь подо мной выступает медленным шагом,

* Ты не стыдись, что увлекся рабою. *Гораций (лат.)*.— *Ред.*

Шею сгибая кольцом и мошек хвостом отгоняя.
Скоро доеду. Да вот и тенистая старая ива,
Вот и пригорок, и ключ под кровом корнистого вяза.
Как он звучен и чист, как дышит подземной прохладой!
Чу, не она ль? Где-то ветвь шелестит... Но ей не заметить
Здесь, за вязом, меня.— Ах, вот она, роза селенья!
По локотки рукава засучила и быстро склонилась
К холоду светлой струи,— вот моет белые руки,
Вот в прозрачные пéрсты воды зачерпнула, и блещет
В чистых каплях чело, покрытое легким румянцем.
Вот сарафан на груди расстегнулся, и плечи и груди
Робко бегут от руки, несущей холодную влагу.
Вот малютка-рука трет белую ножку-малютку,
И под нею в ключе такая ж качается ножка.
Дева, помедли! — но нет: вспорхнула резвая крошка,—
Только кустарник вдали ее сарафанчик целует.

<1840>

* * *

Amis! un dernier mot!
V. Hugo *

Стократ блажен, когда я мог стяжать
Стихом хотя одну слезу участья,
Когда я мог хотя мгновенье счастья
Страдальцу-брату в горе даровать!

Умру,— мой холм исчезнет под пятой
Могучего, младого поколенья,—
Но, может быть, оно мои волненья
Поймет, почтив меня своей слезой.

За смертью смерть, за веком век пройдет,
Оплачет каждый жизненное горе,—
И, может быть, мне каждый в слезном море
Слезинку ясную, святую принесет.

Раздался звук — и с ангельской трубой
Могучим вновь из праха я воспряну
И с перлами пред господом предстану:
Слеза ведь перл в обители иной.
<1840>

---

* Друзья, еще одно слово! *В. Гюго (фр.).— Ред.*

МГНОВЕНИЯ

I. ПЕРЧАТКА

Перчатку эту
Я подстерег:
Она поэту
Немой залог
Душистой ночи,
Где при свечах
Гляделись очи
В моих очах;
Где вихрь кружений
Качал цветы;
Где легче тени
Носилась ты;
Где я, как школьник
За мотыльком,
Иль как невольник,
Нуждой влеком,
Следил твой сладкой,
Душистый круг —
И вот украдкой,
Мой нежный друг,
Перчатку эту
Я подстерег:
Она поэту
Немой залог.

<1842>

II. ТРУБКА

. . . .
. . . .
. . . .

III. ПЕРЕД КАМИНОМ

Непогода — осень — куришь,
Куришь — все как будто мало.
Хоть читал бы,— только чтенье
Подвигается так вяло.

Серый день ползет лениво,
И болтают нестерпимо
На стене часы стенные
Языком неутомимо.

Сердце стынет понемногу,
И у жаркого камина
Лезет в голову больную
Все такая чертовщина!

Над дымящимся стаканом
Остывающего чаю,
Слава богу, понемногу,
Будто вечер, засыпаю...

<1842>

IV. ХРОНОС

Я тоскую и беспечен,
Жизнь бесстрастная томит,
Скучный день мой бесконечен,
Ночь бессонна, как Аид.

Час за часом улетает,
Каждый бой часов растет,
Где двенадцать ударяет,
Там и первый настает.

<1842>

V. СТРАННАЯ УВЕРЕННОСТЬ

Скорей, молись, затягивай кушак!
Нас ждет ямщик и тройка удалая,
Коней ждет корм, а ямщика кабак,
А нас опять дорога столбовая.

Да кой же черт? хоть путь нам и далек,
Не даром же прогоны в вечность канут!
Не может быть... Есть в мире уголок,
Где и про нас хоть мельком упомянут.

<1842>

VI. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вот застава — скоро к дому,
Слава богу, налегке!
Мой привет Кремлю родному,
Мой привет Москве-реке!

Не увижу ли, не встречу ль
Голубых ее очей?
Догадаюсь ли, замечу ль
По сиянью их лучей

Долгой тайны нетерпенье,
Пламень в девственной крови,
Возрожденье, упоенье
И доверчивость любви?

<1842>

VII. ЕЕ ОКНО

Как здесь темно,
А там давно
Ее окно
Озарено...
Колонны в ряд
Между картин
Блестят, горят
Из-под гардин!
Вон, вон она

Наклонена!
Как хороша!
Едва дыша,
Любуюсь я...
Она моя,
Моя, моя!

<1842>

VIII

Сорвался мой конь со стойла,
Полетел, не поскакал...
Хочет воли, ищет пойла,
Хвост и гриву раскидал.

Отпугните, загоните!
Чья головка там видна?
Посмотрите, посмотрите,
Паша смотрит из окна!

<1842>

IX. ЖЕЛАНИЕ

Как много, боже мой, за то б я отдал дней.
Чтоб вечер северный прожить тихонько с нею
И всё пересказать ей языком очей,
Хоть на вечер один назвав ее свою,

Чтоб на главе моей лилейная рука,
Небрежно потонув, власы приподнимала,
Чтоб от меня была забота далека,
Чтоб счастью одному душа моя внимала,

Чтобы в очах ее слезинка родилась —
Та, над которой я так передумал много,—
Чтобы душа моя на всё отозвалась —
На всё, что было ей даровано от бога!

<1842>

*X. AVE MARIA**

Ave Maria — лампада тиха,
В сердце готовы четыре стиха:

Чистая дева, скорбящего мать,
Душу проникла твоя благодать.
Неба царица, не в блеске лучей,
В тихом предстань сновидении ей!

Ave Maria — лампада тиха,
Я прошептал все четыре стиха.

<1842>

---

* Славься, Мария! *(лат.)* — *Ред.*

ЦЫГАНКЕ

Молода и черноока,
С бледной смуглостью ланит,
Прорицательница рока,
Предо мной дитя востока
Улыбаяся, стоит.

Щеголяет хор суровый
Выраженьем страстных лиц;
Только деве чернобровой
Так пристал наряд пунцовый
И склонение ресниц.

Перестань, не пой, довольно!
С каждым звуком яд любви
Льется в душу своевольно
И горит мятежно-больно
В разволнованной крови.

Замолчи: не станет мочи
Мне прогрезить до утра
Про полуденные очи
Под навесом темной ночи
И восточного шатра.

<1844>

* * *

Снова слышу голос твой,
    Слышу и бледнею;
Расставался, как с душой,
    С красотой твоею!

Если б муку эту знал,
    Чуял спозаранку,—
Не любил бы, не ласкал
    Смуглую цыганку.

Не лелеял бы потом
    Этой думы томной

В чистом поле под шатром
    Днем и ночью темной.

Что ж напрасно горячить
    Кровь в усталых жилах?
Не сумела ты любить,
    Я — забыть не в силах.

1840-е годы (?)

СБОРНИК 1850 г.

Снега

* * *

Я русский, я люблю молчанье дали мразной,
Под пологом снегов как смерть однообразной...
Леса под шапками иль в инее седом,
Да речку звонкую под темносиним льдом.
Как любят находить задумчивые взоры
Завеянные рвы, навеянные горы,
Былинки сонные, иль средь нагих полей,—
Где холм причудливый, как некий мавзолей,
Изваян полночью,— круженье вихрей дальных
И блеск торжественный при звуках погребальных.

<1842>

* * *

Знаю я, что ты, малютка,
Лунной ночью не робка:
Я на снеге вижу утром
Легкий оттиск башмачка.

Правда, ночь при свете лунном
Холодна, тиха, ясна;
Правда, ты недаром, друг мой,
Покидаешь ложе сна.

Бриллианты в свете лунном,
Бриллианты в небесах,
Бриллианты на деревьях,
Бриллианты на снегах.

Но боюсь я, друг мой милый,
Чтобы в вихре дух ночной
Не завеял бы тропинку,
Проложённою тобой.

<1842>

* * *

Вот утро севера — сонливое, скупое —
Лениво смотрится в окно волоковое;
В печи трещит огонь — и серый дым ковром
Тихонько стелется над кровлею с коньком.
Петух заботливый, копаясь на дороге,
Кричит... а дедушка брадатый на пороге
Кряхтит и крестится, схватившись за кольцо,
И хлопья белые летят ему в лицо.
И полдень настает. Но, боже! как люблю я,
Как тройкою ямщик кибитку удалую
Промчит — и скроется... И долго, мнится мне,
Звук колокольчика трепещет в тишине.

<1842>

* * *

Ветер злой, ветр крутой в поле
Заливается,
А сугроб на степной воле
Завивается.

При луне — на версте мороз
Огонечками,—
Про живых ветер весть пронес
С позвоночками.

Под дубовым крестом свистит,
Раздувается.
Серый заяц степной хрустит,
Не пугается.

<1847>

* * *

Печальная береза
У моего окна,
И прихотью мороза
Разубрана она.

Как гроздья винограда,
Ветвей концы висят,—
И радостен для взгляда
Весь траурный наряд.

Люблю игру денницы
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

<1842>

* * *

Кот поет, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет на дворе.

«Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки да вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай».

Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и все поет;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.

<1842>

* * *

Чудная картина,
Как ты мне родна:
Белая равнина,
Полная луна,

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

<1842>

* * *

Ночь светла, мороз сияет,
Выходи — снежок хрустит;
Пристяжная озябает
И на месте не стоит.

Сядем — полость застегну я,—
Ночь светла и ровен путь.
Ты умолкнешь — замолчу я,
И пошел куда-нибудь.

И летучею ездою,
Зимней ночью при луне,
Я душе твоей раскрою
Все, что ясно будет мне.

<1847>

* * *

На двойном стекле узоры
Начертил мороз,
Шумный день — свои дозоры
И гостей унес;

Смолкнул яркий говор сплетней
Скучный голос дня:
Благодатней и приветней
Все кругом меня.

Пред горящими дровами
Сядем — там тепло.
Месяц быстрыми лучами
Пронизал стекло.

Ты хитрила, ты скрывала,
Ты была умна;
Ты давно не отдыхала,
Ты утомлена.

Но люблю я утомленье
Это созерцать:
. . . .
. . . .

В торжестве успокоенья
Светлой красоты,
Без улыбки, без движенья,
Мне понятна ты.

<1847>

Гадания

* * *

Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом,
Я при свечах навела,
В два ряда свет — и таинственным трепетом
Чудно горят зеркала.

Страшно припомнить душой оробелою —
Там, за спиной, нет огня —
Тяжкое что-то над шеею белою
Плавает, давит меня!

Ну — как уставят гробами дубовыми
Весь этот ряд между свеч!
Ну, как лохматый с глазами свинцовыми
Выглянет вдруг из-за плеч!

Ленты да радуги, ярче и жарче дня —
Что ж?.. обернись, погляди!..
Суженый! золото, сéребро!.. Чур меня,
Чур меня — сгинь, пропади!

<1842>

* * *

«Слушай одна ты — нам не годится».
Мертвая тишь!..
Только и слышно, чуть шевелится
Резвая мышь.

«Чу! не стучите! Кто-то шагает
Вдоль закромов...
Сыплет да сыплет, пересыпает
Рожь из мешков.

Сыплет орехи, деньги считает,
Шубой шумит,
Всем наделяет, все обещает,
Только сердит».

«Ну, а тебе что?» — «Тише, сестрицы!
Что-то несут:

Так и трясутся все половицы,—
Что-то поют;

Гроб забивают крышей большою,
Кто-то завыл!
Страшно, сестрицы! знать, надо мною
Шут подшутил».

<1842>

* * *

Ночь крещенская морозна,
Будто зеркало — луна.
«Побегу: еще не поздно,
Да боюсь идти одна».

— «Я сестрица, за тобою
Не пойду — одна иди!»
— «Я с тобою,— за избою
Наводи да наводи!»

Ничего: пес рябый ходит,
Вот и серый у ворот...
И красавица наводит —
И никак не наведет.

«Вижу, вижу! потянулись:
Раз, два, три, четыре, пять...
Заструились, покачнулись,
Стало только три опять.

Ну, захочет почудесить?
Со страстей рехнуся я...
Шесть, семь, восемь, девять, десять —
Чешуя как чешуя...

Вот одиннадцать — всё лица!
Вот собаки лай и вой...
Чур меня!..» — «Ну что, сестрица?»
— «Раскрасавец молодой!»

<1842>

* * *

Помню я: старушка-няня
Мне в рождественской ночи
Про судьбу мою гадала
При мерцании свечи,

И на картах выходили
Интересы да почет.
Няня, няня! ты ошиблась,
Обманул тебя расчет;

Но зато уже влюбился
Твой воспитанник невмочь...
Погадай мне, друг мой няня,
Нынче святочная ночь.

Что? не будет ли свиданья,
Разговоров иль письма?
Выйдет пиковая дама
Иль бубновая сама?

Няня добрая гадает,
Грустно голову склоня;
Свечка тихо нагорает,
Сердце бьется у меня.

<1842>

* * *

Перекресток, где ракитка
    И стоит и спит:
Тихо ветхая калитка
    За плетнем скрыпит.

Кто-то кра́дется сторонкой —
    Санки пробегут —
И вопрос раздастся звонкой:
    «Как тебя зовут?»

И ответ, как голос рока,
    Прозвучит врасплох:
Телогрейку им высоко
    Приподымет вздох.

<1842>

* * *

Перлы восточные — зубы у ней,
Шелк шемаханский — коса;
Мягко и ярко, что утро весной,
Светят большие глаза.

Перси при каждом вдыханьи у ней
Так выдаются вперед,
Будто две полные чаши на грудь
Ей опрокинул Эрот.

Если же с чувством скажет: «люблю» —
Чувство и слово лови!
К этому слову — ты слов не найдешь,
Чувства — для этой любви.

<1842>

* * *

Как ум к ней идет, как к ней чувство идет,
Как чувство с умом в ней умеет сродниться,
Умеет родное найти — и на нем
Так ярко и тонко всегда отразиться.

Сквозь ставень окна серебристым лучем
Так в спальню прекрасной луна проникает,
На стол упадет — и нашедши на нем
Алмаз позабытый, с алмазом играет.

<1842>

* * *

Не отходи от меня,
Друг мой, останься со мной!
Не отходи от меня:
Мне так отрадно с тобой...

Ближе друг к другу, чем мы,
Ближе нельзя нам и быть;
Чище, живее, сильней
Мы не умеем любить.

Если же ты — предо мной,
Грустно головку склоня,—
Мне так отрадно с тобой:
Не отходи от меня!

<1842>

* * *

Утром курится поляна,
Вьется волнистый туман,
И на развивы тумана
Весело смотрит Титан.

Шире грудей колыханье,
Локон свивается вновь,—
Слаще младое дыханье
И непорочней любовь...

Утро, как сон новобрачной,
Полно стыда и огня —
Все, что вечор было мрачно,
Ясно в сиянии дня.

<1842>

* * *

Тихая, звездная ночь...
Трепетно светит луна:
Сладки уста красоты
В тихую, звездную ночь.

Дева — радость любви!
Звезды что очи твои;
В небе луна и в воде,
Будто печаль и любовь.

Другой мой! я звезды люблю
И от печали не прочь...
Ты же еще мне милей
В тихую, звездную ночь.

<1842>

* * *

Я полон дум, когда, закрывши вежды,
Внимаю шум
Младого дня и молодой надежды:
Я полон дум.

Я все с тобой, когда рука неволи
Владеет мной —
И целый день, будь ясно ли, темно ли —
Я все с тобой.

Я жду тебя под сладкий шум фонтана,
И потопя
Туда глаза, где крадется Диана,—
Я жду тебя.

<1842>

* * *

Буря на не́бе вечернем,
Моря сердитого шум —
Буря на море и думы,
Много мучительных дум —
Буря на море и думы,
Хор возрастающих дум —
Черная туча за тучей,
Моря сердитого шум.

<1842>

* * *

Давно ль под волшебные звуки
Носились по зале мы с ней?
Теплы были нежные руки,
Теплы были звезды очей.

Вчера пели песнь погребенья,
Без крыши гробница была;
Закрывши глаза, без движенья,
Она под парчою спала.

Я спал... над постелью моею
Стояла луна мертвецом:

Под чудные звуки мы с нею
Носились по зале вдвоем.

<1842>

NOCTURNO *

Ты спишь один, забыт на месте диком,
Старинный монастырь!
Твой свод упал; кругом летают с криком
Сова и нетопырь.

И стекол нет, и свищет вихорь ночи
Во впадину окна,
Да плющ растет, да устремляет очи
Полночная луна.

И кто-то там мелькает в свете лунном,
Блестит его убор —
И слышится на пóмосте чугунном
Шаги и звуки шпор.

И грустную симфонию печали
Звучит во тьме орган...
То тихо все, как будто вечно спали
И стены и орган.

<1842>

* * *

Когда я блестящий твой локон целую
И жарко дышу так на милую грудь —
Зачем говоришь ты про деву иную
И в очи мне прямо не смеешь взглянуть?

Хоть вечер и близок, не бойся! От стужи
Тебя я в широкий свой плащ заверну —
Луна не в тумане, а звезд хоть и много,
Но мы заглядимся с тобой на одну.

Хоть в сердце не веруй... хоть веруй в мгновенье,
И взор мой, и трепет, и лепет пойми —

* Ноктюрн *(ит.)*.

И, жарким лобзаньем спаливши сомненье,
Ревнивая дева, меня обойми!

<1842>

* * *

В руке с тамбурином, в глазах с упоеньем —
Ты гнешься и вьешься, плывешь и летишь:
Так чуткая травка под грезы Эола,
Под сонную арфу качается в тишь.

Так в теле, так в членах, объятых забвеньем,
Одно безусталое сердце стучит,
В тот час, как при звездах недвижных, холодных,
Одна яркой искрою к бездне летит.

<1842>

* * *

Я узна́ю тебя и твой белый вуаль,
Где роняет цветы благовонный миндаль,
За решеткою сада, с лихого коня,
И в ночи при луне, и в сиянии дня;
И гитару твою далеко слышу я
Под журчанье фонтана и песнь соловья...
Днем и ночью гляжу сквозь решетку я вдаль —
Не мелькнет ли в саду белоснежный вуаль?

<1842>

* * *

Мы ехали двое... Под нею
Шел мерно и весело мул;
Мы въехали молча в аллею,
И луч из-за мирты блеснул.

Все гроздья по темной аллее
Зажглися прощальным огнем —
Горят все светлее, алее,
И вот мы в потемках вдвоем.

Не бойтесь, синьора! Я с вами —
И ручку синьоры я взял,
И долго, прильнувши устами,
Я ручку ее целовал.

<1842>

* * *

За красавицу соседку,
За глаза ея —
Виноградную беседку
Не забуду я.

Помню ветреной смуглянки
Резкий, долгий взор —
Помню милой итальянки
Утренний убор...

Жаркой груди половину,
Смоль ее кудрей —
И плетеную корзину
На руке у ней.

И прозрачной тени сетку
На лице ея —
Виноградную беседку
Не забуду я.

<1842>

* * *

Теплым ветром потянуло,
    Смолк далекий гул...
Поле тусклое уснуло,
    Гуртовщик уснул.

В загородке улеглися
    И жуют волы,
Звезды чистые зажглися
    По навесу мглы.

Только хор свой огибает
    Месяц золотой,
Только стадо обегает
    Пес сторожевой.

Да и тот задремлет чутко —
    Не усну лишь я...
Огонек блеснул... малютка
    Верно ждет меня.

<1842>

* * *

Между счастием вечным твоим и моим
Бесконечное, друг мой, пространство.
Не клянись мне, я верю: я точно любим,
И похвально твое постоянство;

Я и сам и люблю и ласкаю тебя.
Эти локоны чудно-упруги!
Сколько веры в глазах!.. Я скажу не шутя:
Мне не выбрать милее подруги.

Но к чему тут обман? Говорим, что хотим;
И к чему осторожное чванство?
Между счастием вечным твоим и моим
Бесконечное, друг мой, пространство.

<1847>

* * *

Если зимнее небо звезда́ми горит
И мечтательно светит луна,
Предо мною твой образ, твой дивный скользит,
Предо мною ты вся создана.

И светла и легка, ты несешься туда...
Я гляжу и молю хоть следов.
И светла и легка — но зато ни следа;
Только грудь обуяет любовь,

И летел бы, летел за красою твоей,
И пускай в небе звезды горят,
И быстрей и светлей мириады лучей
На пылинки ночные глядят.

<1843>

* * *

Полуно́чные образы реют,
Блещут искрами ярко впотьмах;
Но глаза различить не умеют,
Много ль их на тревожных крылах.

Полуночные образы стонут,
Как больной в утомительном сне,

И всплывают, и стонут, и тонут;
Но о чем это стонут оне?

Полуночные образы воют,
Как духов испугавшийся пес.
Я боялся, они мне откроют,
Что я сам их призыв произнес.

<1843>

* * *

Я долго стоял неподвижно,
В далекие звезды вглядясь,—
Меж теми звездами и мною
Какая-то связь родилась.

Я думал... не помню, что думал;
Я слушал таинственный хор,
И звезды тихонько дрожали,
И звезды люблю я с тех пор...

<1843>

* * *

Шумела полночная вьюга
В лесной и глухой стороне;
Мы сели с ней друг подле друга —
Валежник свистал на огне.

И наших двух теней громады
Лежали на красном полу,
А в сердце ни искры отрады,
И нечем прогнать эту тьму!

Березы скрипят за стеною,
Сук ели трещит смоляной...
О, друг мой! скажи, что́ с тобою?
Я знаю давно, что́ со мной.

<1842>

* * *

Улыбка томительной скуки
Средь общей веселия жажды...
Вы, полные, сладкие звуки,—
Знать, сердцу не слушать их дважды...

Зачем же за тающей скрипкой
Так сердце в груди встрепенулось,
Как будто знакомой улыбкой
Минувшее вдруг улыбнулось?

Так томно и грустно-небрежно
В свой мир расцвечённый уносит,
И ластится к сердцу так нежно,
И так умилительно просит?

Под сладостный голос родного,
В заветной святыне раздумья,
Так много трепещет былого,
И молит у сердца безумья;

Но едкие слезы разлуки
Душевной не уняли жажды:
Вы, полные, сладкие звуки,—
Знать, сердцу не слушать их дважды!..

<1844>

СЕРЕНАДА

Тихо вечер догорает,
Горы золотя;
Знойный воздух холодает —
Спи, мое дитя.

Соловьи давно запели,
Сумрак возвестя;
Струны робко зазвенели —
Спи, мое дитя.

Блещут ангельские очи,
Трепетно светя;
Так легко дыханье ночи —
Спи, мое дитя.

Так легко и так привольно,
Страсти укротя,
В сердце вымолвить невольно:
Спи, мое дитя.

<1844>

* * *

Тихо ночью на степи;
Небо ей сказало: спи!
И курганы спят;
Звезды ж крупные в лучах
Говорят на небесах:
Вечный — свят, свят, свят!

В небе чутко и светло.
Неподвижное крыло
За плечом молчит, —
Нет движенья; лишь порой
Бриллиантовой слезой
Ангел пролетит.

<1847>

* * *

За кормою струйки вьются,
Мы несемся в челноке,
И далеко раздаются
Звуки «Нормы» по реке.

Млечный Путь глядится в воду —
Светлый праздник светлых лет!
Я веслом прибавил ходу —
И луна бежит вослед.

Поневоле песни вьются!
Ты с гитарою в руке,
И далеко раздаются
Звуки «Нормы» по реке.

<1844>

ИЗ БАЙРОНА

О солнце глаз бессонных! звездный луч,
Как слезно ты дрожишь меж дальних туч!
Сопутник мглы, блестящий страж ночной,
Как по былом тоска сходна с тобой!

Так светит нам блаженство давних лет,
Горит, а все не греет этот свет;
И гостья дум воздушная видна,
Но далеко,— ясна, но холодна.

<1844>

ИЗ МУРА

Прощай, Тереза! Печальные тучи,
Что томным покровом луну облекли,
Еще помешают улыбке летучей,
Когда твой любовник уж будет вдали.

Как эти тучи, я долгою тенью
Мрачил твое сердце и жил без забот.
Сошлись мы — ка́к верила ты наслажденью,
Ка́к верила счастью,— о боже!.. И вот,

Теперь — свободна ты, диво созданья:
Скорее тяжелый свой сон разгоняй;
Смотри, и луны уж прошло обаянье,
И тучи минуют,— Тереза, прощай!

<1847>

* * *

Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц... тусклы наши свечи;
Твой душистый, твой послушный локон,
Развиваясь, падает на плечи.

Что ж молчим мы? Или самовластно
Царство тихой, светлой ночи майской?
Иль поет и ярко так и страстно
Соловей над розою китайской?

Знать, цветы, которых нет заветней,
Распустились в неге своевольной?
Знать, и кактус побелел столетний,
И банан, и лотос богомольный?

Иль проснулись птички за кустами,
Там, где ветер колыхал их гнезды?
И, дрожа ревнивыми лучами,
Ближе, ближе к нам нисходят звезды?

На суку извилистом и чудном,
Пестрых сказок пышная жилица,
Вся в огне, в сияньи измрудном,
Над водой качается жар-птица;

Расписные раковины блещут
В переливах чудной позолоты,
До луны жемчуной пеной мещут
И алмазной пылью водометы.

Листья полны светлых насекомых,
Все растет и рвется вон из меры;
Много снов проносится знакомых,
И на сердце много сладкой веры.

Переходят радужные краски,
Раздражая око светом ложным;
Миг еще... и нет волшебной сказки,
И душа опять полна возможным.

Мы одни; из сада в стекла окон
Светит месяц... тусклы наши свечи;
Твой душистый, твой послушный локон,
Развиваясь, падает на плечи.

<1847>

* * *

Недвижные очи, безумные очи,
Зачем вы средь дня и в часы полуночи
Так жадно вперяетесь вдаль?
Ужели вы в том потонули минувшем,
Давно и мгновенно пред вами мелькнувшем,
Которого сердцу так жаль?

Не вам возродить, чего нет и что было,
Что сердце, как святость, в себе схоронило
На самое темное дно;
Не вам допросить у случайности жадной,
Куда она скрыла рукой беспощадной,
Что было так щедро дано.

<1846>

* * *

Весеннее небо глядится
Сквозь ветви мне в очи случайно,
И тень золотая ложится
На воды блестящего Майна.

Вдали огонек одинокой
Трепещет под сумраком липок;
Исполнена тайны жестокой
Душа замирающих скрипок.

Средь шума толпы неизвестной
Те звуки понятней мне вдвое:
Напомнили силой чудесной
Они мне всё сердцу родное.

Ожившая память несется
К прошедшей тоске и веселью;
То сердце замрет, то проснется
За каждой безумною трелью.

Но быстро волшебной чредою
Промчалась тоскливая тайна,
И месяц бежит полосою
Вдоль вод тихоструйного Майна.

Август 1844

* * *

Как мошки зарею,
Крылатые звуки толпятся;
С любимой мечтою
Не хочется сердцу расстаться.

Но цвет вдохновенья
Печален средь буднишних терний;
Былое стремленье
Далеко, как выстрел вечерний.

Но память былого
Все крадется в сердце тревожно.
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!

11 августа 1844

* * *

Спи — еще зарею
Холодно и рано;
Звезды за горою
Блещут средь тумана;

Петухи недавно
В третий раз пропели,
С колокольни плавно
Звуки пролетели.

Дышат лип верхушки
Негою отрадной,
А углы подушки
Влагою прохладной.

Скоро вспыхнут тучки,
Горы и потоки,
А у бледной ручки
Молодые щеки.

<1847>

VEILLE SUR CE QUE J'AIME *

Бди над тем, что сердцу мило,
Неизменное светило —
    Звездочка моя.
Светлых снов и благодати
Ей, как спящему дитяти,
    Умоляю я!

Свод небесный необъятен...
Чтоб на нем ей был понятен
    Ход усталых туч,
Твой восход, твое стремленье
И молитвенное бденье,
    И дрожащий луч.

<1847>

---

* Бодрствуй над тем, что я люблю *(фр.)*.

* * *

Как отрок зарею
Лукавые сны вспоминает,
Я звука душою
Ищу, что в душе обитает.

Хоть в сердце нет веры
В живое преданий наследство,
Люблю я химеры,
Где рдеет румяное детство.

Быть может, что сонный
Со сном золотым встрепенется,
Иль стих благовонный
Из уст разомкнутых польется.

<1847>

* * *

Свеж и душист твой роскошный венок,
Всех в нем цветов благовония слышны;
Кудри твои так обильны и пышны,
Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист твой роскошный венок,
Ясного ока губительна сила;
Нет, я не верю, чтоб ты не любила:
Свеж и душист твой роскошный венок.

Свеж и душист твой роскошный венок!
Счастию сердце легко предается:
Мне близ тебя хорошо и поется.
Свеж и душист твой роскошный венок!

<1847>

* * *

Младенческой ласки доступен мне лепет:
Душа откровенно так с жизнью мирится.
Безумного счастья томительный трепет
Горячим приливом по сердцу стремится.

Скажу той звезде, что так ярко сияет:
Давно не видались мы в мире широком,

Но я понимаю, на что намекает
Мне с неба она многозначащим оком.

— Ты смотришь мне в очи. Ты пра́ва: мой трепет
Понятен, как луч твой, что в воды глядится.
Младенческой ласки доступен мне лепет:
Душа откровенно так с жизнью мирится.

<1847>

Вечера и ночи

* * *

Право, от полной души я благодарен соседу.
Славная вещь — под окном в клетке держать соловья...
Грустно в неволе певцу, но чары сильны у природы!
Только прощальным огнем озлатятся кресты на церквах
И в расцветающий сад за высоким, ревнивым забором
Вечера свежесть вдыхать выйдет соседка одна, —
Веспера тайны в певце пробудят желание воли,
И под окном соловей громко засвищет любовь.
Что за чело у нее! за атласные плечи и руки!
Что за янтарный отлив на роскошных извивах волос!
Стан — загляденье! притом какая вертлявая ножка!
Впрочем, зачем мне роптать на высокий забор? В эту щель
Может быть, лучше она мне кажется. Труд наслажденья
Цену ему самому удвояет... Но вечер настал...
Что ж не поет соловей, иль что ж не выходит соседка?
Может, сегодня мы все трое друг друга поймем.

<1842>

* * *

Вдали огонек за рекою,
Вся в блестках струится река,
На лодке весло удалое,
На цепи не видно замка.

Никто мне не скажет: «Куда ты
Поехал, куда загадал?»
Шевелись же, весло, шевелися —
А берег во мраке пропал!

Да что же? Зачем бы не ехать?
Дождешься ль вечерней порой
Опять и желанья, и лодки,
И весла, и огня за рекой?..

<1842>

* * *

Я люблю многое, близкое сердцу,
Только редко люблю я...

Чаще всего мне приятно скользить по заливу
Так — забываясь
Под звучную меру весла,
Омочённого пеной шипучей...
Да смотреть, много ль отъехал
И много ль осталось,
Да не видать ли зарницы...

Изо всех островков,
На которых редко мерцают
Огни рыбаков запоздалых,
Мил мне один предпочтительно...
Красноглазый кролик
Любит его;
Гордый лебедь каждой весною
С протянутой шеей летает вокруг
И садится у брега
На тихие воды.

Над обрывом утеса
Растет, помавая ветвями,
Широколиственный дуб.
Сколько уж лет тут живет соловей!
Он поет по зарям,
Да и позднею ночью, когда
Месяц обманчивым светом
Серебрит и волны и листья...
Он не молкнет, поет
Все громче и громче.

Странные мысли
Приходят тогда мне на ум:
Что это — жизнь или сон?
Счастлив я или только обманут?

Нет ответа...
Мелкие волны что-то шепчут с кормою,
Весло недвижимо,
И на́ небе ясном высоко сверкает зарница.

<1842>

* * *

Скучно мне вечно болтать о том, что высоко, прекрасно;
Все эти толки меня только к зевоте ведут...
Бросив педантов, бегу с тобой побеседовать, друг мой;
Знаю, что в этих глазах, черных и умных глазах,
Больше прекрасного, чем в нескольких стах фолиантах,
Знаю, что сладкую жизнь пью с этих розовых губ.
Только пчела узнает в цветке затаенную сладость,
Только художник на всем чует прекрасного след.

<1842>

* * *

Долго еще прогорит Веспера скромная лампа;
Но уже светит с небес девы изменчивый лик,
Тонкие змейки сребра блещут на влаге уснувшей,
Звездное небо во мгле дальнего облака ждет.
Вот потянулось оно, легкому ветру послушно,
Скрыло богиню, и мрак сладостный землю покрыл.

<1842>

* * *

Я жду... Соловьиное эхо
Несется с блестящей реки,
Трава при луне в бриллиантах,
На тмине горят светляки.

Я жду... Темносинее небо
И в мелких и в крупных звездах,

Я слышу биение сердца
И трепет в руках и в ногах.

Я жду... Вот повеяло с юга;
Тепло мне стоять и идти;
Звезда покатилась на запад...
Прости, золотая, прости!

<1842>

* * *

Здравствуй! тысячу раз мой привет тебе, ночь!
Опять и опять я люблю тебя,
Тихая, теплая,
Серебром окаймленная!
Робко, свечу потушив, подхожу я к окну...
Меня не видать, зато сам я все вижу...
Дождусь, непременно дождусь:
Калитка вздрогнёт, растворяясь,
Цветы, закачавшись, сильнее запахнут, и долго,
Долго при месяце будет мелькать покрывало.

<1842>

* * *

Друг мой, бессильны слова,— одни поцелуи всесильны...
Правда, в записках твоих весело мне наблюдать,
Как прилив и отлив мыслей и чувства мешают
Ручке твоей поверять то и другое листку;
Правда, и сам я пишу стихи, покоряясь богине;
Много и рифм у меня, много размеров живых...
Но меж ними люблю я рифмы взаимных лобзаний,
С нежной цезурою уст, с вольным размером любви.

<1842>

* * *

Ночью как-то вольнее дышать мне,
Как-то просторней...
Даже в столице не тесно!
Окна растворишь:
Тихо и чутко
Плывет прохладительный воздух.
А небо? А месяц?

О, этот месяц-волшебник!
Как будто бы кровли
Покрыты зеркальным стеклом,
Шпили́ и кресты — бриллианты;
А там, за луной, горизонт
Чем дальше — светлей и прозрачней.
Смотришь — и дышишь,
И слышишь дыханье свое,
И бой отдаленных часов,
Да крик часового,
Да изредка стук колеса
Или пение вестника утра.
Что бы проплыть тому облаку мимо!
На что ему месяц?..
Знать, уж так до́лжно, знать, предназначено было.

<1842>

* * *

Рад я дождю... От него тучнеет мягкое поле,
Лист зеленеет на ветке и воздух становится чище...
Зелени запах одну за одной из ульёв многошумных
Пчел вызывает.
Но что для меня еще лучше,
Это — когда он ее на дороге ко мне орошает!
Мокрые волосы, гладко к челу прилегая,
Так и сияют у ней,— а губки и бледные ручки
Так холодны, что нельзя не согреть их подолгу устами.
Но нестерпим ты мне ночью бессонною, Плювий Юпитер!
Лучше согласен я крыс и мышей в моей комнате слушать,
Лучше колеса пускай гремят непрестанно у окон,
Чем этот шум и удары глупых, бессмысленных капель;
Точно как будто бы птиц проклятое стадо
Сотнями ног и носов терзают железную кровлю.
Юпитер Плювий, помилуй! Расти сколько хочешь цветов ты
Для прекрасной и лавров юных на кудри поэта,
Только помилуй! не бей по ночам мне в железную кровлю.

<1842>

* * *

Слышишь ли ты, как шумит вверху угольное стадо?
С криком летят через дом к теплым полям журавли,
Желтые листья шумят, в березнике свищет синица.
Ты говоришь, что опять теплой дождемся весны...
Друг мой! могу ль при тебе дожидаться блаженства в грядущем?
Разве зимой у тебя меньше ланиты цветут?..
В зеркале часто себя ты видишь, с детской улыбкой
Свой поправляя венок; так разреши мне сама,
Где у тебя на лице более жизни и страсти:
Вешним ли утром в саду, в полном сияньи зари,
Иль у огня моего, когда я боюсь, чтобы искра,
С треском прыгнув, не сожгла ножки-малютки твоей?

<1842>

* * *

Каждое чувство бывает понятней мне ночью, и каждый
Образ пугливо-немой дальше трепещет во мгле...
Самые звуки доступней, даже когда, неподвижен,
Книгу держу я в руках, сам пробегая в уме
Все невозможно-возможное, странно-бывалое... Лампа
Томно у ложа горит, месяц смеется в окно,
А в отдалении колокол вдруг запоет — и тихонько
В комнату звуки плывут; я предаюсь им вполне.
Сердце в них находило всегда какую-то влагу,
Точно как будто росой ночи омыты они...
Звук все тот же поет, но с каждым порывом иначе:
То в нем меди тугой более, то серебра.
Странно, что ухо в ту пору, как будто не слушая, слышит...
В мыслях иное совсем, думы — волна за волной...
А между тем еще глубже сокрытая сила объемлет
Лампу, и звуки, и ночь, их сочетавши в одно:
Так, посвящая все больше и больше пытливую душу,
Ночь научает ее мир созерцать и себя.

<1843>

* * *

Любо мне в комнате ночью стоять у окошка в потемках,

Если луна с высоты прямо глядит на меня
И, проникая стекло, нарисует квадраты лучами
По полу, комнату всю дымом прозрачным поя,
А за окошком в саду, между листьев сирени и липы,
Черные группы деля, зыбким проходит лучом
Все промежутки — и вниз ее золоченые стрелы
Ярким стремятся дождем, иль одинокий листок
Лунному свету мешает рассыпаться пó земи; сам же,
Светом осыпанный весь, черен, дрожит на тени.
Я восклицаю: блажен, трижды блажен, о Диана,
Кто всемогущей судьбой в тайны твои посвящен!

<1847>

* * *

Летний вечер тих и ясен;
Посмотри, как дремлют ивы;
Запад неба бледно-красен
И реки блестят извивы.

От вершин скользя к вершинам,
Ветр ползет лесною высью.
Слышишь ржанье по долинам:
То табун несется рысью.

Да оставь окно в покое,
Подожди еще немножко —
Я не знаю, что такое,
Полетел бы из окошка.

<1847>

* * *

Что за вечер! А ручей
Так и рвется;
Как зарей-то соловей
Раздается!

Месяц светом с высоты
Обдал нивы,
А в овраге блеск воды,
Тень да ивы.

Знать, давно в плотине течь:
Доски гнилы;

А нельзя здесь не прилечь
На перилы.

Так-то все весной живет!
В роще, в поле
Все трепещет и поет
Поневоле.

Мы замолкнем, что в кустах
Хоры эти —
Придут с песнью на устах
Наши дети;

А не дети, так пройдут
С песнью внуки:
К ним с весною низойдут
Те же звуки.

<1847>

Талисман

1

Октавами и повесть, признаюсь!
И, полноте, ну что я за писатель?
У нас беда! и, право, я боюсь,
Так, ни за что, услышишь: подражатель!
А по размеру, я на вас сошлюсь,
И вы нередко судите, читатель.
Но что же делать? Видно, так и быть:
Бояться волка — в лес нельзя ходить.

2

Вы знаете, деревню я люблю
И зимний быт; плохой я горожанин.
Я этой жизни душной не терплю,
И повестью напомню образ Танин,
Сугробами деревню завалю,
Как некогда январский «Москвитянин»...
Но,— виноват, я знаю, вам милей
Тверской бульвар неведомых полей!

3

Вас не займет отлогий косогор,
И ветхий храм с безмолвной колокольней,
И синий лес по скату белых гор;
Не станете вы внутренно довольней
Рассматривать старинный барский двор
И в тех местах молиться богомольней.
Но, верно, есть в них скрытая печаль:
Иначе что ж,— зачем же мне их жаль?

4

Там у меня ни близких, ни родни,
Но, знать, душе напомнили те горы
Места иные, где в былые дни
Звучали в замках рыцарские шпоры,
Блистали в окнах яркие огни
И дамские роскошные уборы.
И где теперь — давно ли был я там? —
Ни зал, ни шпор, ни благородных дам.

5

Да, все пройдет своею чередой!
Давно ли он, романтиков образчик,
Про степь и глушь беседовал со мной?
Он был и славный малый и рассказчик;
Но вот вся жизнь его покрыта мглой,
Он сам давно улегся в долгий ящик.
Но помню я в его рассказах ночь:
Я вам рассказ тот передам точь-в-точь.

6

— Шестнадцать лет, я помню, было мне.
Близ той деревни жил и я когда-то.
Не думайте, что я герой вполне,
Что жизнь моя страданьями богата.
Пришла пора — и вздумалось родне
Почти ребенка превратить в солдата.
Казалось, вдаль стремился я душой,
Но я любил, то был обман пустой.

7

Кто юных лет волнения не знал?
И первой страсти, пылкой, но послушной,
Во дни надежд о счастьи не мечтал
С веселием улыбки простодушной?
И кто к ногам судьбы не повергал
Кровавых жертв любви великодушной?
И все пройдет: нельзя же век любить;
Но есть и то, чего нельзя забыть.

8

Пора, пора из теплого гнезда
На зов судьбы далекий подниматься!
Смеркался день, вечерняя звезда
Вдали зажглась; я начал одеваться.
До их села недальняя езда;
Перед отъездом должно распрощаться.
Готова тройка, порский снег взвился,
И колокольчик жалко залился.

9

«Пошел, пошел! всего верст двадцать пять;
Да льдом поедем: там езда ровнее.
Смотри, чтоб нам в село не опоздать,
Хотя домой приедем и позднее.
Ты коренной-то не давай скакать».
Я нашей тройки не видал дружнее
(И вам, я чай, случалось ездить льдом);
Да вот и церковь, вот господский дом!

10

Не стану я описывать фасад
Старинного их дома. Из гостиной
В стекло балкона виден голый сад
С беседкою и сонною куртиной.
Признаться вам, ребяческий мой взгляд
Тогда иною занят был картиной,
И маменьке, хозяйке дома, чуть
Я не забыл промолвить что-нибудь.

11

Зато она рассыпала слова...
(За хлеб и соль ее хвалили миром.)
Радушная соседка и вдова,
Как водится, была за бригадиром;
Ее сынок любимый (голова!)
Жил в отпуску усатым кирасиром.
Где он теперь, не знаю, право, я;
Но что за дочки! — Чудная семья!

12

Их было две — нам должно их назвать.
Пожалуй, мы хоть старшую Варварой,
Меньшую Александрой станем звать.
Они прекрасны были. Чудной парой,
Для всех заметно, любовалась мать;
Хоть иногда своей красою старой
Блистать хотела, что греха таить!
Но женщине как это не простить?

13

Мы младшую оставим: что нам в ней?
Она блондинка стройная, положим,
Но этот взгляд и смысл ее речей —
Все говорит, что и лицом пригожим
И талией горда она своей,
Что весело ей нравиться прихожим.
Зато Варвара — томная луна,
Как ты была прекрасна и скромна!

14

Ее не раз и прежде я видал,
Когда случался близко у соседства
Какой-нибудь необычайный бал
По случаю крестин или наследства;
Но в этот миг в душе припоминал
Я образ, мне знакомый с малолетства,—
И не ошибся: в городе одном
Мы с ними жили, рядом был их дом.

15

Что ж можно лучше выдумать? — И мать
Припомнила ту счáстливую пору
И прочее. Я должен был внимать
Хозяйки доброй искреннему вздору.
Сынок меня придумал занимать:
Велел привесть любимую мне свору,—
И я хвалил за стать его борзых,
А мне, признаться, было не до них.

16

Я и забыл: день святочный был то.
Зажгли огни; мы с Варенькой сидели;
Большое блюдо было налито,
Дворовые над блюдом песни пели,
И сердце ими было занято,
С гаданьями предчувствия кипели.
Я посмотрел на милое лицо...
И за меня она дала кольцо.

17

С каким отрадным страхом я внимал
Тех вещих песен роковому звуку!
Но вот мое кольцо — я услыхал
В моем припеве близкую разлуку:
Как будто я давно о том не знал!
Но Варенька мне тихо сжала руку,
И капли слез едва сдержать я мог;
Но улетел неосторожный вздох.

18

Другой сосед приехал — он жених.
Но стол готов в диванной с самоваром,
И Варенька исчезла. В этот миг
Сосед-жених мне был небесным даром:
Им занялись. Я ускользнул от них.
«Вы не в столовой?» — Обдало как варом
Меня от этих слов... Но этот взор!..
О, я вполне ей верил с этих пор!

19

Мы говорили бог знает о чем:
Скучают ли они в своем именьи?
О сельском лете, о весне; потом
О Шиллере, о музыке и пеньи.
«Я вам спою... Скажите, вам знаком
Романс такой-то?» — В сладком упоеньи
Едва-едва касался я земли...
Но чай простыл, и самовар снесли.

20

В столовую я вышел... Боже мой,
Какое счастье: заняты гаданьем!
И я прошел нарочно пред толпой
И тихо скрылся. Чудным обаяньем
Меня влекло за двери. За стеной
Дрожали струны сладостным бряцаньем...
Нет, я не в силах... больше не могу —
На тайный зов я к милой побегу.

21

Серебряная ночь гляделась в дом...
Она без свеч сидела за роялью.
Луна была так хороша лицом
И осыпала пол граненой сталью;
А звуки песни разлились кругом
Какою-то мучительной печалью:
Все вместе было чувства торжество,
Но то была не жизнь, а волшебство.

22

И, сам не свой, я, наклоняясь, чуть
Не покрывал кудрей ее лобзаньем,
И жаждою моя горела грудь;
Хотелось мне порывистым дыханьем
Всю душу звуков сладостных вдохнуть —
И выдохнуть с последним издыханьем!
Дрожали звуки на ее устах,
Дрожали слезы на ее глазах.

23

«Вы знаете,— сказала мне она,—
Что я владею чудным талисманом?
Хотите ли, я буду вам видна
Всегда, везде, с луною, за туманом?»
Несбыточным была душа полна,
Я счастлив был ребяческим обманом.
Что б ни было — я верил всей душой,—
И для меня слилась она с луной.

24

Я был вдали, ее я позабыл:
Иные страсти овладели мною;
Я даже снова искренно любил,—
Но каждый раз, когда ночной порою
Засветится воздушный хор светил —
Я увлечен волшебницей луною.
. . . .
. . . .

<1842>

Баллады

ЗМЕЙ

Чуть вечернею росою
Осыпается трава,
Чешет косу, моет шею
Чернобровая вдова.

И не сводит у окошка
С неба темного очей,
И летит, свиваясь в кольца,
В ярких искрах длинный змей.

И шумит все ближе, ближе,
И над вдовьиным двором,
Над соломенною крышей
Рассыпается огнем.

И окно тотчас затворит
Чернобровая вдова;
Только слышатся в светлице
Поцелуи да слова.

<1847>

СИЛЬФЫ

Ночную фиалку лобзает зефир,
И сладостно цвет задышал,
Я слышу бряцание маленьких лир,
Луну я в росинке узнал.

И светлая капля дрожит теплотой
И мещет сиянье вокруг;
И сильфы собрались веселой толпой
С улыбкой взглянуть на подруг.

И крошка сильфида взяла светляка
На пальчик. Он вьется как змей.
Как ярко лицо и малютка-рука
Сияньем покрылись у ней!

Но чу! кто-то робко ударил в тимпан!
Лучей вам нельзя превозмочь!
И весь упоенный раскрылся тюльпан
В последнюю сладкую ночь.

Но вот уж навстречу грядущему дню
Готовы цветов алтари,
И сильфы с улыбкой встречают родню
И светлого друга зари.

<1847>

ВАМПИР

Почти ребенком я была,
Все любовались мной;
Мне шли и кудри по плечам,
И фартучек цветной.

Любила мать смотреть, как я
Молилась поутру,
Любила слушать, если я
Певала ввечеру.

Чужой однажды посетил
Наш тихий уголок:
Он был так нежен и умен,
Так строен и высок.

Он часто в очи мне глядел
И тихо руку жал
И тайно глаз мой голубой
И кудри целовал.

И, помню, стало мне вокруг
При нем все так светло,
И стало мутно в голове
И на сердце тепло.

Летели дни... промчался год...
Настал последний час —
Ему шепнула что-то мать,
И он оставил нас.

И долго-долго мне пришлось
И плакать, и грустить,
Но я боялася о нем
Кого-нибудь спросить.

Однажды вижу: милый гость,
Припав к устам моим,
Мне говорит: «Не бойся, друг,
Я для других незрим».

И с этих пор — он снова мой,
В объятиях моих,
И страстно, крепко он меня
Целует при других.

Все говорят, что яркий цвет
Ланит моих — больной...
Им не узнать, как жарко их
Целует милый мой!

<1842>

МЕТЕЛЬ

Ночью буря разозлилась,
Крыша снегом опушилась,
И собаки — по щелям.
Липнет глаз от резкой пыли,
И огни уж потушили
Вдоль села по всем дворам.

Лишь в избушке за дорогой
Одинокий и убогой
Огонек в окне горит.
В той избушке только двое.
Кто их знает — что такое
Брат с сестрою говорит:

«Помнишь то, что, умирая,
Говорили нам родная
И родимый? — отвечай!
Вот теперь — что день, то гонка,
И крикливого ребенка,
По́век девкою, качай!

И когда же вражья сила
Вас свела? — Ведь нужно ж было
Завертеться мне в извоз!..
Иль ответить не умеешь?
Что молчишь и что бледнеешь?
Право, девка, не до слез!»

— «Братец милый, ради бога,
Не гляди в глаза мне строго:
Я в ночи тебя боюсь».
— «Хоть ты бойся, хоть не бойся,
А сойдусь — не беспокойся,
С ним по-свойски разочтусь!»

Ветер пуще разыгрался;
Кто-то в избу постучался.
«Кто там?» — брат в окно спросил.
— «Я прохожий — и от снега
До утра ищу ночлега»,—
Чей-то голос говорил.

— «Что ж ты руки-то поджала?
Люльку вдоволь, чай, качала.
Хоть грусти, хоть не грусти;
Нет меня — так нет и лени!
Побеги проворней в сени
Да прохожего впусти».

Чрез порог ступил прохожий;
Помолясь на образ божий,
Поклонился брату он;
А сестре как поклонился
Да взглянул,— остановился,
Точно громом поражен.

Все молчат. Сестра бледнеет,
Никуда взглянуть не смеет;
Исподлобья брат глядит;
Все молчит,— лучина с треском
Лишь горит багровым блеском,
Да по кровле ветр шумит.

<1847>

ДОЗОР

Из беседки садовой воевода багровый
В замок вбег,— еле дух переводит;
Дернул занавес,— что же? глядь на женино ложе —
Задрожал,— никого не находит.

Он поник головою, и дрожащей рукою
Сивый ус покрутил он угрюмо;
Взором ложе окинул, рукава в тыл закинул,
И позвал казака он Наума.

«Гей, ты, хамово племя! Отчего в это время
У ворот нет ни пса, нет ни дворни?
Снимешь сумку барсучью да винтовку гайдучью
Да подай карабин мой проворней».

Взяли ружья, помчались, до ограды подкрались,
Где беседка стоит садова́я.
На скамейке из дерна что-то бело и черно:
То сидела жена молодая.

Белой ручки перстами, скрывши очи кудрями,
Грудь сорочкой она прикрывала,
А другою рукою от колен пред собою
Плечи юноши прочь отклоняла.

Тот, к ногам преклоненный, говорит ей, смущенный:
«Так конец и любви, и надежде!
Так за эти объятья, за твои рукожатья
Заплатил воевода уж прежде!

Сколько лет я вздыхаю, той же страстью сгораю,—
И удел мой страдать бесконечно!
Не любил, не страдал он, лишь казной побрякал он,—
И ты все ему предала вечно.

Он — что ночь — властелином, на пуху лебедином
Старый лоб к этим персям склоняет
И с ланит воспаленных и с кудрей благовонных
Мне запретную сладость впивает.

Я ж, коня оседлавши, чуть луну обождавши,
Тороплюся по хладу ненастья,
Чтоб встречаться стенаньем и прощаться желаньем
Доброй ночи и долгого счастья».

Не пленивши ей слуха, он уж шепчет на ухо,
Знать, иные мольбы и заклятья,
Что она без движенья и полна упоенья
Пала к милому тихо в объятья.

С казаком воевода взводят разом два взвода
И патроны из сумки достали,
И скусили зубами, и в стволы шомполами
Порох с пулями плотно дослали.

«Пан,— казак замечает,— бес какой-то мешает:
Не бывать в этом выстреле толку.
Я, курок нажимавши, сыпал мимо, дрожавши,
И слеза покатилась на полку».

«Тише! выдумал вякать. Научу тебя плакать,
Только слово промолвить осмелься!
Всыпь на полку, да живо сдерни ногтем огниво
И той женщине в лоб ты прицелься.

Выше, вправо, до разу, моего жди приказу!
Молодца-то сперва на свободе».
Но казак не дождался, громко выстрел раздался
И прямехонько в лоб — воеводе.

<1846>

ГЕРО И ЛЕАНДР

Бледен лик твой, бледен, дева!
Средь упругих волн напева
Я люблю твой бледный лик.
Под окном на всем просторе
Только море — только в море
Волн кочующих родник.

Тихо. Море голубое
Взору жадному в покое
Каждый луч передает.
Что ж там в море — чья победа?
Иль в зыбях, вторая Леда,
Лебедь-бог к тебе плывет?

Не бессмертный, не бессонный,
Нет, то юноша влюбленный
Проложил отважный путь,
И, полна огнем желаний,
Волны взмахом крепкой длани
Молодая режет грудь.

Меркнет день; из крайней тучи
Вдоль пучины ветр летучий
Направляет шаткий бег,
И под молнией багровой
Страшный вал белоголовый
С ревом прыгает на брег.

Где ж он, Геро? С бездной споря
Удушающего моря,
Он свиданьем дорожит!
Хоть бесстрастен, хоть безгласен,
Но по-прежнему прекрасен,
Он у ног твоих лежит.

Бледен лик твой, бледен, дева!
Средь упругих волн напева
Я люблю твой бледный лик.
Под окном на всем просторе
Только море — только в море
Волн кочующий родник.

<1847>

ВОРОТ

«Спать пора! Свеча сгорела,
Да и ты, моя краса,—
Голова отяжелела,
Кудри лезут на глаза.

Стань вот тут перед иконы,
Я постельку стану стлать.
Не спеши же класть поклоны,
«Богородицу» читать!

Видишь, глазки-то бедняжки
Так и просятся уснуть.
Только ворот у рубашки
Надо прежде расстегнуть».

— «Отчего же, няня, надо?»
— «Надо, друг мой, чтоб тобой,
Не сводя святого взгляда,
Любовался ангел твой.

Твой хранитель, ангел божий,
Прилетает по ночам,
Как и ты, дитя, пригожий,
Только крылья по плечам.

Коль твою он видит душку,
Ворот вскрыт — и тих твой сон:
Тихо справа на подушку,
Улыбаясь, сядет он;

А закрыта душка, спрячет
Душку ворот — мутны сны:
Ангел взглянет и заплачет,
Сядет с левой стороны.

Над тобой господня сила!
Дай я ворот распущу.
Уж подушку я крестила —
И тебя перекрещу».

<*1847*>

ЛЕГЕНДА

Вдоль по берегу полями
  Едет сын княжой;
Сорок отроков верхами
  Следуют толпой.

Странен лик его суровый,
  Все кругом молчит,
И подкова лишь с подковой
  Часто говорит.

«Разгуляйся в поле»,— сыну
  Говорил старик.
Знать, сыновнюю кручину
  Старый взор проник.

С золотыми стременами
  Княжий аргамак;
Шемаханскими шелками
  Вышит весь чепрак.

Но, печален в поле чистом,
  Князь себе не рад
И не кличет громким свистом
  Кречетов назад.
Он давно душою жаркой
  В перегаре сил
Всю неволю жизни яркой
  Втайне отлюбил.

Полюбить успев вериги
  Молодой тоски,
Переписывает книги,
  Пишет кондаки.

И не раз, в минуты битвы
    С жизнью молодой,
В увлечении молитвы
    Находил покой.

Едет он в раздумье шагом
    На лихом коне;
Вдруг пещеру за оврагом
    Видит в стороне:
Там душевной жажде пищу
    Старец находил,
И к пустынному жилищу
    Князь поворотил.

Годы страсти, годы спора
    Пронеслися вдруг,
И пустынного простора
    Он почуял дух.
Слез с коня, оборотился
    К отрокам спиной,
Снял кафтан, перекрестился
    И махнул рукой.

<1843>

Сонеты

* * *

О, для тебя я сделаюсь поэтом!
Готов писать и прозой и стихами,
Распоряжаться мыслью и словами
И рифмы в ряд нанизывать сонетом.

Да что же мне? — какая польза в этом?
Я не решусь быть низким перед вами;
Я не решуся черными словами
Вас выставить, запачкать перед светом.

Но если вы, поняв мои намеки,
Со страху раз помолитесь невольно,
И на́долго запомните уроки,

В которых то-то и смешно, что больно:
Поверьте мне, и этого довольно,
И одою сменю я эти строки.

<1847>

* * *

Смотреть на вас и странно мне и больно:
Жаль ваших взоров, ножек, ручек, плечек.
Скажите: кто вот этот человечек,
Что подле вас стоит самодовольно?

Во мне вся кровь застынет вдруг невольно,
Когда, при блеске двух венчальных свечек,
Он вам подаст одно из двух колечек;
Тогда в слезах молитесь богомольно.

Но я на вас глядеть тогда не стану,
А то, быть может, сердце содрогнется.
К чему тревожить старую в нем рану?

А то из ней, быть может, яд польется.
Мне только легкой поступи и стану,
Да скрытости дивиться остается.

<1847>

* * *

Рассказывал я много глупых снов,
На мой рассказ так грустно улыбались;
Многозначительно при звуке странных слов
Ее глаза в глаза мои вперялись.

И время шло — я сердцем был готов
Поверить счастью. Скоро мы расстались,
И я постиг у дальних берегов,
В чем наши чувства некогда встречались.

Так слышит узник бледный, присмирев,
Родной реки излучистый припев,
Пропетый вовсе чуждыми устами:

Он звука не проронит, хоть не ждет
Спасения,— но глубоко вздохнет,
Блеснув во мгле ожившими очами.

<1844>

* * *

Владычица Сиона, пред тобою
Во мгле моя лампада зажжена.
Все спит кругом,— душа моя полна
Молитвою и сладкой тишиною.

Ты мне близка... Покорною душою
Молюсь за ту, кем жизнь моя ясна.
Дай ей цвести, будь счастлива она —
С другим ли избранным, одна, или со мною.

О нет! Прости наитие недуга!
Ты знаешь нас: нам суждено друг друга
Взаимными молитвами спасать.

Так дай же сил, простри святые руки,
Чтоб ярче мог в полночный час разлуки
Я пред тобой лампаду возжигать.

<1842>

МАДОННА

Я не ропщу на трудный путь земной,
Я буйного не слушаю невежды:
Моим ушам понятен звук иной,
Моей душе приятен глас надежды

С тех пор, как Санцио передо мной
Изобразил склоняющую вежды,
И этот лик, и этот взор святой,
Смиренные и легкие одежды,

И это лоно матери, и в нем
Младенца с ясным, радостным челом,
С улыбкою к Марии наклоненной —

О, как душа стихает вся до дна!
Как много ты с святого полотна
Ты шлешь, мой бог, с пречистою Мадонной!

<1842>

МОСКВА

(Из Кернера)

Как высокѝ церквей златые главы,
Как царственно дворцы твои сияют!
Со всех сторон глаза мои встречают
И гордый блеск, и памятники славы.

Но час твой бил, о город величавый!
Твои гражда́не руку подымают,
Трещит огонь, и факелы пылают,
И ты стоишь в горячей ризе лавы!

О, пусть тебя поносит исступленье!
Ломитесь башни, рухайтесь палаты!
То русский феникс, пламенем объятый,

Горит векам... Но близко искупленье;
Уже под клик и общие восторги
Копье побед поднял святый Георгий!

<1843>

СОЛОВЕЙ И РОЗА

Небес и земли повелитель,
Творец плодотворного мира
Дал счастье, дал радость всей твари
Цветущих долин Кашемира.

И ра́вны все звенья пред Вечным
В цепи непрерывной творенья,
И жизненным трепетом общим
Исполнены чудные звенья.

Такая дрожащая бездна
В дыханьи полудня и ночи,
Что ангелы в страхе закрыли
Крылами звездистые очи.

Но там же в саду мирозданья,
Где радость и счастье — привычка,
Забыты, отвергнуты счастьем
Кустарник и серая птичка.

Листов, окаймленных пила́ми,
Побегов, вращающих спицы,
Минуют летучие гости,
Чуждаются певчие птицы.

Безгласная серая птичка
Одна не пугается терний,
И любят друг друга,— но счастья
Ни в утренний час, ни в вечерний.

И по небу веки проходят,
Как волны безбрежного моря:
Никто не узнает их страсти,
Никто не увидит их горя.

Однажды сияющий ангел,
Купаяся в безднах эфира,
Узрел и кустарник, и птичку
В долине ночной Кашемира.

И нежному ангелу стало
Их видеть так грустно и больно,
Что с неба слезу огневую
На них уронил он невольно.

И к утру свершилося чудо:
Краснея и млея сквозь слезы,
Склонилася к ветке упругой
Головка душистая розы.

И к ночи с безгласною птичкой
Еще перемена чудесней:
И листья и звезды трепещут
Ее упоительной песней.

Он

Рая вечного изгнанник,
Вешний гость я, певчий странник;
Чужды ваши мне цветы;
Страшны искры мне мороза.
Друг мой роза, дева-роза,
Я б не пел, когда б не ты.

Она

Полночь — мать моя родная,
Незаметно расцвела я

На заре весны;
Для тебя ж у бедной розы
Аромат, краса и слезы,
Заревые сны.

Он

Ты так нежна, как утренние розы,
Едва раскрыв малиновый шипок;
Ты так светла, что поневоле слезы
Туманят мне внимательный зрачок;
Ты так чиста, что помыслы земные
Невольно мрут в груди перед тобой;
Ты так свята, что ангелы святые
Зовут тебя их смертною сестрой.

Она

Мой друг, мой брат, мой милый,
мой любовник!
На милую внимательней взгляни:
За розу ты не принял ли шиповник,
Смиренное подобие родни?
И если есть во мне благоуханье,
Оно лишь тем коснется до тебя,
Что скромное, безвестное созданье,
Стремясь к тебе, так предало себя.

Он

Ты роза долины, я ночи певец,
И чувство в нас братское то же;
Нам месяц кристальный готовит венец,
А солнце пурпурное ложе;
Росою на песни, на песни росой
Дала отвечать нам природа,
И наши все звуки, все блестки, как рой
Горят у небесного свода.
Там ангел лазурный, востока жилец,
Их огненной метит рукою.
Ты роза долины, я ночи певец:
Мы вечные братья с тобою.

Она

Ты поешь, когда дремлю я,
Я цвету — когда ты спишь;
Я горю без поцелуя,
Без ответа ты грустишь.

Но и радость и мученья
Мудро нам судьба дала:
Ты не пел бы без стремленья,
Я б без страсти не цвела.

Он

На востоке небо чисто,
Как сапфир твоих очей;
В рощах пальмовых тенисто,
Лунный луч дрожит теплей.
На востоке есть у бога
Заповедные места:
Сердцу снится та дорога —
Полетим с тобой туда.
Ни фазанов позлащенных,
Ни павлинов не сомнем,
Ни плодов мы запрещенных
Тихомолком не сорвем;
Мы, как лотос, богомольно
Заглядимся в ручеек...
Сердцу станет сладко, больно —
Полетим же на восток.

Она

Мой милый, где сердце — там грезы,
Где вера — там царство весны;
Где очи — там жаркие слезы,
Где думы — там чудные сны...
Во сне мое спящее око
Небесный измерило круг,
От запада вплоть до востока,
Узрело и север, и юг...
Ни дна; только, в бездне рождаясь,
Горят и сверкают ключи,
И, силою вечной вращаясь,
Дрожат золотые лучи;
И вся эта сила стремилась
К одной отдаленной звезде;
А я все молилась, молилась,
Чтоб ты был мне верен везде.

Он

Дева-роза, доброй ночи!
  Звезды в небесах.
Две звезды горят, как очи,

В голубых лучах;
Две звезды горят приветно
Нынче, как вчера;
Сон подкрался незаметно...
Роза, спать пора!

Она

Зацелую тебя, закачаю,
Но боюсь над тобой задремать:
На заре лишь уснешь ты; я знаю,
Что всю ночь будешь петь ты опять.

Закрывается милое око,
Голова у меня на груди.
Ветер, ветер мой, ветер востока,
Не тревожь его сна, не буди.

Я сама не дышу, не ласкаю,
Только вежды закрыл ему сон,
И кудрями его не играю:
Все боюсь, пе проснулся бы он.

Ветер, ветер лукавый, поди ты,
Я умею сама целовать;
Я устами коснуся ланиты,
И мой милый проснется опять.

Просыпайся ж; заря потухает:
Для певца золотая пора.
Дева-роза тихонько вздыхает,
Отпуская тебя до утра.

Он

Ах, опять к ночному бденью
Вышел звездный хор...
Эхо ждет завторить пенью...
Спал до этих пор!

Веет ветер над дубровой,
Пышный лист шумит,
У меня в тени кленовой
Дева-роза спит.
Хорошо ль ей, сладко ль спится,
Я предузнаю

И звездам, что ей приснится,
Громко пропою.

Она

Я дремлю, но слышит
Роза соловья;
Ветерок колышет
Сонную меня.

Звуки остаются
Все в моих листках;
Слышу,— а проснуться
Не могу никак.

Заревые слезы,
Наклоняясь, лью.
Пой у сонной розы
Про любовь мою!

И во сне только любит и любит,
И от счастия плачет и спит!
Эти песни она приголубит,
Если эхо о них промолчит.

Эти песни земле рассказали
Все, что розе приснилось во сне,
И глубоко, глубоко запали
Ей в румяное сердце оне.

И в ночи под землею коренья
Влагу ночи сосут да сосут,
А у розы росой умиленья
Бриллиантами слезы текут.

Отчего ж под навесом прохлады
Раздается так голос певца?
Роза! песни не знают преграды:
Без конца твои сны, без конца!

<1847>

Элегии

* * *

О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной,
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайный,
Перстам послушную волос густую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать;
Дыша порывисто, один, никем не зримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты;
Шептать и поправлять былые выраженья
Речей моих с тобой, исполненных смущенья,
И в опьянении, наперекор уму,
Заветным именем будить ночную тьму.

<1844>

* * *

Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной.

Не жаль мне детских игр, не жаль мне тихих снов,
Тобой так сладостно и больно возмущенных
В те дни, как постигал я первую любовь
По бунту чувств неугомонных,

По сжатию руки, по отблеску очей,
Сопровождаемых то вздохами, то смехом.
По восторгающей гармонии речей
С серебряным и вечным эхом...

<1844>

* * *

Когда мечтательно я предан тишине
И вижу на небе корону ясной ночи,
Когда созвездия заблещут в вышине
И сном у Аргуса начнут смыкаться очи,

И близок час уже, условленный тобой,
И ожидание с минутой возрастает,

И я стою уже безумный и немой,
И каждый звук ночной смущенного пугает;

И нетерпение сосет больную грудь,
И ты идешь одна, украдкой, озираясь.
И я спешу в лицо прекрасной заглянуть,
И вижу ясное,— и тихо, улыбаясь,

Ты на слова любви мне говоришь «люблю!»,
А я бессвязные связать стараюсь речи,
Дыханьем пламенным дыхание ловлю,
Целую волоса душистые и плечи,

И долго слушаю, как ты молчишь,— и мне
Ты руку подаешь, сказавши: «до свиданья!»
О друг, как счастлив я, как счастлив я вполне!
Как жить мне хочется до нового свиданья!

<1847>.

* * *

Помедли... люди спят; медлительной царицей
Луна двурогая обходит небеса;
Все медлит разойтись с серебряной зарницей —
И ветр, и облака, и горы, и леса.

Я не пойду туда, где камень вероломный,
Скользя из-под пяты с отвесных берегов,
Летит на хрящ морской; где в море вал огромный
Придет и убежит в объятия валов.

Там вечный шум, там нет неясного сознанья
Какой-то святости звездолюбивых дум
И тихой радости немого созерцанья.
Я не пойду туда: там моря вечный шум.

<1847>

* * *

Странное чувство какое-то в несколько дней овладело
Телом моим и душой, целым моим существом.
Радость и светлая грусть, благотворный покой и желанья
Детские, резвые — сам даже понять не могу.
Вот хоть теперь: посмотрю за окно на веселую зелень

Вешних деревьев, да вдруг ветер ко мне донесет
Утренний запах цветов, птичек звонкие песни —
Так бы и бросился в сад с кликом: пойдем же, пойдем!
Да как взгляну на тебя, как уселась ты там безмятежно
Подле окошка, склоня иглы ресниц на канву,
То уж не в силах ничем я шевельнуться, а только
Всю озираю тебя, всю — от пробора волос
До перекладины пялец, где вольно, легко и уютно,
Складки раздвинув, прильнул маленькой ножки носок.
Жалко... да нет — хорошо, что никто не видал, как взглянула
Ты на сестрицу, когда та приходила сюда
Куклу свою показать. Право, мне кажется, всех бы
Вас мне хотелось обнять. Даже и брат твой, шалун,
Что изучает грамматику в комнате ближней, мне дорог.
Можно ль так ложно его вещи учить понимать!
Как отворялися двери, расслушать я мог, что учитель
Каждый отдельный глагол прятал в отдельный залог:
Он говорил, что любить есть действие — не состоянье.
Нет, достохвальный мудрец, здесь ты не видишь ни зги;
Я говорю, что любить — состоянье, еще и какое!
Чудное, полное нег!.. Дай бог нам вечно любить!

<1847>

* * *

Виноват ли я, что долго месяц
Простоял вчера над рощей темной,
Что под ним река дрожала долго
Там, где крылья пучил белый лебедь.
Ведь не я зажег огни рыбачьи
Над водой, у самых лодок черных.
Виноват ли я, что до рассвета
Перепелок голос раздавался?
Но ты спишь... О, подними ресницы!
Знаешь ли, я помню, помню живо —
Ты сама ведь любишь ночи: ночью
Это было — я спешил в Риальто.
Быстро весла ударяли в воду,
Гондольер мой пел; но эта песня
Пронеслась, как многое проходит,

Невозвратно; помню только это:
«Обожали пламенные греки
Красоты богиню Афродиту
В пене волн на раковине ясной.
Как же глупы, просты эти греки:
Перед ними ты была в гондоле».
Знаешь ли, я сам, когда ты дремлешь,
Опустя недвижные ресницы,
И твоих волос густые кудри
Недвижимы, руки, выше локтя
Обнажась, на складках полотняных
Так лежат, как будто с мыслью тайной
Раскидал их <боговидец> Фидий,—
И гляжу я долго и не знаю,
На твоем блестящем светом лике
Рождена ль улыбка красотою
Иль красу улыбка породила.
Знаешь ли... Но, опустя ресницы,
Ты уснула... Спи, моя богиня!

<1847>

* * *

Я знаю, гордая, ты любишь самовластье;
Тебя в ревнивом сне томит чужое счастье;
Свободы смелый лик и томный взор любви
Манят наперерыв желания твои.
Чрез всю толпу рабов у пышной колесницы
Я взгляд лукавый твой под бархатом ресницы
Давно прочел, давно — и знаю с той поры,
Где жертву новую ты ищешь для игры.
Несчастный юноша! давно ль, веселья полный,
Скользил его челнок, расталкивая волны?
Смотри, как счастлив он, как волен... он — ничей;
Лобзает ветр один руно его кудрей.
Рука, окрепшая в труде однообразном,
Минула уж брегов, ухающих соблазном.
Но горе! ты поешь; на зыбкое стекло
Из ослабевших рук упущено весло;
Он скован,— ты поешь, ты блещешь красотою,
И пенишь темный понт зубчатой чешуею.

Июль 1847

* * *

Ее не знает свет,— она еще ребенок;
Но очерк головы у ней так чист и тонок
И так подвижен склон ее округлых плеч,
Что дней недальних грез у ней не устеречь.
Дохнет тепло любви,— младенческое око
Лазурным пламенем засветится глубоко,
И гребень, ласково-разборчив, будто сам
Пойдет медлительней по пышным волосам,
Персты румяные, бледнея, подлиннеют.
Блажен, кто замечал, как постепенно зреют
Златые гроздия, и знал, что, виноград
Сбирая, он вопьет их сладкий аромат!

<1847>

* * *

Эх, шутка-молодость! Как новый, ранний снег
Всегда и чист и свеж! Царица тайных нег,
Луна зеркальная над древнею Москвою
Одну выводит ночь блестящей за другою.
Что, все ли улеглись, уснули? Не пора ль?..
На сердце жар любви, и трепет, и печаль!..
Бегу!.. Далекие, как бы в вознагражденье,
Шлют звезды в инее свое изображенье.
В сияньи полночи безмолвен сон Кремля.
Под быстрою стопой промерзлая земля
Звучит, и по крутой, хотя недавней стуже
Доходит бой часов порывистей и туже.
Бегу!.. Там нежная и трепетная та
Несет на поцелуй дрожащие уста,
Чье имя, близ меня помянуто без цели,
Не даст мне до зари забыться на постели;
Чей шорох медленный уж издали меня
Кидает в полымя мгновенно из огня,
И чей глубокий взор, блистающий вниманьем,
Исполнил жизнь мою безумством и страданьем.

<1847>

* * *

Лозы мои за окном разрослись живописно и даже
Свет отнимают. Смотри, вот половина окна

Верхняя темною зеленью листьев покрыта; меж ними,
Будто нарочно, в окне кисть начинает желтеть.
Милая, полно, не трогай!.. К чему этот дух разрушенья!
Ты доставать виноград высунешь руку на двор,—
Белую, полную ручку легко распознают соседи,
Скажут: она у него в комнате тайно была.

<1847>

* * *

Тебе в молчании я простираю руку
И детских укоризн в грядущем не страшусь.
Ты втайне поняла души смешную муку,
Усталых прихотей ты разгадала скуку;
Мы вместе — и судьбе я молча предаюсь.

Без клятв и клеветы ребячески-невинной
Сказала жизнь за нас последний приговор.
Мы оба молоды, но с радостью старинной
Люблю на локон твой засматриваться длинный;
Люблю безмолвных уст и взоров разговор.

Как в дни безумные, как в пламенные годы,
Мне жизни мировой святыня дорога;
Люблю безмолвие полунощной природы,
Люблю ее лесов лепечущие своды,
Люблю ее степей алмазные снега.

И снова мне легко, когда, святому звуку
Внимая не один, я заживо делюсь;
Когда, за честный бой с тенями взяв поруку,
Тебе в молчании я простираю руку
И детских укоризн в грядущем не страшусь.

<1847>

САКОНТАЛА

1

Саконтала, из всех цариц, украшавших индийский
Трон, народу любезная, милая сердцу супруга
Мудрого государя Викрамы, встречала однажды

Праздничный день своего рожденья общим весельем.
Радость кругом разлилась по чертогам и хижинам
царства;
Только живей и нежнее ее раздавалися звуки
В сердце каждого. Лик царицы был тих и прекрасен,
Око ее сияло любезно и кротко, как солнце
В час вечерний, когда, садясь за дальние горы,
Ро́су шлет и прохладу оно, долины и выси
Влагою с высоты окропляя отрадной. Таков был
Лик Сакопталы. Затем-то, с детским смирением
в сердце,
Жители Индии взор к своей несравненной царице,
Полный любви, обращали и ей приносили посильно
Разного рода дары — растенья лучшие царства,
Благоуханный елей, злато и камни цветные;
Благословения ей другие молили у Брамы.
Вот в средину ликующих, тесной толпой стоящих
Около царских ворот, брамин выходит; корзинку
Нес он в руках, из лоз плетенную; край у корзинки
Мохом простым был покрыт. Придворные слуги, увидя
Старца, стоя́ в переходах, друг друга спрашивать
стали:
«Знать, брамин поприблизиться хочет сиянью престола
С лозниковой корзинкою, полною мохом кудрявым?»
Но брамин подошел свободно, поставил корзинку
Саконтале к ногам и сказал: «Видишь ли, наша
Добрая мать и владычица нашего царства: вот эти
Лозы корзинки и этот мох и цветы полевые —
Дети долины на самой далекой границе обширной
Нашей земли, где стопы твои блуждали в то время,
Как еще первая жизни весна пред тобой улыбалась».
Так брамин говорил, и у ног Саконталы стояла
С мохом корзинка. Тогда царица взор обратила
На корзинку, на мох и цветы, что лежали в корзинке,
И с престола она улыбнулась приветливо, нежно
Скромным цветам долины давно миновавшего детства.
Тихо брамин возвращался к своей одинокой долине,
И казалася роскошь полей для него превосходней:
Он не мог позабыть улыбки лица Саконталы.

2

Саконтала, прекрасная, милая сердцу царица
Индии, день своего рожденья встречала молитвой
Тихою к Браме; война ужасная все государство

Опустошила, и царь индийский, супруг Саконталы,
Был вдали от нее средь ужасов битвы кровавой;
Но еще более то умножало горесть царицы,
Что большая часть преданных в битве погибли и много
Было таких, что забыли царскую милость, с какою
Почестями он их осыпал, и вдруг показали
Неблагодарность и трусость сердец изменой в годину
Бедствия. Вот почему Саконтала в тиши проливала
Слезы, и день рождения был ей дню смерти подобен.
В это время вошла одна из женщин служáщих
Тихо к печальной царице и ей сказала: «Опять здесь
Тот брамин, что к тебе приходил с цветами долины».
Но Саконтала вздохнула и ей отвечала: «Как могут
Быть отрадны цветы моему сокрушенному сердцу
Или служить украшеньем моей побледневшей ланите?
Все же,— сказала потом царица добрая,— старца
Ты введи, чтобы я из его приношенья сознала,
Как верна мне в печали любовь незлóбливых сердцем».
Старый брамин вошел и сказал, главу наклоняя:
«Видишь ли, добрая мать и владычица
нашего царства:
Горе твое и печаль тебя сердец не лишило
Жителей той долины, где ты блуждала в то время,
Как еще первая жизни весна пред тобой улыбалась.
Шаткого счастья измена любви и верности узы
Не разрешает; напротив, она их прочнее связует.
Только цветов я тебе не принес: в нашей долине
Стоптаны все; но они расцветут еще лучше,
коль Брама
После бурь ниспошлет весны благодатной дыханье.
Я принес тебе дар драгоценнейший нашей долины —
Камень, которому в Индии равного нет красотою».
Молча, полна удивленья, царица взглянула на старца;
Он же, речь продолжая, сказал: «Тебе приносил я
В дар цветы, когда на юном челе твоем радость
Расцветала, ничем не смущенная; но испытанье
Брама наслал на тебя; я вижу, что горе ланиты
Бледностию твои овеяло; знал я, что будешь
День своего рожденья ты провожать со слезами.
Для прекрасных душ слезы — небесная влага,
От которой они вполне расцветают. Так Брама
Освящает своих любимцев. Вот почему я
Ныне к тебе подхожу с благороднейшим
даром природы».
Так брамин говорил и, полный почтенья, поставил

Черного дерева ящик к ногам Саконталы. Чудесно
Светлый камень играл, отовсюду охваченный черным.
Тут склонила царица чело и взглянула на ящик
И на камень, своими лучами его наполнявший,
И с ланит у нее покатились прозрачные слезы.
Тихо брамин возвращался к своей одинокой долине,
Медленно шел он, и грустью отрадною полон был
старец.
Все, казалось ему, он видит слезу Саконталы.

3

Грустен скитался брамин в своей одинокой пустыне;
Помнил царицы-страдалицы тяжкое он испытанье.
Вдруг опять поднялась война ужасная. Мощный
Истребитель с своей толпой необузданных полчищ
Встал на западе, с тем, чтоб земли
восточных пределов
Опустошить. И того, о чем, наругаясь, задумал,
Он достигнуть успел; но все населенье стонало.
Старец Браму день и ночь умолял за Викраму
Правосудного и за Саконталу царицу,
Сердцу любезную. Но тщетны были моленья,
И военная буря неслася грозным потоком
К самой долине брамина, и бич притеснителя всюду
Жертв настигал. Тогда печальный брамин удалился
В дикие горы и жил между скал, чуждаяся встретить
Лик человеческий. Тяжкою скорбью исполнено было
Сердце старца, и смерти желанной алкал он душою;
Но желанье его не исполнилось.— Много он прожил
Лет в своем одиночестве между скала́ми пустыни;
Вдруг кругом раздались вдали веселые звуки
Песен победы и мира под рокот трубы и кимвала.
Тут главою к земле склонился старец в молитве,
Встал, помазал главу и сказал: «Перед смертью
я должен
Правых победу и лик царицы кроткой увидеть».
Тут наполнил брамин опять корзину цветами
Самыми лучшими в целой долине и сверху прикрыл их
Пальмы и ма́слины тучной младыми побегами; тут же
Ветвь положил благовонную нежно лепечущей мирты.

Скоро потом он к престольному граду лицом обратился
И в молчаньи пошел чрез толпы́
торжествующих граждан.

Радостью лик засиял у старца, когда в воротáх он
Был дворцовых. Отверзши уста, слугáм он придворным
Стал говорить: «Ведите меня к царице, чтоб мог я
Жертву свою ей принесть. Семь лет как не видел я
мира».
Слыша речи такие, слуги взглянули на старца,
Смолкли и стали плакать. Брамин же спросил их:
«Чего вы
Плачете, и отчего изменилися так ваши лица?»
Слуги на это ему отвечали: «Иль ты не житель
Здешнего мира, когда один ты не знаешь,
что сталось?»
И на могилу царицы они повели его: «Видишь,—
Так говорили они,— в ней сердце не вынесло горя».
Больше они ничего сказать не могли и рыдали.
Тут у старца лик просиял и затеплилось око,
Будто у юноши; к небу он поднял чело и воскликнул:
«Разве не вижу я Брамы жилища, не вижу сиянья
Вечного моря лучей, его окружающих блеском!
И Саконтала пред ним на облаке раннего утра
Смотрит на нас. Примиренной отчизны чистейшая
жертва,
Жрицею ныне она сияет небесного мира.
Видишь ли ты, просветленная? Я, как и прежде
бывало,
Здесь пред тобою стою с моими зелеными цветами».
Тут умолкнул старец, склонясь на цветы и могилу.
Тихим повеяло ветром, и Брама приял его душу.

<1847>

Подражание восточному

* * *

Я люблю его жарко: он тигром в бою
Нападает на хищных врагов;
Я люблю в нем отраду, награду мою
И потомка великих отцов.

Кто бы ни был ты — странник простой
иль купец,—
Ни овцы, ни верблюда не тронь!

От кобыл Мугаммеда его жеребец,
Что небесный огонь этот конь.

Только мирный пришлец нагибайся в шатер
И одежду дорожную скинь;
На услугу и ласку он ловок и скор;
Он бадья при колодце пустынь.

Будто месяц над кедром, белеет чалма
У него средь далеких степей.
Я люблю, и никто — ни Фатима сама —
Не любила пророка сильней.

<1847>

ИЗ СААДИ

Обремененный славой мира,
Сравняйся с смоквою полей!
Она тем ниже гнется долу,
Чем смокв обильнее на ней.

<1847>

ЯЗЫК ЦВЕТОВ

Мой пучок блестит росой,
Как алмазами калиф мой;
Я давно хочу с тобой
Говорить пахучей рифмой,

Каждый цвет уже намек,—
Ты поймешь мои признанья;
Может быть, что весь пучок
Нам откроет путь свиданья.

<1847>

* * *

Не дивись, что я черна,
Опаленная лучами;
Посмотри, как я стройна
Между старшими сестрами.

Оглянись: сошла вода,
Зимний дождь не хлещет боле;
На горах опять стада,
И оратай вышел в поле.

Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален
И цвету я для любви,
Для твоих опочивален.

Целый мир пахну́л весной,
Тайный жар владеет девой;
Я прильнул к твоей десной,
Ты меня обнимешь левой.

Я пройду к тебе в ночи
Незаметными путями;
Отопрись — и опочий
У меня между грудями.

<1847>

К Офелии

* * *

Как идет к вам чепчик новый,
Как идет большая шаль!
Поздравляю вас с обновой,
А мне все-таки вас жаль.

Как идет к вам эта бледность,
Эта скрытая печаль,
Эта внутренняя бедность,
Мне вас жаль, да, мне вас жаль.

<1847>

* * *

Не здесь ли ты легкою тенью,
Мой гений, мой ангел, мой друг,
Беседуешь тихо со мною
И тихо летаешь вокруг?

И робким даришь вдохновеньем,
И сладкий врачуешь недуг,
И тихим даришь сновиденьем,
Мой гений, мой ангел, мой друг,

То вдруг опечалишь ужасно,
То сердце обрадуешь вдруг,
А все улыбаешься ясно,
Как гений, как ангел, как друг.

<1842>

* * *

Сосна так темна, хоть и месяц
Глядит между длинных ветвей:
То клонит ко сну, то очнешься,
То мельница, то соловей,

То ветра немое лобзанье,
То запах фиалки ночной,
То блеск замороженной дали
И вихря полночного вой.

И сладко дремать мне — и грустно,
Что сном я надежду гублю.
Мой ангел, мой ангел далекий,
Зачем я так сильно люблю?

<1842>

* * *

Как майский голубоокий
Зефир — ты, мой друг, хороша,
Моя ж — что эолова арфа,
Чутка и послушна душа!

И струн у той арфы немного,
Но вечно под чувством живым
Найдет она новые звуки
За новым дыханьем твоим.

<1842>

* * *

Я болен, Офелия, милый мой друг!
Ни в сердце, ни в мысли нет силы.

О, спой мне, как носится ветер вокруг
Его одинокой могилы.

Душе раздраженной и груди больной
Понятны и слезы и стоны.
Про иву, про иву зеленую спой,
Про иву сестры Дездемоны.

<1847>

* * *

Офелия гибла и пела,
И пела, сплетая венки;
С цветами, венками и песнью
На дно опустилась реки.

И многое с песнями канет
Мне в душу на темное дно,
И много мне чувства, и песен,
И слез, и мечтаний дано.

<1846>

* * *

Как ангел неба безмятежный,
В сияньи тихого огня
Ты помолись душою нежной
И за себя и за меня.

Ты от меня любви словами
Сомненья духа отжени
И сердце тихими крылами
Твоей молитвы осени.

<1843>

Антологические стихотворения

ГРЕЦИЯ

Там, под оливами, близ шумного каскада,
Где сочная трава унизана росой,
Где радостно кричит веселая цикада
И роза южная гордится красотой,

Где храм оставленный подъял свой купол белый
И по колоннам вверх кудрявый плющ бежит,—
Мне грустно: мир богов, теперь осиротелый,
Рука невежества забвением клеймит.

Вотще... В полнóчь, как соловей восточный
Свистал, а я бродил незримый за стеной,
Я видел: грации сбирались в час урочный
В былой приют заросшею тропой.

Но в плясках ветреных богини не блистали
Молочной пеной форм при золотой луне;
Нет,— ставши в тесный круг, красавицы шептали...
«Эллада» — слышалось мне часто в тишине.

<1840>

* * *

Когда петух,
Ударив три раза
Крылом золотистым,
Протяжною песнью
Встречает зарю,
И ты, человек,
Впиваешь последнюю
Сладкую влагу
Сна на заре,
Тогда поэт...
Нет! Спи, утомленный
Заботами дня,
Земной страдалец!
Ты не поймешь,
Зачем я бодрствую
В таинственном храме
Прохладной ночи.
Чу! Слышу, вздох
Ко мне несется
С мягкого ложа,
Где при серебряной
Луне белеют
Младые ланиты,
Покрытые первым
Шелковым пухом,
И где в беспорядке

Рассыпаны кудри.
А! Слышу, слышу,—
Ты также не спишь,
Несчастный влюбленный!
Послушай, что́ ныне
Я слышал ночью
От чад Сатурна:
Они мне велели
В земных страданьях
Искать исцеленья
У Вакха. Наполним
Стаканы — и оба
Заснем поутру,
Когда другие
Пойдут трудиться.

<1840>

ВАКХАНКА

Под тенью сладостной полуденного сада,
В широколиственном венке из винограда
И влаги вакховой томительной полна,
Чтоб дух перевести, замедлилась она.
Закинув голову, с улыбкой опьяненья,
Прохладного она искала дуновенья,
Как будто бы власы уж начинали жечь
Горячим золотом ей розы пышных плеч.
Одежда жаркая все ниже опускалась,
И молодая грудь все больше обнажалась,
А страстные глаза, слезой упоены,
Вращались медленно, желания полны.

<1843>

ДИАНА

Богини девственной округлые черты,
Во всем величии блестящей наготы,
Я видел меж дерев над ясными водами.
С продолговатыми, бесцветными очами
Высоко поднялось открытое чело,—
Его недвижностью вниманье облегло,

И дев молению в тяжелых муках чрева
Внимала чуткая и каменная дева.
Зефир вечеровой между листов проник,—
Качнулся на воде богини ясный лик;
Я ждал,— она пойдет с колчаном и стрелами,
Молочной белизной мелькая меж древами,
Взирать на сонный Рим, на вечный славы град,
На желтоводный Тибр, на группы колоннад,
На стогны длинные! Но мрамор недвижимый
Белел передо мной красой непостижимой.

<1847>

* * *

Влажное ложе покинувши, Феб златокудрый направил
Быстрых коней, Фаетонову гибель, за розовой Эос;
Круто напрягши бразды, он кругом озирался, и тотчас
Бойкие взоры его устремились на берег пустынный.
Там воскурялся туман благовонною жертвою; море
Тихо у желтых песков почивало; разбитая лодка,
Дном опрокинута вверх, половиной в воде, половиной
В утреннем воздухе темной смолою чернела — и тут же,
Влево, раскинуты были обломки еловые весел,
Кожаный щит и шелом опрокинутый, полные тины.
Дальше, когда порассеялись волны тумана седого,
Он увидал на траве, под зеленым навесом каштана
(Трижды его обежавши, лоза окружала кистями),—
Юношу он на траве увидал: белоснежные члены
Были раскинуты, правой рукою как будто теснил он
Грудь, и на ней-то прекрасное тело недвижно лежало,
Левая навзничь упала, и белые формы на темной
Зелени трав благовонных во всей полноте рисовались;
Весь был разодран хитон, округленные бедра белели,
Будто бы мрамор, приявший изгибы от рук Праксителя,
Ноги казали свои покровенные прахом подошвы,
Светлые кудри чела упадали на грудь, осеняя
Мертвую силу лица и глубоко-смертельную язву.

<1847>

КУСОК МРАМОРА

Тщетно блуждает мой взор, измеряя твой начатый мрамор;
Тщетно пытливая мысль хочет загадку решить:

Что одевает кора грубо изрубленной массы?
Ясное ль Тита чело, Фавна ль изменчивый лик,
Змей примирителя жезл, крылья и стан быстроногий,
Или стыдливости дев с тонким перстом на устах?

<1847>

* * *

С корзиной, полною цветов, на голове
Из сумрака аллей она на свет ступила,—
И побежала тень за ней по мураве,
И пол-лица ей тень корзины осенила;

Но и под тению увидишь ты как раз
Приметы южного созданья без ошибки —
По светлому зрачку неотразимых глаз,
По откровенности младенческой улыбки.

<1847>

ПОДРАЖАНИЕ XVI ИДИЛЛИИ БИОНА

Прекрасная звезда Венеры светлоокой!
Пока свое чело за рощею далекой
Диана нежная скрывает, освети
Кустарник тот и холм для моего пути.
Я оставляю кров не для ночных хищений,
На путников в душе не крою покушений...
Нет, я люблю и жду возмездия забот
От нимфы молодой, красы между красот,—
Как в мириаде звезд, Дианой предводимой,
Краса ночных небес, горит твой луч любимый.

<1847>

НЕПТУНУ

Птицей,
Быстро парящей птицей Зевеса
Быть мне судьбою дано всеобъемлющей.
Ныне, крылья раскинув над бездной
Тверди,— ныне над высью я
Горной, там, где у ног моих
Воды,

Вечно несущие белую пену,
Стонут и старый трезубец Нептуна
В темных руках повелителя строгого блещет.
Нет пределов
Кверху, и нет пределов
Книзу.

Здравствуй!
На половинном пути
К вечности, здравствуй, Нептун! Над собою
Слышишь ли шумные крылья и ветер,
Спертый нагрудными сизыми перьями?
Здравствуй!
Нет мгновенья покою;
Вслед за тобою летящая
Феба стрела, я вижу, стоит,
С визгом перья поджавши, в эфире.
Ты промчался, пронесся, мелькнул и сокрылся,
А я!
Здравствуй, Нептун!
Слышишь ли, брат, над собою
Шумный полет? — Я принес
С жаркой, далекой земли,
Кровью упитанной,
Трупами тучной,
Лавром шумящей,
Мой привет тебе: здравствуй, Нептун!

Вечно, вечно,
Как бы ни мчался ты, брат мой,
Крылья мои зашумят, и орлиный
Голос к тебе зазвучит по эфиру:
Здравствуй, Нептун!

<1847>

ВОДОПАД

Там, как сраженный
Титан, простерся
Между скалами
Обросший мохом
Седой гранит
И запер пропасть;
Но с дикой страстью

Стремится в бездну
Через препоны
Поток гремучий
И мечет жемчуг
Шипучей пены
На черный брег.

Смотри, как быстро
Несется ветка
К кипучей бездне,
Как струйка сильно
Ее кидает
С прозрачной мели
На острый камень.—
Мелькнула! — Полно!
Из черной бездны
Возврата нет.

Слежу глазами
За быстрым током.
Как присмирел он
Там, в отдаленьи;
Как будто небо
В нем хочет видеть
Свою красу.

Смотри: та ветка,
Что там исчезла
В пучине лютой,
Плывет так тихо,
Так безмятежно
По вечной влаге.

<1840>

АРХИЛОХ

Здесь Архилох опочил; его в беспощадные ямбы
Ринула Муза — певцу Ионии сладостный друг.

<1847>

ИЗ КАТУЛЛА

Давай любить и жить, о Лезбия, со мной!
За толки стариков угрюмых мы с тобой —
За все их не дадим одной монеты медной.
Пускай светает день и меркнет тенью бледной:
Для нас, когда заря зайдет за небосклон,
Настанет ночь одна и бесконечный сон —
Сто раз целуй тогда, и тысячу, и снова
До новой тысячи — и вновь до ста другого,
Опять до новых сот, до тысячи опять.
Когда же много нам придется насчитать,
Смешаем счет тогда, чтоб мы его не знали,
Чтоб злые нам с тобой завидовать не стали,
Узнав, как много раз тебя я целовал.

<1847>

К ЮНОШЕ

Друзья, как он хорош за чашею вина,
Как молодой души неопытность видна!
Его шестнадцать лет, его живые взоры,
Ланиты нежные, заносчивые споры,
Порывы дружества, негодованье, гнев —
Все обещает в нем любимца зорких дев.

<1847>

* * *

Питомец радости, покорный наслажденью,
Зачем, коварный друг, не внемля приглашенью,
Наш пир вечеровой вчера не посетил?
Хозяин ласковый к обеду пригласил
В беседку, где кругом, не заслоняя сада,
Полувоздушная обстала колоннада.
Диана полная, глядя между ветвей,
Благословляла стол улыбкою своей,
И яства сочные с их паром благовонным,
Отрадно лакомым — гулякам утонченным,
И — отчих кладовых старинное добро —
Широкодонных чаш литое серебро.
А ветер заревой, по фитилям порхая,
Качал слегка огни, нам лица освежая.
Зачем ты не сидел меж нами у стола?

Тут в розовом венке и Лидия была,
И Пирра смуглая, и Цинтия живая,
И, ученица муз, Неэра молодая,
Как Сафо, страстная, пугливая, как лань...
О друг! я чувствую, я заплачу ей дань
Любви мечтательной, тоскливой, безотрадной;
Я наливал вчера рукою беспощадной,—
Но вспоминал тебя, и, знаю, вполпьяна
Мешал в заздравиях я ваши имена.

<1847>

* * *

В златом сиянии лампады полусонной
И отворя окно в мой садик благовонный,
То прохлаждаемый, то в сладостном жару,
Следил я легкую кудрей ее игру:
Дыханьем полночи их тихо волновало
И с милого чела красиво отдувало...
Дивился молча я волшебной красоте,
А месяц медленно катился в высоте.

<1843>

* * *

Уснуло озеро; безмолвен черный лес;
Русалка белая небрежно выплывает,
Как лебедь молодой; луна среди небес
Скользит и двойника на влаге созерцает.

Уснули рыбаки у сонных огоньков;
Ветрило бледное не шевельнет ни складкой;
Лишь карпия порой плеснет у тростников,
Оставя резвый круг сребра на влаге гладкой.

Как тихо... Каждый звук и шорох слышу я;
Но звуки тишины ночной не прерывают,—
Пускай живая трель ярка у соловья,
Пусть шильник водяной русалки колыхают.

<1847>

ИЗ АНАКРЕОНА

Сядь, Вафилл, в тени отрадной,
Здесь, под деревом красивым;
Посмотри: до тонкой ветки
Каждый нежный лист трепещет;
Мимо с сладостным журчаньем
Пробирается источник;
Кто такое ложе лени,
Увидавши, проминует?

<1847>

* * *

Многим богам в тишине я фимиам воскуряю,
В помощь нередко с мольбой многих героев зову;
Жертвую музам, дриадам, нимфам речистым и даже
Глупому фавну весной первенца стад берегу.
Песня же первая — Вакху, мудрому сыну Семелы.
Ты, Дионисий в венке, грозный владыка ума,
Всех доступней моим мольбам и моим возлияньям:
Ты за утраты мои полной мне чашей воздай...
Где недоступная дева, моих помышлений царица?
В мраморах Фидий своих равной не зрел никогда,
Я же сходного с ней не знал созданья,— и что же?
Тирсу покорный, и ей клялся пожертвовать я.
Ждал я, безумный, забыться в дыму и в чаду приношений;
Новый Калхас, уже меч дерзкой рукой заносил;
Мать-природа вотще взывала, как мать Клитемнестра,—
Миг еще, миг — и тебе все бы принес я, Лией.
Мне уже чудился плеск волн забвения в барку,—
Только заступница дев деву чудесно спасла.
Дивно светла, предо мной Ифигения к небу восходит,
Я же коленом тугим в бок упираю козла.

<1847>

К КРАСАВЦУ

Природы баловень, как счастлив ты судьбой!
Всем нравятся твой рост, и гордый облик твой,
И кудри пышные, беспечностью завиты,

И бледное чело, и нежные ланиты,
Приподнятая грудь, жемчужный ряд зубов,
И огненный зрачок, и бархатная бровь;
А девы юные, украдкой от надзора,
Толкуют твой ответ и выраженье взора,
И после каждая, вздохнув наедине,
Промолвит: «Да! он мой — его отдайте мне!»
Как сон младенчества, как первые лобзанья
С отравой сладкою безумного желанья,
Ты, полон прелести, в их памяти живешь,
И гребню в их руках искусство придаешь;
Не для тебя ль они, с улыбкою Авроры,
Находят новый взгляд и новые уборы?
Когда же ложе их оденет темнота,
Алкают уст твоих, раскрывшись, их уста.

<1841>

Разные стихотворения

* * *

Эти думы, эти грезы —
Безначальное кольцо.
И текут ручьями слезы
На горячее лицо.

Сердце хочет, сердце просит,
Слезы льются в два ручья;
Далеко меня уносит,
А куда — не знаю я.

Не могу унять стремленье,
Я не в силах не желать:
Эти грезы — наслажденье!
Эти слезы — благодать!

<1847>

ХАНДРА

1

Непогода — осень — куришь,
Куришь — все как будто мало.
Хоть читал бы,— только чтенье
Подвигается так вяло;

Серый день ползет лениво,
И болтают нестерпимо
На стене часы стенные
Языком неутомимо;

Сердце стынет понемногу,
И у жаркого камина
Лезет в голову больную
Все такая чертовщина!

Над дымящимся стаканом
Остывающего чаю,
Слава богу! понемногу,
Будто вечер, засыпаю...

Но болезненно-тревожна
Принужденная дремота.
Точно в комнате соседней
Учат азбуке кого-то,

Или — кто их знает? где-то,
В кабинете или в зале,
С писком, визгом пляшут крысы
В худо запертом рояле.

<1847>

2

Не ворчи, мой кот-мурлыка,
В неподвижном полусне;
Без тебя темно и дико
        В нашей стороне;

Без тебя все та же печка,
Те же окна, как вчера,

Те же двери, та же свечка,
И опять хандра...

У соседа ненароком
Я сказал ей слова три
О прекрасном, о высоком —
Скука хоть умри!

Неотвязчивая вьюга
Разыгралася в трубе...
От двоякого недуга
Так не по себе.

Не ворчи же, кот-мурлыка,
В неподвижном полусне;
Без тебя темно и дико
В нашей стороне.

<1847>

3

Друг мой! я сегодня болен,—
Знать, поветрие такое...
Право, я в себе не волен,
Не найдусь никак в покое...

Не ошибся я в надежде:
Ты умна и молчалива,
Ты все та же, что и прежде,—
И добра и горделива.

На дворе у нас ненастье,
На дворе гулять опасно.
Дай мне руку, дай на счастье...
У тебя тепло и ясно.

Ах, давно ли у тебя я —
Так беспечно, так лениво,—
Все на свете забывая,
Был покорен молчаливо.

А теперь — зачем в углу том,
За широкою гардиной,

Вон, вон тот, что смотрит плутом,
С черной мордою козлиной?

Не могу пе ненавидеть
Этих глаз в досадной роже!
Право,— скучно, грустно видеть
Каждый день одно и то же.

Понимаю эти ласки,
Взор печали беспредельной...
Нет ли, друг мой, нет ли сказки,
Нет ли песни колыбельной?

Чтобы песнию смягчалось
То, что в сказке растревожит;
Чтобы сердце хоть пугалось,
Коль любить оно не может.

<1847>

* * *

На водах Гвадалквивира
Месяц длинной полосой;
От незримых уст зефира
Влага блещет чешуей.

Все уснуло... лишь мгновенпый
Меркнет луч во тьме окна,
Да гитарой отдаленной
Тишина потрясена,

Да звезда с высот эфира
Раскатилася дугой...
На водах Гвадалквивира
Месяц длинной полосой.

<1844>

ВЕНЕЦИЯ НОЧЬЮ

Всплески волн сверкают ярко,
Ударяя о гранит,
Дремлет лев святого Марка
И царица моря спит,

По каналам посребренным
Опрокинулись дворцы,
И блестят веслом бессонным
Запоздалые гребцы.

Звезд сияют мириады,
Чутко в воздухе ночном;
Осребренные громады
Вековым уснули сном.

<1847>

* * *

Поделись живыми снами,
Говори душе моей;
Что не выскажешь словами —
Звуком на душу навей.

<1847>

ВЕСНА

Уж верба вся пушистая
    Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
    Повеяла крылом.

Станицей тучки носятся,
    Тепло озарены,
И в душу мощно просятся
    Блистательные сны.

Везде разнообразною
    Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
    Народ — чему-то рад.

Дитя тысячеглавое,
    Не знает он, что в нем
Приветно-величавое
    Зажглось святым огнем;

Что жизни тайной жаждою
Невольно жизнь полна;
Что над душою каждою
Проносится весна.

<1844>

ПОСВЯЩЕНИЕ К «ФАУСТУ»

(Г-ву)

Вы вновь ко мне, воздушные виденья!
Давно знаком печальный с вами взор!
Иль сердце к вам полно опять стремленья,
Иль грудь хранит безумие с тех пор?
Вы принеслись! Я полон умиленья;
В туманной мгле приветствую ваш хор!
Трепещет грудь младенческими снами
От волшебства, навеянного вами.
Вы обновили светлых лет картину,
И много милых ожило теней.
Подобно саге, смолкшей вполовину,
Звучат любовь и дружба прежних дней.
И больно мне,— давнишнюю кручину
Несет мне жизнь со всех своих путей,
И кличет тех, которых в миг участья
И унесло и обмануло счастье.
Им не слыхать последующих песен —
Всем тем, кому я первые певал.
Кружок приветный избранных стал тесен
И отголосок первый отзвучал.
Кому пою, тот круг мне не известен,
Его привет мне сердце запугал;
А те, чей слух мою и любит лиру,—
Хотя в живых, рассеяны по миру.
И вновь во мне отвычное стремленье
В тот кроткий мир, к задумчивым духам,
Неясное подъемлю песнопенье
Подобное эоловым струнам;
Проснулось в строгом сердце умиленье,
Невольно слезы следуют слезам;
Все, чем владею, кажется мне лживо,
А что прошло — передо мною живо.

<1847>

ДОБРЫЙ ДЕНЬ

Вот снова ночь с своей тоской бессонной
Дрожит при блеске дня.
С улыбкою мой демон искушенный
Взирает на меня.

Он видит все — улыбку, вздох и слезы.
Пусть он их видит — пусть!
Давным-давно бессонницу и грезы
Он знает наизусть.

Пускай весна наряд свой пестрый кажет
И я вокруг гляжу;
Он знает все, что сердце твари скажет,
Что людям я скажу.

Ему смешно, что наперед он знает,
Чем дума занята,
Что ясно так и внятно он читает
По книге живота.

Как мраморный, блестящий и холодный,
Мой прорицатель дня,
С улыбкой злой и гордо-благородной
Он смотрит на мепя.

<1847>

К КАРТИНЕ

Не говори, что счастлив я,
Что я хорош собой,
Что бог благословил меня
Прекрасною женой.

Не говори, что жизнь сулит
Мне счастье впереди,
Что крошка-сын наш тихо спит,
Прильнув к родной груди.

Напрасных слов не расточай:
Ненужен мой ответ.
Взгляни в глаза и отвечай:
Чтó — счастлив я иль нет?

Скажи — ты видишь по глазам,—
По сердцу ль мне покой?
Иль, может быть, я жизнь отдам
Померяться с судьбой.

Отдам, что было мне дано
Блаженства и тоски,
За взгляд, улыбку,— за одно
Пожатие руки.

<1847>

КУРГАН

Друг веков, поверенный преданий,
Ты один средь братии своей
Сохранил сокровищ и деяний
Вековую тайну от людей.

Что же дуб с кудрявой головою
Не взращен твой подвиг отмечать
И не светит в сумрак над тобою
Огонек — избрания печать?

Как на всех, орел с неизмеримой
На тебя слетает высоты
И срезает плуг неумолимый
Всех примет последние следы.

Что ж ты дремлешь? Силой чудотворной
Возрасти темно-кудрявый дуб!
Сокруши о камень непокорный
Злого плуга неотвязный зуб!

— Оттого-то, странник беспримерный,
На степи я вечно здесь молчу,
Что навек в груди мой клад заветный
Ото всех я затаить хочу.

<1847>

* * *

Полно спать: тебе две розы
Я принес с рассветом дня.

Сквозь серебряные слезы
Ярче нега их огня.

Дрожь в руках: твои угрозы
Помню я; но дремлешь ты,
И роняют тихо слезы
Ароматные цветы.

<1847>

* * *

Ты говоришь мне: прости!
Я говорю: до свиданья!
Ты говоришь: не грусти!
Я замышляю признанья.

Дивный был вечер вчера!
Долго он будет в помине;
Всем,— только нам не пора;
Пламя бледнеет в камине.

Что же,— к чему этот взгляд?
Где ж мой язвительный холод?
Грусти твоей ли я рад?
Знать, я надменен и молод?

Что ж ты вздохнула? Цвести —
Цель вековая созданья;
Ты говоришь мне: прости!
Я говорю: до свиданья!

<1847>

ТУЧКА

Тучка-челн, небес волною
Обданная паром,
Между мною и луною
Ты плывешь недаром:

От луны — твой свет, что ставит
Трон полночный богу;
От меня ж возьми, что давит:
Думу и тревогу.

Спит она — тяжелой битвой
Дум не возмутима;
Ты ж над ней с моей молитвой
Пронесися мимо.

<1847>

СВОБОДА И НЕВОЛЯ

Видишь — мы теперь свободны.
Ведь одно свобода с платой:
Мы за каждый миг блаженства
Жизни отдали утратой.

Что ж не вижу я улыбки?
Иль сильней всего привычка?
Или ты теперь из клетки
Поздно пущенная птичка?

Птичка-радость, друг мой птичка,
Разлюби иную долю!
Видишь — я отверз объятья:
Полети ко мне в неволю.

<1847>

* * *

Сядь у моря — жди погоды.
Отчего ж не ждать?
Будто воды, наши годы
Станут прибывать.

Поразвеет пыл горячий,
Проминет беда,
И под камень под лежачий
Потечет вода.

И отступится кручина,
Что свекровь стара;
Накидает мне пучина
Всякого добра.

Будто воды, наши годы
Станут прибывать.

Сядь у моря, жди погоды;
Отчего ж не ждать?

<1847>

БРЖЕСКИМ

при получении цветов и нот

Откуда вдруг в смиренный угол мой
Двоякой роскоши избыток,
Прекрасный дар, нежданный и двойной,—
Цветы и песни дивной свиток?

Мой жадный взор к чертам его приник,
Внемлю живительному звуку,
И узнаю под бархатом гвоздик
Благоухающую руку.

<1847>

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Сердце — незабудка!
Угомон возьми,
Хоть на миг рассудка
Голосу вонми.
Рад принять душою
Всю болезнь твою!
Спи, господь с тобою,
Баюшки-баю!

Не касайся к ране:
Станет подживать!
Не тоскуй по няне,
Что ушла гулять;
Это только шутка:
Няню жди свою.
Засыпай, малютка,
Баюшки-баю!

А не то другая
Нянюшка придет,
Сядет, молодая,

Песни запоет:
«Посмотри, родное,
На красу мою,
Да усни в покое...
Баюшки-баю!»

Что ж ты повернулось?
Старой няни жаль?
Знать, опять проснулась
Старая печаль?
Знать, пуста скамейка,
Даром что пою:
Что ж она, злодейка?
Баюшки-баю!

Подожди, вот к лету
Станешь подрастать,—
Колыбелку эту
Надо променять.
Я кровать большую
Дам тебе свою
И свечу задую.
Баюшки-баю!

И долга кроватка,
И без няни в ней
Спится сладко-сладко
До скончанья дней.
Перестанешь биться
И навек в раю,—
Только будет сниться:
Баюшки-баю!

<1843>

* * *

Я знал ее малюткою кудрявой,
Голубоглазой девочкой; она,
Казалось, вся из резвости лукавой
И скромности румяной сложена.

И в те лета какой-то круг влеченья
Был у нее и звал ее ласкать;
На ней лежал оттенок предпочтенья
И женского служения печать.

Я знал ее красавицей; горели
Ее глаза священной тишиной.
Как светлый день, как ясный звук свирели,
Она неслась над грешною землей.

Я знал его — и как она любила,
Как искренно пред ним она цвела,
Как много слез она ему дарила,
Как много счастья в душу пролила!

Я видел час ее благословенья —
Детей в слезах покинувшую мать;
На ней лежал оттенок предпочтенья
И женского служения печать.

<1844>

* * *

Еще весна — как будто не земной
Какой-то дух ночным владеет садом.
Иду я молча,— медленно и рядом
Мой темный профиль движется со мной.

Полуодевшись, ветви предают
Лазурь небес — туман подернул траву,
А я иду, и рад святому праву
Ходить — иду, и соловьи поют.

Несбыточное грезится опять,
Несбыточное в нашем бедном мире,
И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять.

А будет время: снова искупить
Весна природу будет торопиться;
Но это сердце перестанет биться
И ничего не будет уж любить.

<1847>

ЛИХОРАДКА

«Няня, что-то все не сладко!
Дай-ка сахар мне да ром:
Все как будто лихорадка,
Точно холоден наш дом».

— «Ах, родимый, бог с тобою,
Подойти нельзя к печам!
При себе всегда закрою,
Топим жарко — знаешь сам».

— «Ты бы шторку опустила...
Дай-ка книгу... Не хочу...
Ты намедни говорила,
Лихорадка... я шучу...»

— «Что за шутки спозаранок!
Уж поверь моим словам:
Сестры, девять лихоманок,
Часто ходят по ночам.

Вишь, нелегкая их носит
Сонных в губы целовать!
Всякой болести напросит,
И пойдет тебя трепать».

— «Верю, няня!.. Нет ли шубы?
Хоть всего не помню сна,
Целовала крепко в губы —
Лихорадка ли она?»

<1847>

* * *

О, не зови! Страстей твоих так звонок
Родной язык.
Ему внимать и плакать, как ребенок,
Я так привык.

Передо мной дай волю сердцу биться
И не лукавь,
Я знаю край, где все, что может сниться,
Трепещет въявь.

Скажи, не я ль на первые воззванья
Страстей в ответ
Искал блаженств, которым нет названья
И меры нет?

Что ж? Рухнула с разбега колесница,
Хоть цель вдали,

И, распростерт, заносчивый возница
Лежит в пыли.

Я это знал — с последним увлеченьем
Конец всему;
Но самый прах с любовью, с наслажденьем
Я обойму.

Так предо мной дай волю сердцу биться
И не лукавь!
Я знаю край, где все, что может сниться,
Трепещет въявь.

И не зови — но песню наудачу
Любви́ запой;
На первый звук я, как дитя, заплачу —
И за тобой...

<1847>

* * *

Дитя, покорное любви,
Моих стихов не назови
Ты самолюбием нескромным.
О нет! мой стих не мог молчать:
На нем легла твоя печать
С раздумьем тягостным и томным.

Не говорю тебе — прости!
Твоя судьба — одной цвести;
Да мимо и́дет зов мятежный.
Как в жизни раз, и в песни тож
Ты раз мне сердце потревожь —
И уносись прекрасной, нежной!

И завтра светлый образ весь
Исчезнет там, исчезнет здесь,
Про твой удел никто не спросит,—
И запах лилии ночной
Не досягнет луны родной:
Полночный ветр его разносит.

<1847>

А. Л. БРЖЕСКОЙ

Я вам пророчил поклоненье,
Венец прекрасному челу,
И расточал свое уменье
Воздать вам должную хвалу.

Теперь же слабый мой умишка
Не больше сделает добра,
Как театральная афишка
О пьесе, сыгранной вчера.

<1847>

* * *

Под палаткою пунцовой,
Без невольников, один,
С одалиской чернобровой
Расстается властелин.

— Сара, гурия пророка,
Солнце дней, источник сил,
Сара, утро недалеко —
И проснется Азраил.

Где-то завтра после бою
Снова ноги подогну?
Иль усталой головою
Беззаботно отдохну?

С новой ночью, с новой кущей,
Пылкой страсти вопреки,
Не коснусь твоей цветущей,
Нарумяненной щеки.

Пред тобою на безделье
Свой кальян не закурю
И в глаза твои газельи,
Полон дум, не посмотрю.

И рукой моей усталой
У тебя не обовью
Черных кос по феске алой
Чешуйча́тую змею.

<1847>

ЭОЛОВЫ АРФЫ

Он

По листам пронесся шорох,
Каждый миг в блаженстве дорог,
В песни — каждый звук...
Там, где первое не ясно,
Все, хоть будь оно прекрасно,
Исчезает вдруг.

Она

О! не только что внимала,—
Я давно предугадала
Все твои мечты...
Но, настроенная выше,
Я рассказываю тише,
Что мечтаешь ты.

Он

Я на всякие звуки готов,
Но не сам говорю я струной:
Только формы воздушных перстов
Обливаю звонча́той волной.
Оттого-то в разлуке с тобой
Слышу я беззвучную дрожь,
Оттого-то и ты узнаешь
Все, что здесь совершится со мной.

Она

Если мне повелитель ветров
Звука два перекинет порой,
Но таких, где трепещет любовь,—
Я невольно пою за тобой...
Ах, запой поскорее, запой!
Ты не знаешь, что сталось со мной!
Этот перст так прозрачно хорош,
Под которым любовь ты поешь.

<1847>

* * *

После раннего ненастья
Что́ за рост и цвет обильный!
Ты даешь мне столько счастья,
Что сносить лишь может сильный.

Ныне чувства стали редки,
Ты же мне милей свободы;
Но боюсь я той беседки,
Где у ног почиют воды.

Сердце чует, что недаром
Нынче счастие такое;
Я в воде горю пожаром,
А в глазах твоих — так вдвое.

<1847>

* * *

Мудрым нужно слово света,
Дружбе сладок глас участья;
Но влюбленный ждет привета —
Обновительного счастья.

Я ж не знаю: в жизни здешней
Думы ль правы, чувства ль правы?
Отчего так месяц вешний
Жемчугом осыпал травы,

Что они дрожат, как слезы, —
Голубого неба очи?
И зачем в такие грезы
Манит мглу любовник ночи?

Ждет он, что ли? Мне сдается,
Что напрасно я гадаю.
Слышу, сердце чаще бьется,
И со мною что? — не знаю!

<1847>

* * *

Мы с тобой не просим чуда:
Только истинное чудно;
Нет для духа больше худа,
Как увлечься безрассудно.

Нынче, завтра — круг волшебный
Будет нем и будет тесен;
Оглянись — и мир вседневный
Многоцветен и чудесен.

Время жизни скоротечно,
Но в одном пределе круга
Наши очи могут вечно
Пересказывать друг друга.

<1843>

* * *

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;

Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;

Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера — пришел я снова,
Что душа все так же счастью
И тебе служить готова;

Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, чтó буду
Петь,— но только песня зреет.

<1843>

ДАЛЬ

Облаком волнистым
Прах встает вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!

<1843>

МОЯ УНДИНА

Она резва,
Как рыбка;
Ее слова
Так гибко
Шутить в речи
Готовы,
И, что ключи,
Все новы...
Она светлей
Фонтана,
Она скрытней
Тумана;
Немного зла,
Ревнива...
Зато мила
На диво.

<1842>

* * *

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру
Долго-долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна.

И старалась понять темноту,
Где свистал и урчал соловей:
То на небе, то в звонком саду;
Билось сердце слышнее у ней.

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,

Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты ее, не буди...
На заре — она сладко так спит!

<1842>

* * *

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот;
Смотри: из-за дремлющих сосен
Как будто пожар восстает.

Сияние северной ночи
Я помню всегда близ тебя,
И светят фосфóрные очи,
Да только не греют меня.

<1847>

ДЕРЕВНЯ

Люблю я приют ваш печальный,
И вечер деревни глухой,
И зá лесом благовест дальный,
И кровлю, и крест золотой.

Люблю я немятого луга
К окну подползающий пар,
И тесного, тихого круга
Не раз долитой самовар.

Люблю я на тех посиделках
Старушки чепец и очки;
Люблю на окне на тарелках
Овса золотые злачки;

На столике близко к оконку
Корзину с узорным чулком,
И по полу резвую кошку
В прыжках за проворным клубком;

И милой, застенчивой внучки
Красивый девичий наряд,
Движение бледненькой ручки
И робко опущенный взгляд;

Прощанье смолкающих пташек
И месяца бледный восход,
Дрожанье фарфоровых чашек
И речи замедленный ход;

И собственной выдумки сказки,
Прохлады вечерней струю
И вас, любопытные глазки,
Живую награду мою.

<1842>

* * *

Ах, дитя, к тебе привязан
Я любовью безвозмездной!
Нынче ты, моя малютка,
Снилась мне в короне звездной.

Что за искры эти звезды!
Что за кроткое сиянье!
Ты сама, моя малютка,
Что за светлое созданье!

<1843>

* * *

В небесах летают тучи,
На листах сверкают слезы;
До росы шипки грустили,
А теперь смеются розы.

После грома воздух чище
И свежее дышат люди;
Под ресницей орошенной
Как-то легче жаркой груди.

На природе с каждой каплей
Зеленеет вся одежда,

В небе радуга сияет,
Для души горит надежда.

<1843>

УЗНИК

Густая крапива
Шумит под окном,
Зеленая ива
Повисла шатром;

Веселые лодки
В дали голубой;
Железо решетки
Свистит под пилой.

Отпетое горе
Уснуло в груди,
Свобода и море
Горят впереди.

Прибавилось духа,
Затихла тоска,
И слушает ухо,
И пилит рука.

<1843>

* * *

Ночь. Не слышно городского шума,
В небесах звезда — и от нее,
Будто искра, заронилась дума
Тайно в сердце грустное мое.

И светла, прозрачна дума эта,
Будто милых взоров меткий взгляд;
Глубь души полна родного света,
И давнишней гостье опыт рад.

Тихо все, покойно, как и прежде;
Но рукой незримой снят покров
Темной грусти. Вере и надежде
Грудь раскрыла, может быть, любовь?

Что ж такое? Близкая утрата?
Или радость? — Нет, не объяснишь,
Но оно так пламенно, так свято,
Что за жизнь творца благодаришь.

<1843>

ВИДЕНИЕ

Не ночью, не лживо
Во сне пролетело виденье:
Свершилося диво:
Земле подобает смиренье.

Прозрачные тучи
Над дикой Печерской горою
Сплывалися в кучи
Под зыбью небес голубою.

И юноши в белом
Летали от края до края,
Прославленным телом
Очам умиленным сияя.

На тучах, высоко,
Все выше, в сиянии славы,
Заметно для ока
Вставали Печерские главы...

<1843>

* * *

Опять я затеплю лампаду
И вечную книгу раскрою,
Опять помолюся Пречистой
С невольно-горячей слезою.

Опять посетит меня радость
Без бури тоски и веселья,
И снова безмолвные стены
Раздвинет уютная келья.

Прочь горе земное; одно лишь
Про землю напомнит мне внятно —
Когда, обращая страницу,
Увижу прозрачные пятна.

<1847>

Из Гейне

* * *

Красавица-рыбачка,
Причаль свою ладью,
Пойди и сядь со мною,
Дай руку мне свою.

Доверчиво головкой
На грудь склонись ко мне:
Ведь ты ж себя вверяешь
Беспечно глубине.

С приливом и отливом,
Что море — грудь моя,
И много чудных перлов
Во глубине ея.

<1841>

* * *

На севере дуб одинокий
Стоит на пригорке крутом;
Он дремлет — сурово покрытый
И снежным, и льдяным ковром.

Во сне ему видится пальма,
В далекой восточной стране,
В безмолвной глубокой печали,
Одна на горячей скале.

<1841>

* * *

Из слез моих много родится
Роскошных и пестрых цветов,

И вздохи мои обратятся
В полуночный хор соловьев.

Дитя! если ты меня любишь,
Цветы все тебе подарю,
И песнь соловьиная встретит
Под милым окошком зарю.

<1841>

* * *

Хотел я с тобою остаться,
Забыться, моя красота;
Но было нам должно расстаться:
Ты чем-то была занята.

Тебе я сказал, что связала
Нам души незримая связь,
Но ты от души хохотала,
И ты мне присела, смеясь.

Страданья прибавить умела
Ты чувствам влюбленным моим
И даже польстить не хотела
Прощальным лобзаньем твоим.

Не думай, что я застрелюся,
Как мне и ни горек отказ;
Все это, мой друг, признаюся,
Со мною бывало не раз.

<1847>

* * *

Твои пылают щеки
Румянцем летних роз,
А у тебя па сердце
Рождественский мороз.

Изменится все это —
Увидишь ты сама:
На сердце будет пламя
И па щеках зима.

<1847>

* * *

По бульварам Саламанки
Воздух благотворной;
Там, в прохладный летний вечер,
Я гуляю с милой донной.

Я рукой нетерпеливой
Обнял стройное созданье
И блаженным пальцем слышу
Гордой груди волнованье.

Но по липкам слышен шепот,
Полный чем-то невеселым,
И ручей в низу плотины
Злобно грезит сном тяжелым.

Ах, сеньора, чует сердце:
Скоро буду я в изгнаньи;
По бульварам Саламанки
Не ходить нам на гуляньи.

<1847>

* * *

Как цвет, ты чиста и прекрасна,
Нежна, как цветок по весне;
Взгляну на тебя, и тревога
Прокрадется в сердце ко мне.

И кажется, будто б я руки
Тебе на чело возложил,
Молясь, чтобы бог тебя чистой,
Прекрасной и нежной хранил.

<1843>

* * *

Ах, опять все те же глазки,
Что так нежно улыбались,
И опять все те же губки,
Что так сладко целовались!

Этот голос, что внимать я
Так любил — не изменился;

Только сам уже не тот я,
Измененным воротился.

Вновь меня объемлют страстно
Эти пламенные руки,
Но лежу у ней на сердце,
Полон холода и скуки.

<1847>

* * *

Как луна, светя во мраке,
Прорезает пар густой,
Так из темных лет выходит
Светлый образ предо мной.

Все на палубе сидели,
Гордо Рейн судно качал,
Поздний луч младую зелень
Берегов озолочал.

И у ног прекрасной дамы
Я задумчиво сидел;
Бледный лик ее на солнце
Ярким пламенем горел.

Струны ныли, хоры пели,
Жизнь была так хороша,
Небо тихо голубело,
Расширялася душа.

Чудной сказкою тянулись
Замки, горы мимо нас,
И все это улыбалось
Мне в прекрасной паре глаз.

<1847>

* * *

Ланитой к ланите моей приложись —
Тогда наши слезы сольются,
И сердцем теснее мне к сердцу прижмись, —
Огнем они общим зажгутся.

И если в тот пламень польются рекой
Те общие слезы мученья,
Я, крепко тебя охвативши рукой,
Умру от тоски наслажденья.

<1842>

* * *

Дитя! мои песни далеко
На крыльях тебя унесут,
К долинам Гангесова тока:
Я знаю там лучший приют.

Там, светом луны обливаясь,
В саду все краснея цветет,
И лотоса цвет, преклоняясь,
Сестрицу заветную ждет.

Смеясь, незабудкины глазки
На дальние звезды глядят,
И розы душистые сказки
Друг другу в ушко говорят.

Припрянув, внимания полны,
Там смирно газели стоят,
А там, в отдалении, волны
Священного тока шумят.

И там мы под пальмой младою,
Любви и покоя полны,
Склонившись, уснем — и с тобою
Увидим блаженные сны.

<1842>

* * *

Я плакал во сне: мне приснилось,
Что друг мой во гробе лежит,—
И я проснулся, и долго
Катилися слезы с ланит.

Я плакал во сне: мне приснилось,
Что ты расстаешься со мной,—
И я проснулся, и долго
Катилися слезы рекой.

Я плакал во сне: мне приснилось,
Что ты меня любишь опять,—
И я проснулся, и долго
Не в силах я слез был унять.

<1847>

ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ

На горе стоит избушка,
Где живет старик седой;
Там сосна шумит ветвями,
Светит месяц золотой.

Посреди избушки кресло;
Пышно резаны края.
Кто на них сидит, тот счастлив,
И счастливец этот — я.

На скамье сидит малютка,
Опершись на локоток.
Глазки — звезды голубые,
Ротик — розовый цветок.

И малютка эти звезды
Кротко на меня взвела
И лилейный пальчик хитро
К розе уст приподняла.

Нет, никто нас не увидит:
Мать так пристально прядет,
И отец под звуки цитры
Песню старую поет.

И малютка шепчет тихо,
Тихо, звуки затая;
Много тайн немаловажных
От нее разведал я.

«Но как тетушка скончалась,
И ходить нельзя уж нам
В Гослар, где стрельба бывает,
А веселье только там.

Здесь, напротив, так пустынны
Гор холодных вышины,
И зимой мы совершенно
Будто в снег погребены.

Я же робкая такая,
Как ребенку, страшно мне
Знать, что ночью злые духи
Бродят в нашей стороне».

Вдруг малютка приумолкла,
Будто слов страшась своих,
И ручонками прикрыла
Звезды глазок голубых.

Пуще ветр шумит сосною,
Прялка воет и ревет,
И под звонкий голос цитры
Песня старая поет:

«Не страшись, моя малютка,
Покушений власти злой;
День и ночь, моя малютка,
Серафимы над тобой!»

<1847>

ПОСЕЙДОН

Солнце лучами играло
Над морем, катящим далеко валы;
На рейде блистал в отдаленьи корабль,
Который в отчизну меня поджидал;
Только попутного не было ветра,
И я спокойно сидел на белом песке
Пустынного брега.
Песнь Одиссея читал я — старую,
Вечно юную песнь. Из ее
Морем шумящих страниц предо мной
Радостно жизнь подымалась
Дыханьем богов,
И светлой весной человека
И небом цветущим Эллады.

Благородное сердце мое с участьем следило
За сыном Лаэрта в путях многотрудных его;
Садилося с ним в печальном раздумье
За радушный очаг,
Где царицы пурпур прядут,
Лгать и удачно ему убегать помогало
Из объятия нимф и пещер исполинов,
За ним в киммерийскую ночь, и в ненастье,
И в кораблекрушенье
И с ним несказанное горе терпело.
Вздохнувши, сказал я: «Злой Посидаон,
Гнев твой ужасен,
И сам я боюсь
Не вернуться в отчизну!»
Едва я окончил,—
Запенилось море,
И бог морской из белеющих волн
Главу, осокою венчанную, поднял,
Сказавши в насмешку:

«Что ты боишься, поэтик?
Я нимало не стану тревожить
Твой бедный кораблик,
Не стану в раздумье о жизни любезной тебя
Вводить излишнею качкой.
Ведь ты, поэтик, меня никогда не сердил:
Ни башенки ты не разрушил у врат
Священного града Приама,
Ни волоса ты не спалил на глазу
Полифема, любезного сына,
И тебе не давала советов ни в чем
Богиня ума — Паллада Афина».

Так воззвал Посейдон
И в море опять погрузился,
И над грубою остротой моряка
Под водой засмеялись
Амфитрита — женщина-рыба,
И глупые дщери Нерея.

<1842>.

СТУДЕНТ

Посвящается С. П. Х — о

1

Гляжу па вас я, умница моя,
Как на своем болезненном вы ложе
Откинулись, раздумие тая,
А против вас, со сказочником схоже,
И бормочу и вспоминаю я
О временах, как был я молод тоже,
Когда не так казалась жизнь пуста,—
И просятся октавы на уста.

2

Я был студентом. Жили мы вдвоем
С товарищем московским в антресоле
Родителей его. Их старый дом
Стоял близ сада, па Девичьем поле.
Нас старики любили и во всем
Предоставляли жить по нашей воле —
Лишь наверху; когда ж сходили вниз,
Быть скромными — таков наш был девиз.

3

Нельзя сказать, чтоб тяжкие грехи
Нас удручали. Он долбил тетрадки
Да Гегеля читал; а я стихи
Кропал; стихи не выходили гладки.
Но, боже мой, как много чепухи
Болтали мы; как нам казались сладки
Поэты, нас затронувшие, все:
И Лермонтов, и Байрон, и Мюссе.

4

И был ли я рассеян от природы,
Или застенчив, не могу сказать,
Но к женщинам не льнул я в эти годы,

Его ж и Гегель сам не мог унять;
Чуть женщины лишь не совсем уроды,—
Глядишь, влюблен, уже влюблен опять.
На лекции идем — бранюсь я вволю,
А он вприпрыжку по пустому полю.

5

По праздникам езжали к старикам
Различные почтительные лица
Из сослуживцев старых и их дам,
Бывала также томная девица
Из институтских — по ее словам,
Был Ламартин всех ярче, как денница,—
Две девочки — и ту, что побледней,
Звала хозяйка крестницей своей.

6

Свершали годы свой обычный круг,
Гамле́т-Мочалов сотрясал нас бурно,
На фортепьянах игрывал мой друг,
Певала Лиза — и подчас недурно —
И уходила под вечер.— Но вдруг
Судьбы встряхнулась роковая урна.
«Вы слышали? А я от них самих.
Ведь к Лизаньке присватался жених!

7

Не говорят худого про него.
С имением, хоть небольшого чину;
У генерала служит своего,
Ведет себя как должно дворянину:
Ни гадких карт, ни прочего чего.
Серебряную подарю корзину
Я ей свою большую.— Что ж мне дать?
Я крестная, а не родная мать».

8

Жених! жених! Коляска под крыльцом.
Отец и дочка входят с офицером.—
Не вышел ростом, не красив лицом,
Но мог бы быть товарищам примером:

Весь раздушон, хохол торчит вихром,
Торчат усы изысканным манером,
И воротник как жар, и белый кант,
И сахара белее аксельбант.

9

«Вот, Лизанька, бог дал и женишка!
А вы ее, мой милый, берегите:
Ребенок ведь! Немножечко дика,
Неопытна,— на нас уж не взыщите».
А мне ее отец: «Вы старика
Утешьте, вы и ей не откажите:
Мы с Лизою решились вас просить
С крестовым братом шаферами быть.

10

Ты, Лизанька, уж попроси сама,
Вы, кажется, друг другу не чужие,
Старинной дружбой связаны дома,
А с крестным братом даже и родные».
«Я вас прошу».— «Ах, боже, дела тьма.
Пора и дальше, люди молодые,
И к тетушке мне нужно вас завесть,—
Так по рукам?» — «Благодарю за честь».

11

Горит огнями весь иконостас,
Хрустальное блестит паникадило,
И дьякона за хором слышен бас...
Она стоит и веки опустила,
Но так бледна, что поражает глаз;
Испугана ль она, иль загрустила?
Мы стали цепью все, чтобы народ
На наших дам не налезал вперед.

12

«Где ж мой платок? — старик воскликнул наш.—
Дай мне хоть свой; отдам тебе на бале.
Что возишься! Да скоро ли подашь?
Ну, дайте вы, хоть вы бы отыскали».

«Да не найду».— «Вот завели cache —
cache» *.
«И у меня! И у меня украли!»
«Обчистили? Народец-то каков!»
Вся наша цепь без носовых платков.

13

Стою да мельком на нее взгляну.
Знать, от свечей ей томно — от угара.
И жалко-жалко мне ее одну,
Но жалко тож индейского фуляра.
«А не такую бы ему жену,—
Пожалуй, что она ему не пара».
Вот повели кругом их наконец,
И я топчусь, держа над ней венец.

14

Все кончено. Пустеет божий храм.
Подробностей уж не припомню дале,
Но помню, что с товарищем я там,
У них, в дому, на свадебном их бале.
Стою в гостиной полусветлой сам,
А музыка гремит, и танцы в зале.
Не знаю, что сказать, а предо мной
Давнишняя подруга молодой.

15

«Пойдемте вальс! Вы не хотите? Нет?
Но вы должны,— ведь я вознегодую...
Вы сердитесь за давешний ответ?»
«Я не сержусь; я просто не танцую».
«Ну, дайте ж руку! ссориться не след.
Та к сердцу ближе. Руку ту — другую».
И без перчатки стала хлопотать,
Чтобы с моей руки перчатку снять.

16

Но тут товарищ мой влетает в дверь:
«Вот где они! Куда запропастились!

* Игра в прятки *(фр.)*.

Вас кавалер, как разъяренный зверь,
Повсюду ищет.— Вы б поторопились.
Да ты-то что? Не кисни хоть теперь,
Ступай за мной; там словно взбеленились».
«Нет, уж уволь. Тебе оно под стать,
Ты по полю давно привык плясать».

17

Вот грянула мазурка.— Я гляжу,
Как королева средневекова́я,
Вся в бархате, туда, где я сижу,
Сама идет поспешно молодая
И говорит: «Пойдемте, я прошу
Вас на мазурку». Голову склоняя,
Я подал руку. Входим,— стульев шум,
И музыка гремит свое рум-рум.

18

«Вы, кажется, не в духе?» — «Я? Ничуть,
Напротив, я повеселиться рада
В последний раз.— И молодая грудь
Дохнула жарко.— Мне движенья надо:
Без устали помчимся! отдохнуть
Успею после, там, в гортани ада».
«Да что вы говорите?» — «Верьте мне.
Я не в бреду, и я в своем уме.

19

А хоть в бреду, безгрешен этот бред!
Несчастию не я теперь виною,
И говорить о нем уже не след,—
Умру и тайны этой не открою.
Тут маменька виновница всех бед:
Распорядиться ей хотелось мною.
Я поддалась, всю жизнь свою сгубя.—
Я влюблена давно!» — «В кого?» — «В тебя!»

20

И мы неслись под пламенные звуки,
И — боже мой — как дивно хороша
Она была! и крепко наши руки

Сжимались,— и навстречу к ней душа
Моя неслась в томленьи новой муки.
«И я тебя люблю! — едва дыша,
Я повторял.— Что там людская злоба!
Взгляни в глаза мне: твой,— я твой до гроба!»

21

Что было дальше, трудно говорить
И совестно. Пришлось нам поневоле
С товарищем усерднее ходить
В дом, где бывали редко мы дотоле.
Тот все вином старался угостить;
Пьешь, и душа сжимается от боли,
Да к всенощной спешишь, чтоб как-нибудь
Хоть издали разок еще взглянуть.

22

О сладкий, нам знакомый шорох платья
Любимой женщины, о, как ты мил!
Где б мог ему подобие прибрать я
Из радостей земных? Весь сердца пыл
К нему летит, раскинувши объятья,
Я в нем расцвет какой-то находил.
Но в двадцать лет — как несказанно дорог
Красноречивый, легкий этот шорох!

23

Любить всегда отрадно, но писать —
Такая страсть у любящих к чему же?
Ведь это прямо дело выдавать,
И ничего не выдумаешь хуже.
Казалось бы, ну как не помышлять
О брате, об отце или о муже?
В затмении влюбленные умы —
И ревностно писали тоже мы.

24

Я помню живо: в самый Новый год
Она мне пишет: «Я одна скучаю.
Муж едет в клуб; я выйду из ворот,
Одетая крестьянкою, и к чаю

Приду к тебе. Коль спросит ваш народ,
Вели сказать, что из родного краю
Зашла к тебе кормилицына дочь.
Укутаюсь — и не заметят в ночь».

25

С товарищем переглянулись мы.
Хотя не очень прытки были сами,
Но видим ясно: этой кутерьмы
И бабушка не разведет бобами.
Практические подлинно умы!
Нашли исход: рядиться мужиками!
Голубушка! Я звать ее не мог:
Я не себя — ее я поберег.

26

А время шло. Кто любит так, не знает,
Чего он ждет, чем мысль его кипит.
Спросите вы у дома, что пылает:
Чего он ждет? Не ждет он, а горит,
И темный дым весь искрами мелькнет
Над ним, а он весь пышет и стоит.
Надолго ли огни и искры эти?
Надолго ли? — Надолго ль все на свете?

27

Однажды мы сидели наверху
С товарищем, витая в думах нежных.
Вдруг горничная.— Весь платок в снегу,
Лицо у ней бледнее хлопьев снежных.
«Да что ты?» — «Все пропало! Быть греху;
Все письма отыскал он в нотах прежних,
Да как пошел,— в столах, в шкапах, в трюмо
И в туфлях даже, глядь — сидит письмо.

28

Под крик его и гам тут горьких слез
Из девичьей я слышала немало.
Не треснул ли ее проклятый пес!
Он сам ушел. В испуге написала
Вам тут она.— Не помню, как донес

Меня господь. Ответ я обещала.
Прочтите же; а я пока пойду
И за калиткой стану — подожду».

29

Читаю: «Все проведал этот зверь.
С тобою он стреляться, верно, станет;
И если ты убьешь его теперь —
Тогда, тогда и счастие настанет.
Я верую, ты тоже сердцем верь,
Оно меня, я знаю, не обманет.
Я убегу в деревню за тобой,
И там твоею стану я женой.

30

А послезавтра в восемь приходи
На монастырь и стань там у забора
И на калитку с улицы гляди —
Хоть на часок уйду из-под надзора,—
Стой там в тени и терпеливо жди.
Как восемь станет бить, приду я скоро.
Недаром злые видела я сны!
Но верь ты мне, мы будем спасены».

31

Без опыта, без денег и без сил,
У чьей груди я мог искать спасенья?
Серебряный я кубок свой схватил,
Что подарила мать мне в день рожденья,
И пенковую трубку, что хранил
В чехле, как редкость, полную значенья,
Был и бинокль туда же приобщен
И с репетиром золотой Нортон.

32

Тебе в могилу тихую привет,
Мой старый друг, я, старец, посылаю.
Ты был у нас деканом много лет,
К тебе, бывало, еду и читаю
Я грешные стихи, пускаясь в свет,
И за полночь мы за стаканом чаю

Сидим, вникаем в римского певца...
Тебя любил и чтил я как отца!

33

Зачем всю дрянь к наставнику я вез?
Но лишь вошел, он крикнул мне: «Что с вами?»
Я объяснил как мог, повеся нос,
И вдруг, как мальчик, залился слезами.
Меня он обнял и почти донес
До кресла. Сам он с влажными глазами
И с кроткой речью, полною любви,
Стал унимать рыдания мои.

34

«Спаси ее!» — я только мог твердить.
«Спасти-то нужно вас,— расстроить эту
Безумную попытку. Заложить
Немедленно я прикажу карету...
Инспектора вас в карцер посадить
Я попрошу на месяц по секрету.
Когда своей не жаль вам головы.
То хоть ее-то не губите вы».

35

Давно стою, волнуясь, на часах,
И смотрит ярко месяц с тверди синей,
Спит монастырский двор в его лучах,
С церковных крыш блестит колючий иней.
Удастся ли ей вырваться-то? Ах!
И олуха такого быть рабыней!
На колокольне ровно восемь бьет;
Вот заскрипел слегка снежок... Идет!

36

Откинула покров она с чела,
И месяц светом лик ей обдал чистый.
Уже моих колен ее пола
Касается своей волной пушистой,
И на плечо ко мне она легла,
И разом круг объял меня душистый:
И молодость, и дрожь, и красота,
И в поцелуе замерли уста.

37

И я ворвался в этот мир цветов,
Волшебный мир живых благоуханий,
Горячих слез и уст, речей без слов,
Мир счастия и пылких упований,
Где как во сне таинственный покров
От нас скрывает всю юдоль терзаний.
Нельзя душой и блекнуть и цвести,—
Я в этот миг не мог сказать «прости».

38

А вам не жаль? Чего? — спросить бы надо:
Что был я глуп, или что стал умней?
Какая же за это мне награда?
Бывало, точно, и не спишь ночей,
Но сладок был и самый кубок яда;
Зато теперь чем дальше, тем горчей:
Все те же рельсы и машина та же,
И мчит тебя, как чемодан в багаже.

39

Дня через два хозяйка за столом
Вдруг говорит: «А наши молодые
Уехали — и старики вдвоем
Остались. Он сказал, что там большие
В деревне хлопоты у них. Кругом
Падеж скота, и есть дела другие.
А вы чем сыты, молодой народ,
Что капельки вы не берете в рот?»

40

Затем,— затем настал конец. А вы
Простите, если сказка надоела.
Я скоро сам уехал из Москвы,
И мне писали: Лиза овдовела.
Поздней искал я милостей вдовы,
Но свидеться она не захотела.
Болтали — там... какой-то генерал...
А может быть, кто говорил — соврал.

<1884>

...Пока не умолкнет и не замолчит природа, а любовь не иссякнет в человеческом сердце — не умрут ваши песни и будут служить для людей источником возвышенных и чистых наслаждений.

Из юбилейного приветствия Фету Русского литературного общества, 1889

Часть вторая

Стихи 1850–1890-х годов

•

Страницы прозы и воспоминаний

ИЗ РАССКАЗА «КАКТУС»

...Ровно двадцать пять лет тому назад я служил в гвардии и проживал в отпуску в Москве, на Басманной. В Москве встретился я со старым товарищем и однокашником Аполлоном Григорьевым. Никто не мог знать Григорьева ближе, чем я, знавший его чуть не с отрочества. Это была природа в высшей степени талантливая, искренно преданная тому, что в данную минуту он считал истиной, и художественно-чуткая. Но, к сожалению, он не был, по выражению Дюма-сына, из числа людей *знающих* (des hommes qui savent) в нравственном смысле. Вечно в поисках нового во всем, он постоянно менял убеждения. Это они называют развитием, забывая слово Соломона, что это уже было прежде нас. По крайней мере, он был настолько умен, что не сетовал на то, что ни на каком поприще не мог пустить корней, и говаривал, что ему не суждено проспперировать. В означенный период он был славянофилом и носил не существующий в народе кучерской костюм. Несмотря на палящий зной, он чуть не ежедневно являлся ко мне на Басманную из своего отцовского дома на Полянке. Это огромное расстояние он неизменно проходил пешком и вдобавок с гитарой в руках. Смолоду он учился музыке у Фильда и хорошо играл на фортепьяно, но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. К вечернему чаю ко мне нередко собирались два-три приятеля-энтузиаста, и у нас завязывалась оживленная беседа. Входил Аполлон с гитарой и садился за нескончаемый самовар. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы.

— Спойте, Аполлон Александрович, что-нибудь.

— Спой, в самом деле.— И он не заставлял себя упрашивать.

Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару. Репертуар его был разнообразен, но любимою его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,
С голубыми ты глазами, моя душечка!

Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня;
Любил барин цыганочку,—
Она замуж вышла.

Однажды вечером, сидя у меня один за чайным столом, он пустился в эстетические тонкости вообще и в похвалы цыган в особенности.

— Да,— сказал я.— Цыганской песни никто не споет, как они.

— А почему? — подхватил Григорьев.— Они прирожденные, кровные, а не вымуштрованные музыканты. Да и положение их примадонн часто споспешествует делу. Любовь для певца та же музыка. Эх, брат! — вскрикнул он вдруг, вытирая лоб пестрым платком,— надо показать тебе чудо. Ты знаешь, я часто таскаюсь в Грузины в хор Ивана Васильева. Он мой приятель и отличный человек. Там у них есть цыганочка Стеша. Ты ее не знаешь? Не заметил?

— Где же мне ее было заметить? Я почти нигде не бываю.

— Ну так надо тебе ее увидеть. Во-первых, она — прелесть. Какие глаза и ресницы и, я знаю твою страсть к волосам, какие волосы! Но этого мало. Надо, чтобы ты ее услыхал с глазу на глаз. Бедняжка влюблена в одного гусара. Я его видел. Действительно красавец, каналья. А ты знаешь, как хор ревниво бережет своих примадонн. Тут, брат, идиллиями не возьмешь. Выкупи! — а на это мало охотников. Уж не знаю, как они там путаются. Но, видно, дело не выгорает, а девочка-то врезалась. После обеда хор-то разойдется отдыхать, а она возьмет гитару, да сядет под окошечко,— словно кого поджидает. Запоет,

и слезы градом. Тут нередко Иван Васильев подойдет и вполголоса ей вторит. Жалко, что ль, ему ее станет, или уж очень забористо она поет, только, поглядишь, он тут как тут. Вот как бы тебя подвести под эту штуку, ты бы узнал, как поют. Поэзия — да и только! Да вот, чем откладывать, я завтра к тебе приду в двенадцать часов, в час мы поедем. Ведь ваша братия кавалеристы плохие ходоки.

— Да как же, любезный друг, я-то вотрусь? Ведь она при мне и петь не станет.

— Ну, это я как-нибудь оборудую. Едем, что ль?

— Хорошо, приходи.

На другой день хотел было я велеть запрячь свою скромную пролетку, но подумал: Григорьев без гитары не придет. Убеждать его — дело напрасное. А куда я в мундире поеду через всю Москву с каким-то не то кучером, не то торбанистом, что подумает плац-адъютант? Я велел нанять извозчичью карету. В двенадцать часов вошел Григорьев с гитарой, в поддевке, в плисовых шароварах в сапоги, словом, во всей форме.

— Что ж это мы в карете? — спросил он.

Я сослался на зубную боль, которою, в добрый час молвить, во всю жизнь не страдал. Однако он догадался, и начались препирания.

Тем не менее мы доехали до Грузин и бросили карету невдалеке от цыган. Григорьев быстро зашагал звонить, а я подоспел вовремя, когда дверь отворили.

В передней уже слышалось бряцание гитары и два голоса.

— Это она,— шепнул Григорьев и вошел в залу. Я за ним.

— Здравствуйте, Стеша! — сказал он, протягивая руку сидящей у окна девушке с гитарой.— Здравствуй, Иван Васильевич! Продолжайте, я вам не помеха.

Но девушка, ответив на его рукопожатие, бросила недоверчивый взгляд в мою сторону и, положа гитару на стол, быстро пошла к двери, ведущей во внутренние покои. Григорьев так же быстро заступил ей дорогу и схватил ее за рукав.

— Куда вы? Что за вздор? Ну, не хотите петь, не пойте. Что ж из себя дикую птицу корчить? Для кого? Иван Васильевич, да уговори ее посидеть с нами! Я пришел ее, дорогую, проведать, а она вон. Ну, садитесь, садитесь, моя хорошая,— говорил он, подводя ее на прежнее место.

Начался разговор про разные семейные отношения членов хора, в продолжение которого Григорьев, между речами, под сурдинкой наигрывал разные мотивы. В течение всей этой сцены я, чтобы скрыть свое неловкое положение, пристально рассматривал в окно упряжку стоявшего по другую сторону улицы извозчика, словно собирался ее купить.

— Присядьте,— сказал мне подошедший Иван Васильевич.

Я сел.

— Ты об нем не беспокойся,— сказал Григорьев,— он, братец, не по нашей музыкальной части. Его дело лошади. Он, пока мы поболтаем, пусть себе посидит да покурит.

Я махнул отчаянно рукой и снова обернул голову к окну изучать извозчика. Между тем Григорьев, наигрывая все громче и громче, стал подпевать. Мало-помалу сам он входил в пассию, а как дошел до своей любимой:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня;
Любил барин цыганочку,—
Она замуж вышла,—

очевидно, забыл и цель нашего посещения и до того загорелся пением, что невольно увлекал и других. Когда он хлестко запел:

В село красно стегонула,
Эх — стегонула,
Моя дорогая,—

ему уже вторил бархатный баритон Ивана Васильева. Вскоре, сперва слабо, а затем все смелее, стал проникать в пение серебристый сопрано Стеши.

— Эх, господи! Да что же я тут вам мешаю,— воскликнул Григорьев.— Мне так не сыграть, а не то чтобы спеть. Голубушка Стеша, спойте что-нибудь,— прибавил он, подавая ей ее гитару.

Она уже без возражений запела, поддерживаемая по временам Иваном Васильевым. Слегка откинув свою оригинальную, детски задумчивую головку на действительно тяжеловесную с отливом воронова крыла косу, она вся унеслась в свои песни. Уверенный, что теперь она не обратит на меня ни малейшего внимания, я придвинул свой стул настолько, что мог видеть ее почти в профиль,

тогда как до сих пор мог любоваться только ее затылком. Когда она запела:

Вспомни, вспомни, мой любезный,
Нашу прежнюю любовь,—

чуть заметная слезинка сверкнула на ее темной реснице. Сколько неги, сколько грусти и красоты было в ее пении! Но вот она взяла несколько аккордов и запела песню, которую я только в первой молодости слыхивал у московских цыган, так как современные петь ее не решались. Песня эта, не выносящая посредственной певицы, известная:

«Слышишь ли, разумеешь ли...»

Стеша не только запела ее мастерски, но и расположила куплеты так, что только с тех пор самая песня стала для меня понятна, как высокий образчик народной поэзии. Она спела так:

Ах, ты злодей, ты злодей,
Добрый молодец.
Во моем ли саду
Соловей поет,
Громко свищет.
Слышишь ли,
Мой сердечный друг?
Разумеешь ли
Жизнь, душа моя?

Песня исполнена всевозможных переливов, управляемых минутным вдохновением. Я жадно смотрел на ее лицо, отражавшее всю охватившую ее страсть. При последних стихах слезы градом побежали по ее щеке. Я не выдержал, вскочил со стула, закричал: браво! браво! и в ту же минуту опомнился. Но уже было поздно. Стеша, как испуганная птичка, упорхнула.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1850—1890-х ГОДОВ

* * *

Весна и ночь покрыли дол,
Душа бежит во мрак бессонный,
И внятно слышен ей глагол
Стихийной жизни, отрешенной.
И неземное бытиё
Свой разговор ведет с душою
И веет прямо на нее
Своею вечною струею.
Но вот заря! Бледнеет тень,
Туман волнуется и тает,—
И встретить очевидный день
Душа с восторгом вылетает.

1856 или 1857 (?)

* * *

Я был опять в саду твоем,
И увела меня аллея
Туда, где мы весной вдвоем
Бродили, говорить не смея.

Ка́к сердце робкое влекло
Излить надежду, страх и пени,—
А юный лист тогда назло
Нам посылал так мало тени.

Теперь и тень в саду темна
И трав сильней благоуханье;
Зато какая тишина,
Какое томное молчанье!

Один зарею соловей,
Таясь во мраке, робко свищет,
И под навесами ветвей
Напрасно взор кого-то ищет.

Июнь 1857

ОТВЕТ СТАРОГО ПОЭТА

на 37 году от роду

Не поноси Замоскворечья,
Еще ты мало с ним знаком.
Не наноси ему увечья
Своим зловредным языком.

Декабрь 1857

* * *

Твоя старушка мать могла
Быть нашим вечером довольна:
Давно она уж не была
Так зло-умно-многоглагольна.

Когда же взор ее сверкал,
Скользя по нас среди рассказа,
Он с каждой стороны встречал
Два к ней лишь обращенных глаза.

Ковра большого по углам
Сидели мы друг к другу боком,
Внемля насмешливым речам,—
А речи те лились потоком.

Восторгом полные живым,
Мы непритворно улыбались
И над чепцом ее большим
Глазами в зеркале встречались.

<1859>

ПЕВИЦЕ

Уноси мое сердце в звенящую даль,
Где как месяц за рощей печаль;
В этих звуках на жаркие слезы твои
Кротко светит улыбка любви.

О дитя! как легко средь незримых зыбей
Доверяться мне песне твоей:
Выше, выше плыву серебристым путем,
Будто шаткая тень за крылом.

Вдалеке замирает твой голос, горя,
Словно за морем ночью заря,—
И откуда-то вдруг, я понять не могу,
Грянет звонкий прилив жемчугу.

Уноси ж мое сердце в звенящую даль,
Где кротка, как улыбка, печаль,
И всё выше помчусь серебристым путем
Я, как шаткая тень за крылом.

<1857>

БАЛ

Когда трепещут эти звуки
И дразнит ноющий смычок,
Слагая на коленях руки,
Сажусь в забытый уголок.

И, как зари румянец дальный
Иль дней былых немая речь,
Меня пленяет вихорь бальный
И шевелит мерцанье свеч.

О, как, ничем неукротимо,
Уносит к юности былой
Вблизи порхающее мимо
Круженье пары молодой!

Чего хочу? Иль, может статься,
Бывалой жизнию дыша,
В чужой восторг переселяться
Заране учится душа?

<1857>

ANRUF AN DIE GELIEBTE *

Бетховена

Пойми хоть раз тоскливое признанье,
Хоть раз услышь души молящей стон!
Я пред тобой, прекрасное созданье,
Безвестных сил дыханьем окрылен.

Я образ твой ловлю перед разлукой,
Я, полон им, и млею, и дрожу,
И, без тебя томясь предсмертной мукой,
Своей тоской, как счастьем, дорожу.

Ею пою, во прах упасть готовый.
Ты предо мной стоишь как божество —
И я блажен; я в каждой муке новой
Твоей красы провижу торжество.

<1857>

* * *

Ярким солнцем в лесу пламенеет костер,
И, сжимаясь, трещит можжевельник;
Точно пьяных гигантов столпившийся хор,
Раскрасневшись, шатается ельник.

Я и думать забыл про холодную ночь,—
До костей и до сердца прогрело;
Что смущало, колеблясь умчалося прочь,
Будто искры в дыму улетело.

Пусть на зорьке, всё ниже спускаясь, дымок
Над золою замрет сиротливо;
Долго-долго, до поздней поры, огонек
Будет теплиться скупо, лениво.

И лениво и скупо мерцающий день
Ничего не укажет в тумане;
У холодной золы изогнувшийся пень
Прочернеет один на поляне.

Но нахмурится ночь — разгорится костер,
И, виясь, затрещит можжевельник,

---

* Призыв к любимой *(нем.)*.— *Ред.*

И, как пьяных гигантов столпившийся хор,
Покраснев, зашатается ельник.

<1859>

ГРЕЗЫ

Мне снился сон, что сплю я непробудно,
Что умер я и в грезы погружен;
И на меня ласкательно и чудно
Надежды тень навеял этот сон.

Я счастья жду, какого — сам не знаю.
Вдруг колокол — и всё уяснено;
И, просияв душой, я понимаю,
Что счастье в этих звуках.— Вот оно!

И звуки те прозрачнее, и чище,
И радостней всех голосов земли;
И чувствую — на дальнее кладбище
Меня под них, качая, понесли.

В груди восторг и сдавленная мука,
Хочу привстать, хоть раз еще вздохнуть
И, на волне ликующего звука
Умчася вдаль, во мраке потонуть.

<1859>

Ю. Б. ШУМАХЕР

Среди фиалок, в царстве роз
Примите искренний поклон;
А нас московский наш мороз
Не выпускает на балкон.

Один другому не указ,
Пусть каждый изберет свое,—
Кому Плющиха в самый раз,
Кому так жутко в Монтерё.

Между 1881 и 1886

* * *

С бородою седою верховный я жрец,
На тебя возложу я душистый венец,
И нетленною солью горящих речей
Я осыплю невинную роскошь кудрей.
Эту детскую грудь рассеку я потом
Вдохновенного слова звенящим мечом,
И раскроет потомку минувшего мгла,
Что на свете всех чище ты сердцем была.

<1884>

Т. А. КУЗМИНСКОЙ

при посылке портрета

Пускай мой старческий портрет
Вам повторяет, что уж нет
Во мне безумства прежней силы,
Но что цветете вы душой,
Цветете тонкою красой
И что по-прежнему вы милы.

12 февраля 1886

* * *

Если радует утро тебя,
Если в пышную веришь примету,—
Хоть на время, на миг полюбя,
Подари эту розу поэту.

Хоть полюбишь кого, хоть снесешь
Не одну ты житейскую гро́зу,—
Но в стихе умиленном найдешь
Эту вечно душистую розу.

10 января 1887

* * *

Как богат я в безумных стихах!
Этот блеск мне отраден и нужен:
Все алмазы мои в небесах,
Все росинки под ними жемчужин.

Выходи, красота, не робей!
Звуки есть, дорогие есть краски:
Это всё я, поэт-чародей,
Расточу за мгновение ласки.

Но когда ты приколешь цветок,
Шаловливо иль с думой лукавой,
И, как в дымке, твой кроткий зрачок
Загорится сердечной отравой,

И налет молодого стыда
Чуть ланиты овеет зарею,—
О, как беден, как жалок тогда,
Как беспомощен я пред тобою!

1 февраля 1887

* * *

Полуразрушенный, полужилец могилы,
О таинствах любви зачем ты нам поешь?
Зачем, куда тебя домчать не могут силы,
Как дерзкий юноша, один ты нас зовешь?

— Томлюся и пою. Ты слушаешь и млеешь;
В напевах старческих твой юный дух живет.
Так в хоре молодом: *Ах, слышишь, разумеешь!* —
Цыганка старая одна еще поет.

4 января 1888

* * *

Только что спрячется солнце,
Неба затеплив красу,
Тихо к тебе под оконце
Песню свою принесу.

Чистой и вольной душою,
Ясной и свежей, как ночь,
Смейся над песнью больною,
Прочь отгоняй ее, прочь!

Как бы за легким вниманьем
В вольное сердце дотоль

Вслед за живым состраданьем
Та же не вкралася боль!

14 января 1888

РАКЕТА

Горел напрасно я душой,
Не озаряя ночи черной:
Я лишь вознесся пред тобой
Стезею шумной и проворной.

Лечу на смерть вослед мечте.
Знать, мой удел — лелеять грезы
И там со вздохом в высоте
Рассыпать огненные слезы.

24 января 1888

* * *

Упреком, жалостью внушенным,
Не растравляй души больной;
Позволь коленопреклоненным
Мне оставаться пред тобой!

Горя над суетной землею,
Ты милосердно разреши
Мне упиваться чистотою
И красотой твоей души.

Глядеть, каким прозрачным светом
Окружена ты на земле,
Как божий мир при свете этом
В голубоватой тонет мгле!

О, я блажен среди страданий!
Как рад, себя и мир забыв,
Я подступающих рыданий
Горячий сдерживать прилив!

31 января 1888

АЛМАЗ

Не украшать чело царицы,
Не резать твердое стекло,
Те разноцветные зарницы
Ты рассыпаешь так светло.

Нет! В переменах жизни тленной
Среди явлений пестрых — ты
Всё лучезарный, неизменный
Хранитель вечной чистоты.

9 февраля 1888

* * *

Как трудно повторять живую красоту
Твоих воздушных очертаний;
Где силы у меня схватить их на лету
Средь непрестанных колебаний?

Когда из-под ресниц пушистых на меня
Блеснут глаза с просветом ласки,
Где кистью трепетной я наберу огня?
Где я возьму небесной краски?

В усердных поисках все кажется: вот-вот
Приемлет тайна лик знакомый,—
Но сердца бедного кончается полет
Одной бессильною истомой.

26 февраля 1888

* * *

От огней, от толпы беспощадной
Незаметно бежали мы прочь;
Лишь вдвоем мы в тени здесь прохладной,
Третья с нами лазурная ночь.

Сердце робкое бьется тревожно,
Жаждет счастье и дать и хранить;
От людей утаиться возможно,
Но от звезд ничего не сокрыть,

И безмолвна, кротка, серебриста,
Эта полночь за дымкой сквозной
Видит только, что́ вечно и чисто,
Что́ навеяно ею самой.

7 февраля 1889

* * *

Роями поднялись крылатые мечты
В весне кругом себя искать душистой пищи,
Но на закате дня к себе, царица, ты
Их соберешь ко сну в таинственном жилище.

А завтра на заре вновь крылья зажужжат,
Чтобы к незримому, к безвестному стремиться:
Где за ночь расцвело, где первый аромат —
Туда перенестись и в пышной неге скрыться.

17 февраля 1889

НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МУЗЫ

Нас отпевают. В этот день
Никто не подойдет с хулою:
Всяк благосклонною хвалою
Немую провожает тень.

Ка́к лик усопшего светить
Душою лучшей начинает!
Не то, чем был он, проступает,
А только то, чем мог он быть.

Живым карать и награждать,
А нам у гробового входа,
О муза,— нам велит природа,
Навек смиряяся, молчать.

20 декабря 1888

НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МУЗЫ

29 января 1889 года

На утре дней всё ярче и чудесней
Мечты и сны в груди моей росли,
И песен рой вослед за первой песней
Мой тайный пыл на волю понесли.

И трепетным от счастия и муки
Хотелось птичкам божиим моим,
Чтоб где-нибудь их налетели звуки
На чуткий слух, внимать готовый им.

Полвека ждал друзей я этих песен,
Гадал о тех, кто им живой приют;
О, как мой день сегодняшний чудесен! —
Со всех сторон те песни мне несут.

Тут нет чужих, тут всё родной и кровный!
Тут нет врагов, кругом одни друзья! —
И всей душой за ваш привет любовный
К своей груди вас прижимаю я!..

14 января 1889

QUASI UNA FANTASIA *

Сновиденье,
Пробужденье,
Тает мгла.
Как весною,
Надо мною
Высь светла.

Неизбежно,
Страстно, нежно
Уповать,
Без усилий
С плеском крылий
Залетать

В мир стремлений,
Преклонений

* Вроде фантазии *(ит.)*.— *Ред.*

И молитв;
Радость чуя,
Не хочу я
Ваших битв.

31 декабря 1889

* * *

Что молчишь? Иль не видишь — горю,
Всё равно — отстрани хоть, приветь ли,
Я тебе о любви говорю,
А вязанья считаешь ты петли.

Отчего же сомненье свое
Не гасить мне в неведенье этом?
Отчего же молчанье твое
Не наполнить мне радужным светом?

Может быть, я при нем рассмотрю,
В нем отрадного, робкого нет ли...
Хоть тебе о любви говорю,
А вязанья считаешь ты петли.

11 ноября 1890

* * *

Из тонких линий идеала,
Из детских очерков чела
Ты ничего не потеряла,
Но все ты вдруг приобрела.

Твой взор открытей и бесстрашней,
Хотя душа твоя тиха;
Но в нем сияет рай вчерашний
И соучастница греха.

11 ноября 1890

* * *

Если б в сердце тебя я не грел, не ласкал,
Ни за что б я тебе этих слов не сказал;
Я боялся б тебя возмутить, оскорбить
И последнюю искру в тебе погасить.

Или воли не хватит смотреть и страдать?
Я бы мог еще долго и долго молчать,—
Но, начав говорить о другом,— я солгу,
А глядеть на тебя я и лгать — не могу.

18 января 1891

ПОЧЕМУ?

Почему, как сидишь озаренной,
Над работой пробор наклоня,
Мне сдается, что круг благовонный
Все к тебе приближает меня?

Почему светлой речи значенья
Я с таким затрудненьем ищу?
Почему и простые реченья
Словно томную тайну шепчу?

Почему как горячее жало
Чуть заметно впивается в грудь?
Почему мне так воздуху мало,
Что хотел бы глубоко вздохнуть?

3 декабря 1891

* * *

Не отнеси к холодному бесстрастью,
Что на тебя безмолвно я гляжу;
Ступенями к томительному счастью
Не меньше я, чем счастьем, дорожу.

С собой самим мне сладко лицемерить,
Хоть я давно забыл о всем ином,
И верится, и не хочу я верить,
Что нет преград, что мы одни вдвоем.

Мой поцелуй, и пламенный и чистый,
Не вдруг спешит к устам или щеке;
Жужжанье пчел над яблонью душистой
Отрадней мне замолкнувших в цветке.

15 февраля 1892

* * *

Не могу я слышать этой птички,
Чтобы тотчас сердцем не вспорхнуть;
Не могу, наперекор привычке,
Как войдешь,— хоть молча не вздохнуть.

Ты не вспыхнешь, ты не побледнеешь,
Взоры полны тихого огня;
Больно видеть мне, как ты умеешь
Не видать и не слыхать меня.

Я тебя невольно беспокою,
Торжество должна ты искупить:
На заре без туч нельзя такою
Молодой и лучезарной быть!

16 февраля 1892

ИЗ КНИГИ «МОИ ВОСПОМИНАНИЯ»

<...> Но вот наконец мы в Москве на Тверской, в бывшей гостинице Шевалдышева. Знаменитый психиатр Вас. Фед. Саблер оказался по отношению к бедной Наде не только искусным врачом, но и любящим отцом. Осмотрев больную, он посоветовал сдать ее на Басманную, в заведение Вас. Ив. Красовского, обещав лично следить за ходом лечения. Поместив больную у Красовского, я тут же через два дома нанял довольно удобную квартиру, куда ко мне в скором времени приехал и Иван Петрович Борисов, продолжавший и в Москве страдать неотвязной малоазиатской лихорадкой. Посещал его и истощал над ним все свое искусство знаменитый Александр Иванович Овер. Чего-чего не заставлял он глотать бедного Борисова, и все понапрасну. И вот, как воспитывавшиеся на той же голубятне и разогнанные житейскими бурями в разные стороны голуби, мы с помятыми крыльями снова собрались под один и тот же карниз, грустно бормоча о днях, давно минувших.

За двенадцать лет, проведенных мною вне Москвы, все мои добрые знакомые, и литературные и не литературные, из нее исчезли. Калайдовичей, Глинок, Павловых, семейства Герцена, прелестной четы Полуденских — в Москве более не было: они невозвратно исчезли. Захотелось мне наведаться, не застану ли я по-прежнему на Маросейке В. П. Боткина — во флигеле, памятном столь многим литераторам, во флигеле, куда меня ввел покойный Ник. Ант. Ратынский, когда мы оба еще были студентами, и где я в первый раз увидал Ал. Ив. Герцена. Я знал, что В. П. Боткина, живущего то в Петербурге, то за границей, застать дома трудно. Но на этот раз мне посчастливилось, и мы встретились как давнишние хорошие приятели. Во время óно я часто бывал у Василия Петровича во флигеле, но ни разу не бывал в большом боткинском доме. Будучи на этот раз в духе, Василий

Петрович объяснил мне, что, согласно завещанию покойного их отца, он состоит одним из четырех членов Боткинской фирмы и таким образом одним из хозяев дома. Покойный П. К. Боткин, оставивший по смерти своей дела в порядке и далеко не огромный капитал, с необыкновенным тактом, оправдавшимся впоследствии, безобидно для всех членов семьи, из числа девяти сыновей назначил членами фирмы только четырех: двух от первого и двух от второго брака. Сочувственно выслушав и о моих семейных невзгодах, Василий Петрович, узнав, что у меня никого не осталось в Москве знакомых, пригласил меня в тот же день к семейному обеду. Изо всех членов фирмы наиболее очевидными представителями дома явились меньшой брат Петр с своею женою. Кроме этого, к столу явились: младшая сестра Боткиных Марья Петровна и двоюродная их сестра, весьма характерная и красивая брюнетка. Даже самый ненаблюдательный человек не мог бы не заметить того влияния, которое Василий Петрович незримо производил на всех окружающих. Заметно было, что насколько все покорялись его нравственному авторитету, настолько же старались избежать резких его замечаний, на которые он так же мало скупился в кругу родных, как и в кругу друзей. Кроме того, все только весьма недавно испытали его педагогическое влияние, так как, влияя, в свою очередь, и на покойного отца своего, Василий Петрович младших братьев провел через университет, а сестрам нанимал на собственный счет учителей по предметам, знание которых считал необходимым. Быть может, желание угодить Василию Петровичу, представившему меня в качестве старинного своего приятеля, было отчасти причиною любезности, с которою отнеслись ко мне все члены семейства, прося меня во всякое время приходить запросто к обеденному столу.

Наступила Страстная неделя, и Боткины пригласили меня к пасхальной заутрене и к разговлению. Вследствие такого приглашения я отправился с вечера отдохнуть во флигель Василия Петровича, приказав слуге принести мне полную форму и три заказанных букета цветов. Василий Петрович, невзирая на свой скептицизм, с восторгом выстаивал торжественную службу Светлого воскресения. Действительно, при ярком внутреннем и наружном освещении богатой московской церкви и дорогом хоре певчих служба отличалась полной торжественностью. Затем все отправились к пасхальному столу, на котором стояли перед дамами поднесенные мною букеты.

Памятна мне во всех подробностях небольшая сцена на другой или третий день праздников, о которой не могу и поныне вспомнить без улыбки. Между залой с накрытым обеденным столом и гостиной — в небольшой диванной была приготовлена закуска, к которой приглашали гостей. Помню, что через залу прошел Аполлон Григорьев в новой с иголочки черной венгерке со шнурами, басоном и костыльками, напоминавшей боярский кафтан. На ногах у него были ярко вычищенные сапоги с высокими голенищами, вырезанными под коленями сердечком. Когда Григорьев, в свою очередь, ушел в дверь диванной, чтобы раскланяться с хозяйкой, сидевшая в конце залы на паркете годовая девочка, дочь хозяйки дома, вдруг поднялась на ножки и, смотря вслед Григорьеву, закивала головой, подымая правую ручонку ко лбу.

— Посмотрите, посмотрите! — смеясь, воскликнул Василий Петрович.— Надя-то молится вслед Григорьеву, она сочла его за священника. Действительно,— продолжал Василий Петрович,— такие сапоги носит старое купечество, хотя в них, собственно, ничего нет русского. Это принадлежность костюма восемнадцатого века, и консерватизм выражается верностью старинной моде. То, что было когда-то знаменем неудержимого франтовства, стало теперь эмблемою степенства.

В подтверждение справедливого замечания Василия Петровича я вспомнил франтоватых молодых гостей, приезжавших к нам в Новоселки в двадцатых годах, именно в высоких сапогах, в каких изображают Александра Первого.

Не дожидаясь конца Святой недели, Василий Петрович быстро собрался и уехал за границу, еще раз поручив меня вниманию своего семейства. «Чем в одиночестве-то скучать,— говорил он мне,— отчего вам не приходить в дом, где вам все рады».

По большому числу членов семейства, достигших зрелости, боткинский дом в ту пору можно было сравнить с большим комодом, вмещающим отдельные закоулки и ящички. Одним из таких закоулков были три комнаты на антресолях, занимаемые Марьей Петровной и ее роялем. Туда к ней собирались в известные дни знакомые ей девицы, большею частию миловидные, между которыми дочь доктора Шереметьевской больницы Ида Шлейхер, блондинка с голубыми глазами, отличалась чрезвычайно нежной красотой. Понятно, что сначала молодые братья Марии Петровны, снискав дружбу прекрасных посети-

тельниц, проникли в гостиную молодой хозяйки, обзывая ее собрания «букетом»,— а вслед за тем пробралась в эти собрания и близко знакомая в доме молодежь. Обычным угощением в этих случаях бывал чай; но иногда, когда долго засиживались, посылали в кухню за ужином, а самый пылкий из молодых братьев, оставшийся навсегда энтузиастом изящного, Дмитрий Петрович угощал ужинающих шампанским.

После одного из таких импровизированных ужинов, на котором случился и я, прелестная Идочка, как ее все называли, выразила опасение по поводу поздней поры и ночного, вешнего холода. Так как у меня была из Новоселок пролетка и знакомая уже нам Звездочка, то я и решился предложить прелестной девушке бережно доставить ее к звонку родительского крыльца. Надо было видеть, с какою ловкостью и заботой Дмитрий Петрович укутывал девушку в большой плед от ночного холода.

Бедный мой Борисов, остававшийся в одиночестве, поневоле иногда спрашивал меня, где я пропадаю, и, слыша фамилию одного и того же дома, очевидно нападал на мысли, не приходившие мне самому в голову. Однажды, увидав на мне небольшие дамские часы, он спросил:

— Откуда у тебя эти часы?

Пришлось рассказывать, как, опоздав несколькими минутами к обеду Боткиных, я вынужден был извиниться неимением часов, отданных в починку.

— У меня двое часов,— сказала Марья Петровна,— и я без малейшего затруднения могу вас снабдить одними, пока ваши не вернутся от часовщика.

Я стал отнекиваться, но скоро сообразив, что такое одолжение ни к чему не обязывает, с благодарностью его принял.

Чем более по временам я встречал сторонних гостей в доме Боткиных, тем уединеннее, то есть свободнее оказывались поневоле наши беседы с девицей Боткиной. Несмотря на то, что во внешнем нашем положении не было ни малейшего сходства, наше внутреннее заключало в себе много невольно сближающего. Покойный П. К. Боткин по принципу выдавал своим дочерям самое незначительное приданое. Тем не менее две старшие дочери от первого брака, а равно и две от второго были уже замужем, и только предпоследняя Марья оставалась в доме. Как бы чувствуя ее одиночество, строгий отец завещал

ей одной, не в пример другим, несколько большее обеспечение.

Исключительное и сиротливое положение девушки вполне соответствовало моему собственному. И мои сестры и братья, за исключением бедной Нади, были пристроены и стояли на твердой почве, тогда как под моими ногами почва все еще сильно колебалась, и в самое последнее время жизненный челнок мой, нашедший было скромный приют у родимого Новосельского берега, снова был от него отторгнут болезнью сестры.

Однажды, когда мы с Марьей Петровной взапуски жаловались на тяжесть нравственного одиночества, мне показалось, что предложение мое прекратить это одиночество не будет отвергнуто. К этому времени отыскал меня приехавший в Москву и остановившийся на Кузнецком мосту в гостинице «Россия» зять мой Александр Никитич Шеншин, который скуки ради привез с собой старуху Веру Алексеевну, носившую меня и всех моих братьев и сестер когда-то на руках. Старуха жаловалась мне, что кормивший ее всякого рода московскими сластями Александр Никитич в то же время колол ими ей глаза, на что Александр Никитич серьезно восклицал:

— Да как же мне ее не ругать? Сегодня утром полфунта колбасы и два калача съела. Этакая утроба ненасытная!

Еще не придя к окончательному, внутреннему решению, я вкратце изложил все обстоятельства моего сближения с Боткиными Александру Никитичу, не лишенному, невзирая на недостатки школьного образования, здравого смысла. Когда между прочим я спросил его, не следует ли мне списаться с родными в случае окончательного моего решения на брак, Александр Никитич сказал: «Кабы ты ожидал при этом от них какой особенной помощи, то я бы понял, почему ты ищешь их совета. А в настоящем случае ты лучше всякого знаешь, что тебе более подходяще. Тебя никто не спрашивал в подобных случаях; нечего и тебе беспокоиться».

Между тем в доме Боткиных я узнал, что Марья Петровна на днях уезжает за границу, сопровождая больную замужнюю сестру, которую московские доктора отправляли на воды. По всем обстоятельствам дальнейшее колебание становилось невозможным. И однажды, когда мы, ходя по маросейской зале, в виду ощущаемой возможности избавиться от нравственной бесприютности и одиночества, невольно стали на них жаловаться,— я ре-

шился спросить, нельзя ли нам помочь друг другу, вступая в союз, способный вполне вознаградить человека за все стороннее безучастие. Хотя такой прямой вопрос и ставил Марью Петровну, за отсутствием Василия Петровича, в очевидное затруднение, тем не менее она безотлагательно приняла мое предложение, чистосердечно объявив, что у нее ничего нет, за исключением небольшого капитала. Хотя у меня приблизительно было столько же, но так как все это было разбросано по разным рукам и, что еще хуже, по родственным, то я, во избежание могущих встретиться разочарований, объяснил наотрез, что у меня ничего нет. Таким образом, не объявляя никому ничего в доме, мы дали друг другу слово и порешили отложить свадьбу до сентября, то есть до возвращения невесты из-за границы.

По временам и грустная наша квартира с Борисовым благодушно оживала. Такому оживлению много способствовал умный, талантливый и пылкий энтузиаст, давнишний мой приятель, Ст. Ст. Громека, бывший в то время начальником жандармского дивизиона Николаевской дороги. Он сам когда-то во время óно писал стихи и был до болезненности чуток на все эстетическое. Сюда же весьма часто из-за Москвы-реки хаживал Ап. Григорьев. И когда, бывало, эти два энтузиаста — Громека и Григорьев — сойдутся за вечерним чаем, наше скромное обиталище превращается в Геликон. Григорьев, несмотря на бедный голосок, доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы. Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару.

Говоря о цыганских и русских песнях вообще, Григорьев однажды с величайшим энтузиазмом стал рассказывать о двух вольноотпущенных гитаристах, играющих в одном погребке в Сокольниках. «Это несомненные таланты! — восклицал Григорьев.— И надо непременно зазвать Дмитрия Петровича Боткина, так как он в душе музыкант, и я обещаю ему величайшее наслаждение».

В назначенный день Громека, Григорьев и Боткин собрались у нас, и помнится, что и бедный Борисов, так как день был не лихорадочный, присоединился к нашей экскурсии.

К ужасу моему, я увидел, что погребок, к которому вез нас Григорьев, оказывался в переулке как раз про-

тив сада дачи, занимаемой Катковым и Леонтьевым, где я не раз бывал у них. Конечно, мы старались проскользнуть в погребок, о котором не имели даже определенного понятия.

Из первой комнаты с полками, установленными бутылками с винами и ликерами, мы вошли в довольно просторную и весьма чистую комнату, соединенную драпированной аркой с весьма опрятной гостиной, в которой поместились у овального стола на диване и на креслах. По распоряжению Григорьева нам подали салатник со льдом, стаканы и бутылку «Редерера»; а в комнату вошли два человека средних лет и весьма похожие друг на друга и наружностью и серенькими суконными сюртуками. Поставив рядом два табурета по правую сторону арки, они начали строить свои гитары. По одной уже чистоте звуков, которой добивались они от своих гитар, можно было ожидать от них мастерства. И действительно, трудно было с бо́льшим навыком, играя первую и вторую гитару, с бо́льшей гармонией и блеском выводить русскую песню из ее задушевного напева на свет божий. Григорьев торжествовал, чувствуя одержанную над всеми нами полную победу. Сколько раз впоследствии слушателям этого импровизированного концерта приходилось с восторгом вспомнить о нем!

Говоря о литераторах, с которыми судьба сводила меня в жизни, не могу не сказать о знакомстве с знаменитою в то время графиней Ростопчиной, объявившей мне через общего нашего знакомого, что она просит меня побывать у нее. Портрет, приложенный к петербургскому изданию 1856 года, весьма верно воспроизводит черты графини, какою я нашел ее в собственном ее доме на Басманной, весьма недалеко от занимаемой мною квартиры. По природе светская и приветливая, она и со мною была чрезвычайно любезна, и я раза два воспользовался ее приглашением. Так как она предполагала полное мое знакомство с ее лирическими стихотворениями, то читала мне вслух только вторую часть «Горя от ума», написанную стихами, старавшимися, очевидно, подражать грибоедовским. При этом в разговоре она говорила наизусть какой-либо стих и затем спрашивал меня: «Из какого это «Горе от ума»?: из грибоедовского или из моего?»

Позднее, в перечне сочинений гр. Ростопчиной у Гербеля, я не нашел ее «Горя от ума» и не могу сказать, было ли оно напечатано. Помню только, что острие сатиры

было обращено на учителей, врывающихся в дома в качестве женихов.

Жребий был брошен, и жизнь моя круто поворачивала по новому руслу, изменяя прежнее течение. Я тотчас же подал в бессрочный отпуск и занялся приготовлением обстановки новой жизни. Зная крайнюю ограниченность совокупных наших будущих средств, я должен был разрешить трудную задачу достижения наибольшего результата при наименьших издержках. Долго искал я подходящей квартиры и, наконец, нашел за Москвою-рекою на Полянке целый просторный и, можно сказать, великолепный бельэтаж, требовавший, правда, некоторых поправок, половину которых я принял на свой счет. Вспоминаю о баснословно сходной цене найма, какой, конечно, уже не повторится. Я уверен, что в настоящее время бывшая квартира наша, с экипажным сараем и конюшней на четыре стойла и ледником, отдается не менее двух тысяч рублей, тогда как я нанимал ее за 350 рублей! К небольшой четвероместной карете я купил пару воейковских вороных лошадей, заказал мебель и завел то, что обыкновенно называют: «и ложку и плошку».

В то время как в нанятой мною квартире переламывали и переделывали печи, подновляли потолки и оклеивали стены,— в доме Боткиных, до которых из-за границы дошли положительные известия о предстоящем замужестве их сестры, тоже затевалась ломка на опустевших антресолях; и мне, не дожидаясь свадьбы, пришлось забирать и перевозить к себе рояль и мебель моей невесты.

При разнообразных и мелочных заботах устройства нового гнезда время шло незаметно. Но по мере того как все приходило к желанному окончанию, скука давала себя чувствовать.

Борисов снова уехал в свое Фатьяново, а я, чтобы находиться, так сказать, в центре дела, занял в просторной и пустынной квартире новый диван в своем кабинете.

Однажды, в минуту одолевавшей меня скуки, я отправился на Девичье поле к бывшему моему воспитателю, глубоко мною чтимому М. П. Погодину. Услыхавши от меня имя Боткиных, из которых знал только двух старших братьев: писателя Василия и красавца туриста Николая,— Михаил Петрович, зная, что оба эти Боткины в разводе с женами, усмехнувшись, сказал мне: «В добрый час! Люди хорошие, но уж по супружеской части приме-

ра с них не берите. В этом случае точно про них сказано: «живут не люди, умрут не родители».

— Теперь, Михаил Петрович,— сказал я,— вы знаете все дело и всю материальную мою обстановку. Если частая переписка с невестой сблизила нас еще более прежнего, то понятно мое нетерпение увидеть невесту и сократить срок до свадьбы, отлагаемый только в силу окончания курса лечения больной. К этому привходит еще и то, что брачные расходы на чужой стороне можно уменьшить до того, что, сэкономив на этом предмете, можно возместить расходы заграничной поездки. В нерешительности прибегаю к вам, Михаил Петрович, и прошу дать мне совет.

— Если вы чувствуете,— отвечал Погодин,— что предстоящая поездка ваша в состоянии *сдобить* вашу новую жизнь, то не стесняйтесь и поезжайте с Богом.

<...> Слуга передал мне, что сестра Надя, еще до нашего приезда, катаясь, заехала на нашу квартиру и, взглянув в зале на рояль, спросила: «Брат женится?» Конечно, первою заботою моею по приезде в Москву было испросить разрешения благодетельного В. Ф. Саблера на свидание с сестрою, которая с восторгом приняла наше предложение поселиться у нас вместе с женщиной, ходившей за ней во время ее болезни. Таким образом, сестра Надя, в самом скором времени дружески сблизившись с моею женой, заняла угольную комнату между большою чайной и девичьей, из которой каждую минуту могла позвать свою услужливую няньку.

Однажды вечером, во время чаю явился к нам неожиданно граф Л. Н. Толстой и сообщил, что они, Толстые, т. е. он, старший его брат Николай Николаевич и сестра, графиня Марья Николаевна, поселились все вместе в меблированных комнатах Варгина на Пятницкой. Мы все скоро сблизились. Не помню, при каких обстоятельствах братья Толстые — Николай и Лев — познакомились с Ст. Ст. Громекой; вероятно, это произошло у нас в доме. Все трое очень скоро сблизились между собою, так как оказались страстными охотниками.

<...>Конечно тотчас по приезде моем в Москву возобновилась самая живая переписка между мною и Борисовым, и нельзя было сомневаться в том, что после переезда сестры Нади к нам на жительство и он не замедлит явиться поздравить нас с законным браком. Действи-

тельно, в скором времени он приехал и поселился в моем кабинете, ночуя на мягком диване. Даже на этот раз Борисов явился более оживленным и избавленным от малоазиатской лихорадки. Чудо это, по его рассказам, совершил еще поныне памятный всем мценским жителям аптекарь Александр Андреевич Симон, говоривший всем своим клиентам:

— Охота вам покупать эту дрянь! Я вам дам несколько крупинок гомеопатии, и вы будете здоровы.

Так поступил он и с Борисовым, и на другой день после приема крупинок малоазиатская лихорадка уже не возвращалась.

Несмотря на братские мои отношения к Борисову, приезду которого мы с женою были сердечно рады, я стал бояться своего кабинета: стоило мне прийти и, закурив папироску, завести любой разговор, чтобы через пять минут очутиться в потоке самых убедительных просьб и воззваний о помощи, сопровождаемых отуманенными взглядами, а нередко и слезинкою, висящею на густых, черных усах. Это почти ежедневно происходило в кабинете. Но зато в комнате сестры нередко по поводу моих указаний на многолетнюю, безграничную преданность я слышал только отзывы, в безнадежности которых для Борисова сомнения быть не могло. Не доверяя моим отнекиваниям и неблагоприятным инсинуациям, Борисов, набравши духу, сам находил минуту повторить в двадцатый раз свое предложение. Тут происходил обычный электрический удар, и на другой день, едва сдерживая слезы, он уезжал в Фатьяново.

Еще до моей поездки в Париж, Ап. Григорьев познакомил меня с весьма милой девушкой, музыкантшей в душе — Екатериной Сергеевной П-й, вышедшей впоследствии замуж тоже за пианиста и композитора Бородина. В то время все увлекались Шопеном, и Екатерина Сергеевна передавала его мазурки с большим мастерством и воодушевлением. Когда я женился, Екатерина Сергеевна, полюбивши жену мою, стала часто навещать нас. В то же время Ап. Григорьев ввел к нам в дом весьма талантливого скрипача, которого имени в настоящее время не упомню, но про которого он говорил, что это «кузнечик-гуляка, друг кузнечика-музыканта».

Таким образом, у нас иногда по вечерам составлялись дуэты, на которые приезжала пианистка и любительница музыки графиня М. Н. Толстая, иногда в сопровожде-

нии братьев — Николая и Льва — или же одного Николая, который говорил:

— А Левочка опять надел фрак и белый галстух и отправился на бал.

Днем я прилежно был занят переводами из Шекспира, стараясь в этой работе найти поддержку нашему скромному бюджету, а вечера мы почти безотлучно проводили в нашей чайной. Тут граф Ник. Ник. Толстой, бывавший у нас чуть не каждый вечер, приносил с собою нравственный интерес и оживление, которые трудно передать в немногих словах. В то время он ходил еще в своем артиллерийском сюртуке, и стоило взглянуть на его худые руки, большие, умные глаза и ввалившиеся щеки, чтобы убедиться, что неумолимая чахотка беспощадно вцепилась в грудь этого добродушно-насмешливого человека. К сожалению, этот замечательный человек, про которого мало сказать, что все знакомые его любили, а следует сказать — обожали, приобрел на Кавказе столь обычную в то время между тамошними военными привычку к горячим напиткам. Хотя я впоследствии коротко знал Николая Толстого и бывал с ним в отъезжем поле на охоте, где, конечно, ему сподручнее было выпить, чем на каком-либо вечере, тем не менее в течение трехлетнего знакомства я ни разу не замечал в Ник. Толстом даже тени опьянения. Сядет он, бывало, на кресло, придвинутое к столу, и понемножку прихлебывает чай, приправленный коньяком. Будучи от природы крайне скромен, он нуждался в расспросах со стороны слушателя. Но наведенный на какую-либо тему, он вносил в нее всю тонкость и забавность своего добродушного юмора. Он видимо обожал младшего своего брата Льва. Но надо было слышать, с какой иронией он отзывался о его великосветских похождениях. Он так ясно умел отличать действительную сущность жизни от ее эфемерной оболочки, что с одинаковою иронией смотрел и на высший, и на низший слой кавказской жизни. И знаменитый охотник, старовер, дядюшка Епишка (в «Казаках» гр. Л. Толстого — Ерошка), очевидно, подмечен и выщупан до окончательной художественности Николаем Толстым.

И. П. Борисов, бывший сам человеком недюжинным и видавший Льва Толстого еще на Кавказе, не мог, конечно, с первой встречи с ним в нашем доме не подпасть под влияние этого богатыря. Но в то время увлечение Л. Толстого щегольством бросалось в глаза, и, видя его в новой бекеше с седым бобровым воротником, с вьющими-

ся длинными темно-русыми волосами под блестящею шляпой, надетой набекрень, и с модною тростью в руке выходящего на прогулку, Борисов говорил про него словами песни:

Он и тросточкой подпирается,
Он калиновой похваляется.

В то время у светской молодежи входили в моду гимнастические упражнения, между которыми первое место занимало прыганье через деревянного коня. Бывало, если нужно захватить Льва Николаевича во втором часу дня, надо отправляться в гимнастический зал на Большой Дмитровке. Надо было видеть, с каким одушевлением он, одевшись в трико, старался перепрыгнуть через коня, не задевши кожаного, набитого шерстью конуса, поставленного на спине этого коня. Неудивительно, что подвижная, энергическая натура 29-летнего Л. Толстого требовала такого усиленного движения, но довольно странно было видеть рядом с юношами старцев с обнаженными черепами и выдающимися животами. Один молодой, но женатый человек, дождавшись очереди, в своем розовом трико, каждый раз с разбегу упирался грудью в круп коня и спокойно отходил в сторону, уступая место следующему.

По-прежнему я иногда забегал на часок к одному из младших соучастников боткинской фирмы, Дмитрию Петровичу, занимавшему в доме квартиру в нижнем этаже направо с первой площадки. Квартиру эту занимал прежде Тимофей Николаевич Грановский, и сюда собирался весь вдохновляемый им кружок. В настоящее время у Дмитрия Петровича в небольшой зале стоял бильярд, и мы с хозяином нередко предавались этой игре, прохлаждаясь стаканом шампанского, от которого я в то время никогда не отказывался.

Хотя Т. Н. Грановский и жена его давно уже умерли, тем не менее я еще захватил остатки его круга в доме заслуженного профессора, доктора медицины Павла Лукича Пикулина, женатого на младшей сестре жены моей. Впоследствии я познакомился с корифеями московской медицины, учениками Пикулина, и помню их рассказы о том, с каким благоговением студенты слушали лекции любимого профессора. Но при всем своем знании и редком отсутствии шарлатанства, приобретший большую практику Пикулин, по детской округлости лица, добродушной насмешливости и полной беспечности, всю жизнь

остался милым ребенком; и при слабости характера получивши в наследство из кружка Грановского такой не терпящий возражений экземпляр, как Н. Хр. Кетчер, Пикулин, очевидно, должен был погибнуть, что и исполнил с последовательностью, достойной лучшей доли. Бывало, сидя у Пикулина и слыша о слуге, явившемся просить доктора к больному, Кетчер, будучи сам доктором медицины, хотя и не практиковавшим, закричит: «И охота тебе, Пикулин, таскаться по больным! Наверное, какая-нибудь нервная баба, которой надо лавровишневых капель. Ха-ха-ха! А ты лучше пошли за бутылочкой «Редерера», и мы сами с тобой полечимся, ха-ха-ха!» Конечно, получившие отказ больные не повторяли своих приглашений, а падкий и без того на всякого рода самоуслаждения Пикулин предпочитал предаваться заботам о цветочной теплице, изящном журнале садоводства и домашнем обеде, изготовляемом под личным его наблюдением по всем правилам кулинарного искусства. Таким образом, мало-помалу Пикулин впадал в то превращение дня в ночь, которое через три года после моего с ним знакомства стало его образом жизни. Началось это с привычки отправляться в пятом часу прямо из-за вкусного обеда спать в кабинет и просыпаться только в восьмом часу, когда на огонек к чаю сходился весь его кружок. Здесь являлись люди самых разнородных характеров, начиная с широко образованного и изящного Станкевича, остроумного Е. Ф. Корша и кончая далеко не изящным собирателем сказок Афанасьевым. Разнообразных членов Пикулинского кружка видимо привлекала не нравственная потребность высшего умственного общения, а то благодушное влечение к шутке, оставшееся в наследство от Грановского, которому нигде не было так по себе, как в кабинете добродушного Пикулина.

<...>Однажды, когда еще холостой Борисов стоял вместе со мною у окна залы, провожая глазами съехавшую со двора жену мою в новой карете с лакеем в гвардейской ливрее на козлах, Иван Петрович, обращаясь ко мне, сказал: «Уж и не придумаю, как ты будешь поддерживать такую жизнь». Помню, как эти слова укусили меня за сердце, но тогда иллюзия литературных заработков меня поддерживала. Но время показало, что замечание Борисова с большей справедливостью могло относиться к нему, чем ко мне. Как бы то ни было, мы решили с Борисовыми, протягивая друг другу материальную руку помощи, делить год на зиму и лето, из которых первую по-

ловину Борисовы гостили бы у нас в Москве, а вторую мы у них — в деревне.

Приближался март месяц, и надо было перебираться в Новоселки, куда Борисовы, переехавшие туда из Фатьянова, давно нас подзывали.

Купивши теплую и укладистую рогожинную кибитку, мы с одною горничной (опоэтизированной Толстым Марьюшкой) отправились на почтовых в Мценск. О железной дороге тогда не было еще и помину, а про поставленные вдоль шоссе телеграфные столбы говорили в народе, что тянут эту проволоку, а потом по ней и пустят из Питера волю.<...>

<...> 30-го октября Тургенев писал из Спасского:

«Пишу к вам две строки, чтобы, во-первых, попросить позволения поставить у вас на дворе на несколько дней мой тарантас, а во-вторых, чтобы предуведомить вас о моем приезде в Москву не ранее 5-го или 6-го ноября. До скорого свидания.

Ваш *Ив. Тургенев*».

Действительно, 5 ноября не успели мы окончить кофею, как у нашего крыльца прогремел знакомый мне тарантас, и в дверях передней я встретил взошедшего по лестнице Тургенева. Входя в отведенный ему кабинет мой, он сказал, что, оправившись с дороги, выйдет пить чай к хозяйке.

За чаем он был, чувствуя себя здоровым, весел и сказал, что сегодня никуда не поедет со двора, а усядется писать письма и будет обедать дома и разве вечером куда-нибудь сбегает. Когда через несколько времени я вошел к нему, то не узнал своего рабочего стола.

— Как можете вы работать при таком беспорядке? — говорил Ив. Серг., аккуратно подбирая и складывая бумаги, книги и даже самые письменные принадлежности.

В 5 час. он нашел на столе суп-потрох, о котором с любовью вспоминал и заграницей.

За исключением С. Т. Аксакова, не выезжавшего из дому по причине мучительной болезни, кто только не перебывал из московской интеллигенции у Тургенева за три дня, которые провел он в нашем доме.

<...> Между тем из своей воронежской деревни приехал к нам брат Петруша на зиму и поместился в прежней комнате Нади. В свое время он в Харькове курса не

кончил, но теперь ему припала охота к гуманиора. От души желая быть ему полезным, я принялся с ним за чтение хорошо мне знакомого Горация и заставлял брата с моих слов составлять теорию искусств, начиная с пластических до топических включительно. Я старался выставить скелет эстетики в самых кратких и очевидных его сочленениях. <...>

Навещавший нас по временам веселый Дмитрий Петрович Боткин однажды сообщил, что он хочет у одной опекунши бабушки просить руки воспитываемой ею шестнадцатилетней внучки.

Зная участие, которое мы принимаем в его судьбе,— он предложил нам побывать на предстоящем концерте итальянцев в Дворянском Собрании, в котором главную роль должна была играть Бозио, про которую шутники говорили: «Да не будет тебе *бозии* иние разве мене», где, как он узнал, будет избираемая им девушка с своею замужнею сестрою. Во время первого антракта нам указали входившую красивую блондинку с роскошными волосами, что и требовалось доказать. Меломаном я никогда не был, но иногда самая простая и задушевная мелодия в состоянии подействовать на меня потрясающим образом. Доказательством того и другого мог бы послужить концерт мадам Виардо, прослушанный мною в Париже. К несчастию, во время настоящего концерта Бозио, у меня закралась мысль, что добровольно на этом вечере я смотрел невесту, а обязательно должен восхищаться концертом. Эта мысль с каждым тактом все более отравляла музыкальные звуки, так что подстрекаемая возрастающими фиоритурами предстала в виде единственного вопроса: что же обязывает меня долее терпеть эту несносную пытку, от которой я сейчас избавлюсь за подъездом Собрания, где меня ожидает собственная карета и слуга, который объяснит жене моей, что я уехал провести вечер к Пикулину, квартировавшему невдалеке на Петровке? Чтобы не мешать другим, отправляясь с объяснениями к жене, я, взявши стоявшую возле моего стула уланскую шапку, направился к лестнице, ведущей из Собрания, но и там нестерпимыя рулады все еще меня преследовали. Спрашиваю слугу,— слуги нет. Я не знал, что, по случаю большого съезда, жандармы многих согнали в отдаленные залы сеней. После тщетных поисков слуги, я вышел в одном мундире при 25-и градусном морозе на крыльцо

и, прошедши до угла Собрания, взял первого извозчика с полостью и, завернувшись в его попонку, приказал гнать на Петровку к Пикулину, которого квартира тем не менее была не ближе версты от Дворянского Собрания. Узнавши в чем дело, Пикулин расхохотался и принялся отпаивать меня чаем с коньяком. Через час в передней раздался звонок, а затем рыдающая жена моя рассказала, что после тщетных поисков за мною со стороны ее знакомых по всем боковым залам Собрания, слуга, подававший ей шубу, объявил, доставая из простыни и мою шубу и калоши, что он не знает куда я девался, и что она наугад велела ехать к Пикулину. Эта безобразная с моей стороны проделка имела одно хорошее последствие: жена дала слово не возить меня ни в какие концерты,— и сдержала его.

<...> По получении Дм. П. Боткиным согласия на брак, в доме их тотчас же приступлено было к отделке прежней квартиры Грановских, а на 16-е января был назначен день свадьбы. На помолвке, в великолепном доме невесты, я сидел рядом с Василием Боткиным, старавшимся в глазах бабушки заслужить наилучшее мнение. В воспоминании моем об этом дне ярко сохранились два пункта.

В гостиной бабушки я залюбовался великолепными на стенах гобеленами, между прочим с одной стороны: — *Похищение Прозерпины,* а с другой — *Юпитера в виде белого быка, уносящего по морю Европу.*

Об этих коврах я впоследствии так часто напоминал молодой Боткиной, что она по смерти бабушки упросила братьев уступить ей эти ковры, и поныне украшающие лестницу Дм. Петровича <...>

Во времена моего студенчества берега реки Неручи, отделяющей на юго-востоке Мценский уезд от Мало-Архангельского, слыли обетованною страной для ружейных охотников. Мало-помалу безалаберная охота и осушение болот оставили Неручи только славное имя, произносимое ныне без всякого волнения. В конце июля 1860 года я по старой памяти отправился из Новоселок на Неручь на охоту, избрав главным центром сельцо Ивановское, имение моего зятя А. Н. Шеншина, женатого на родной сестре моей Любиньке. Они видимо обрадовались моему приезду и старались по возможности устроить меня поудобнее. Несмотря на очевидную практичность и опытность

в хозяйстве, Александр Никитич видимо не мог выпутаться из петель долгов, которые успел надеть на свою и на женину шею в первое время их женитьбы, при устройстве полной усадьбы на земле, на которой ничего не было. Правда, покойный наш отец сначала усердно помогал зятю в постройке, но впоследствии, по случаю строптивости последнего, совершенно откачнулся от Ивановского. К этому надо прибавить, что небольшой флигель Шеншиных, крытый соломой, в котором я был проездом на службу в Херсонскую губернию, год тому назад до описываемого времени сгорел. Но в настоящий приезд я нашел уже в Ивановском великолепный, хотя не вполне еще отделанный, деревянный дом, крытый железом. Заметив мое удивление по поводу такой скорой постройки, зять мой со свойственною ему флегмой рассказал, что он этот дом купил, как есть целиком, верст за тридцать, у одной барыни, которая не стала в нем жить, гонимая привидениями, и продала его за 1500 рублей. «Ты увидишь,— сказал мне Алекс. Никит.,— какие исправные лошади у наших мужиков; не менее исправны и опекунские глазовские; да старик князь Г. дал мне на подмогу пятьсот подвод. Плотники у нас свои: разобрали и, вот видишь, перевезли».

Надо отдать справедливость Шеншиным, что, при постоянном денежном стеснении, они оба умели вести дом образцово. Можно сказать, что все у них блистало чистотой, начиная со столового и постельного белья и кончая последнею тарелкой; и обычные четыре блюда за обедом в два часа и за ужином в восемь часов — приготовлены были мастерски.

— Вот,— сказал мне Алекс. Никит. после обеда за чашкой кофе,— ты меня просил поискать для тебя небольшой клок земли, и мне кажется, что я нашел как раз что тебе нужно, в трех верстах от нас. Если хочешь, я велю сейчас оседлать лошадей, и мы через час вернемся, осмотрев имение.

Минут через десять две прекрасно заседланные лошади стояли у крыльца, и мы отправились в недальнюю поездку. Через четверть часа на открытой степи показалась зеленая купа деревьев, на которую приходилось продолжать наш путь. Со жнивьев, по которым местами бродила скотина, лошади наши вдруг перешли на мягко распаханный чернозем, как-то пушисто хлопавший под конскими копытами.

— Вот мы уже и на твоей будущей земле,— заметил

Алекс. Никит.,— а вон та высокая соломенная крыша влево от лесочка,— твой будущий дом.

Через несколько минут мы остановились у крыльца совершенно нового деревянного дома и с трудом доклика-лись человека, которому сдали лошадей. Видно было, что домик, в который мы входили, едва окончен постройкой самого необходимого и требует еще многого, чтобы сделаться жилым, особливо в зимнее время. При крайней скромности требований, расположение комнат показалось мне удовлетворительным. Небольшая передняя с дверью направо в кабинет и налево в спальню; на противоположной входу стороне дверь в столовую, из нее в гостиную, а из следующей за нею комнаты дверь налево в ту же спальню. Старуха, хозяйка имения, была бывшая вольноотпущенная, предоставившая все устройство сыну. Тут же по комнатам размещались две или три девушки — дочери хозяйки. Не желая некстати выказывать своего одобрения расположению комнат, я высказал его зятю по-французски, и вдруг, к изумлению нашему, одна из девиц, указывая па выходную дверь из девичьей в сени, сказала: «Il y a encore une cuisine ici» *.

Шеншин пригласил молодого хозяина, заведующего продажей имения, побывать в Ивановском на другой день. На следующий день продавец объявил, что готов на переговоры о постройках, состоящих из скотного двора с рабочею избой и каретным сараем, и крошечного амбара; но о двухстах десятинах земли в одной меже — совещаний быть не может, так как цена по сту рублей за десятину окончательная, на том-де основании, что это пустырь, не подлежащий никаким переуступкам крестьянам, окончательно отсюда выселенным. Так как я в то время не имел никакого ясного понятия о сельском хозяйстве, то вполне должен был положиться на суд Алекс. Никит., который, быть может, отчасти подкупаемый желанием видеть меня ближайшим соседом, посоветовал мне кончать, и мы действительно кончили на двадцати тысячах за землю и двух с половиной — за постройки, несколько лошадей и коров. Не воздержался я и от приобретения пасеки, хотя по сей день не научился уходу за пчелами. В тот же день я послал за тысячью рублями задатка к жене в Новоселки, вернувшись куда, я тотчас поехал за деньгами в Москву. <...>

«Если ты потрудишься над покупаемым хутором Сте-

---

*«Здесь есть еще одна кухня» *(фр.).— Ред.*

пановкой, то это может быть впоследствии прелестная табакерочка».

Эти слова Алекс. Никит. тем чаще приходят мне на память, что небольшой клок земли, на который я выброшен был судьбой, подобно Робинзону, с полным неведением чуждого мне дела, заставил меня лично всему научиться, и действительно в течение семнадцати лет довести неусыпным трудом миниатюрное хозяйство до степени табакерочки.

Когда я в Москве проговорился одному из братьев жены моей, что мы сбираемся оставить за собою московскую квартиру, несмотря на покупку имения, то он пришел в такое живое изумление, что окончательно заставил меня прозреть, и я решился, невзирая ни на какие воздыхания, покончить с самобытною московскою жизнью. Поэтому я тотчас же объявил своей московской хозяйке, что мы квартиру оставляем за собою только по 1-е мая будущего года.

Хотя наш будущий хутор Степановка и представлял, как мы видели, весьма скромную сумму денег, но мы, из боязни исчерпать все наши наличные деньги, уплатили половину цены векселями; и так как необходимо было завестись всем сначала, то мне пришлось безотлагательно, худо ли, хорошо ли, переселяться из Новоселок на новокупленное место.

Смешно сказать, что, покинув на четырнадцатом году родительскую кровлю, я во всю жизнь не имел ни случая, ни охоты познакомиться хотя отчасти с подробностями сельского хозяйства и волей-неволей теперь принужден был иногда по два раза в день бегать за советом к ближайшему соседу Алекс. Никитичу, куда моя серая верховая отлично узнала дорогу. Самыми затруднительными для меня были специальные земледельческие вопросы,— касательно времени полевых работ и последовательности их приемов.

На первое время Алекс. Никит. справедливо советовал мне держаться крестьянского правила: «как люди, так и мы», т. е. соображать свои действия с действиями соседей, но впоследствии я узнал из опыта, что необходимо предупреждать сторонние примеры. О моих первых попытках на поприще вольнонаемного труда я писал своевременно в «Русском Вестнике», под заглавием «Из деревни», и возбудил этими фотографическими снимками с действительности злобные на меня нападки тогдашних журналов...

<...> Между тем решительная минута нашего пе-

реселения в степной скит неизбежно приближалась, хотя невозможно было скрыть от себя всех неудобств и лишений, связанных с таким переселением. Так как вся наша мебель находилась на московской квартире, то всего проще было перевезти ее оттуда по зимнему пути, перебиваясь пока тою немногочисленною и плохою, какая оставалась в доме при его покупке. Наконец-то мы переехали, для того чтобы к будущему лету приготовить не только ледник, но и выкопать пруд, без которого неоткуда было взять льду.

Несмотря на нерасположение к новым знакомствам, последние возникали сами собою. Так, Алекс. Никитич увлек меня в качестве ружейника на охоту к хорошему своему приятелю старику князю Г-у, снабдившему его подводами при перевозке дома. Старый князь оказался добродушнейшим типом старинного барина, жившего в домашнем изобилии с оттенком первобытной простоты, которая в настоящее время показалась бы неряшеством, если не неопрятностью. Сам князь даже в гости ездил обедать в сюртуке из самого грубого сукна темно-зеленого биллиардного цвета. Так как по старости он ездил на охоту в линейке, то до лесу я ехал с ним, и он с первого дня стал со мною на самую короткую и отеческую ногу. За изобильным обедом старик не прочь был выпить рюмку, другую хереса, а в праздник и шампанского, но любимым напитком был портер, который в то время несомненно привозился из Англии и поэтому, вероятно, считался у него неподмешанным.

— Выпьем, Афоня, с тобою чистого напитка,— говорил князь; и мы у него или у нас за столом усердно пили чистый напиток.

— Не будет ли к завтрашней охоте непогоды? — спросил я однажды,— как странно, князь, что у такого агронома, как вы, я не вижу барометра.

— Есть он у меня,— отвечал добродушно старик,— да я его велел снести в кладовую; прислали мне его из Москвы, и он перед покосом поднялся на «ясно»; я обрадовался и свалил все сено, а оно под дождями и сгнило. Я его в ту же пору и разжаловал. У меня свой барометр, пасечник придет утром да и скажет: «Зяблик трюкал, ворона молодила, солнце рано вскочило». Вот я и знаю, что будет дождь.

При князе проживала его единственная милая дочь с двумя малолетними детьми. Узнав, что мы зимой едем в Москву, князь непременно хотел, чтобы я взял под свое

покровительство и довез до Москвы его дочь к мужу, что̀ должно было состояться по первому зимнему пути. В видах предстоящей московской поездки, мною куплена была вместе с домом просторная рогожная кибитка. Излишне говорить, как жена моя истомилась ожиданием зимнего пути, который принесен был бурей не ранее двадцатых чисел декабря, но зато все ложбины с высокими подъемами были до того завалены снегом, что я на каждом сугробе обмирал, ожидая, что мой серенький верховой, попавший в корень, посадит нас на пустынной полугоре. Но, к счастью, этого не случилось.

<...> В Москве, за окончательною решимостью отказаться от нашей постоянной квартиры, нам не предстояло иного выбора, как остановиться у жениной сестры Пикулиной, или в доме неразделенных еще братьев Боткиных. На известных условиях мы предпочли первое. Если бы я даже окончательно перекипел до полного безразличия между столичною и деревенскою жизнью, то все-таки не мог бы по справедливости требовать от жены зимовки в безотрадном по своей обстановке захолустьи, каким тогда была Степановка.

<...> Беспристрастно озираясь на конец 60 и 61 года в тесной сфере моей жизни, можно было бы, увлекаясь обобщением, назвать это периодом разрушения.

Я забыл сказать, что все три года нашего зимнего пребывания в доме Сердобинской я продолжал по временам посещать находившийся в ближайшем с нами соседстве дом старика Алек. Иван. Григорьева, отца Аполлона Григорьева. Я любил добродушного старика, умевшего, не взирая на небольшия средства, дать прекрасное образование своему талантливому сыну, с которым вместе я прожил на антресолях четыре года университетской жизни, и где плакучая береза, увешанная инеем, навеяла на меня: «Печальная береза у моего окна...» Все три года, в которые я по старине посещал Алекс. Иван., Аполлона Алекс. не было дома, и бедный старик, добывавший скудные копейки ходатайством по делам, жаловался на то, что сын прикинул ему жену с двумя детьми и выпросил у отца позволение заложить последний дом.

Борисов, по получении известия о выздоровлении жены, решился провести зиму по близости психиатров, наняв квартиру, которую большею частью наполнил нашею ненужною нам до весны мебелью и домашней утварью.

Настали жестокие морозы, свыше тридцати градусов, и хозяин наш доктор Пикулин поговаривал: «Сегодня на

обсерватории ртуть ковали». Но вместе с тем наши железные печки причиняли угаром ежедневную, головную боль, и посетивший меня Николай Боткин стал убеждать, что никакой надобности нет мне угорать у Пикулина, когда в его прилегающем к дому флигеле есть свободная комната. Я воспользовался предложением, а вслед за тем и жена моя перебралась в дом на прежнее бывшее свое девичье пристанище. Но, видно, период переломов должен был выдержать свой характер. Боткинский дом в то время соединялся со своим флигелем единственным переходом по подвальному этажу. Этот тесный переход, снабженный несколькими такими же узкими рукавами, представляет главным образом бифуркацию со стеклянными дверями при входе в каждую из них. Одна стеклянная дверь благополучно ведет в коридор, кончающийся всходом во флигель, а за другою непосредственный обрыв во внутренний двор. И я до сих пор не могу понять назначения этой двери и обрыва. Однажды вечером, простившись в доме со всеми, я с зажженным подсвечником в руках пустился по коридору во флигель на ночлег. Стараясь по врожденной моей наклонности ускорить время передвижения, я чуть не бегом стал откидывать попадавшиеся мне стеклянные двери. Но едва я отворил таким образом последнюю, как свечу мою задуло ветром и, охая от боли, я услыхал над собой голос дворника: «Кто тут?» Оказалось, что я со значительной высоты слетел на снег и свихнул себе в кисти левую руку, державшую подсвечник. При содействии знаменитого хирурга Ив. Ник. Новацкого, с утра начались пиявки, гипсовая перчатка и т. д. Через три недели от вывиха моего не осталось и следа. <...>

<...> Запоздавший зимний путь дал нам снова возможность, хотя и на короткое время, побывать в Москве. Кибитка, наложенная до невозможности поместиться в ней втроем, снова повезла нас по обычным этапам, т. е. в борисовские Новоселки и в тургеневское Спасское, где бодрый и веселый старик Николай Николаевич с семьей встретил нас с обычным радушием.

— Разоряет меня мой Иван! — жаловался старик: — вы его знаете, кажется, он не дурак и добрый человек, а ничего я в голове его не пойму. Кто у них там в Бадене третье-то лицо? И все пришли да пришли денег. А вы сами знаете, где их по теперешним временам взять? Мне за 65 лет, а я целое лето провозился с разверстанием ка-

лужских крестьян; повар-то здесь, а я-то на квасу да на огурцах. Везде надо обзаводиться своим инвентарем, а цен на хлеб никаких. Да вот потрудитесь прочесть, коли мне не верите. Ликовали, что освобождение крестьян поднимет сельскую производительность и обогатит земледельцев, а во вчерашнем письме он мне пишет: «Я не верю ни в один вершок русской земли и ни в одно русское зерно. Выкуп, выкуп и выкуп!» — Чему же тут верить? Можно ли даже прежние надежды на улучшение быта считать искренними, а не возгласами загулявшего человека, понимающего разорительность своих выходок, но восклицающего: «Пропадай все!»

В Москве мы поместились по-прошлогоднему в доме Боткиных. В эту зиму, по поводу банкротства банкира Марка, Дмитрий Петрович Боткин купил великолепный дом у Покровских ворот, и новые владельцы были озабочены возможностью перебраться в новое помещение к Новому году. Так как в купленном доме на дворе был манеж, то Дмитрий Петрович, намереваясь для моциона ездить верхом, купил прекрасную гнедую лошадь и неоднократно предлагал мне ее для проездки.

В скором времени я с восторгом узнал, что Лев Николаевич с женой в Москве и остановились в гостинице Шевре, бывшей Шевалье. От нас не ускользнула эта перемена фирмы, столь идущая в данном случае к прелестной идиллии молодых Толстых. Несколько раз мне, при проездках верхом по Газетному переулку, удавалось посылать в окно поклоны дорогой мне чете.

В январе, по случаю новоселья, Дмитрий Петрович затеял маскарад, на котором нам нельзя было не быть и нельзя было быть иначе, как в костюмах. К счастью, добрый знакомый снабдил меня полным костюмом Бедуина, который пришлось мне влачить до самого ужина. Замечательнейшим явлением на этом маскараде была величавая блондинка Норма и красавец брюнет Мефистофель с красным пером на берете, целый вечер не покидавший Нормы. По залам носился шепот, что далеко неблагонадежный в нравственном отношении Мефистофель делает брачное предложение. Норма, которая, не будучи в состоянии противиться очарованию, говорит будто бы: «Хоть день да мой!» <...>

<...> Конечно, веди я прежнюю городскую жизнь, другими словами, не купи я Степановки, я не мог бы ни

в каком случае решиться и на покупку Тима в девяносто-верстном от Степановки расстоянии. Но взявшись за это запутанное дело, я не мог, подобно брату, ограничиваться раздражительными проклятиями и бесполезною высылкой денег московскому поверенному. Нужно было познакомиться с делом покороче; и потому, заручившись письмом брата к поверенному, с просьбой передать все накопившиеся дела мне, я вынужден был отправиться в Москву.

<...> Приехав в Москву, я, конечно, прежде всего свиделся с Василием Петровичем, а затем обратился к поверенному брата, который с видимым неудовольствием сдал мне все накопившееся Тимское дело. Из немногих ответов о судьбе тяжбы, я тотчас же понял, что вся задача почтенного надворного советника состояла в периодическом истребовании денег для мнимого ведения дел. В этом предположении меня окончательно убедили пять нераспечатанных братниных писем за последний год, найденных мною вложенными в последние копии.

Надо было обратиться к самому месту, где велось дело, т. е. в сенат, где у меня, к счастью, нашлось несколько знакомых сенаторов и, главное, князь Владимир Федорович Одоевский.

— Если хотите толком поговорить о вашем деле,— сказал князь,— то приезжайте к шести часам к нам на Остоженку послезавтра обедать. Княгиня будет вам рада, и мы вечером потолкуем на свободе.

Когда в назначенное воскресенье слуга доложил, что кушать готово, и мы с князем вышли в столовую, княгиня, только что вернувшаяся с какого-то визита, с ярким алым бантом на голове, ласково встретив меня, подошла к своему месту.

— Этот бант твой нехорош,— сказал князь, приподымая указательный палец.

— Не знаю, чем нехорош,— отвечала княгиня.

— Да уж я тебе говорю, что нехорош,— повторил князь,— но теперь не время об этом толковать, а давай нам супу, да немного. Сегодня жарко, и я знаю, что будет ботвинья с самою свежею рыбой. Да кстати, ты знаешь ли кто у тебя сегодня гостем?

— Право,— ответила княгиня,— ты сегодня все какими-то загадками говоришь. Мы за обедом втроем, а Афанасия Афанасьевича я знаю не хуже тебя.

— Так; но ты думаешь, что у тебя обедает поэт, а выходит, что это проситель.

После обеда душистый кофе подали нам в кабинет князя. Князь был любитель и мастер хорошо покушать и, как говорили, был сам тонкий повар.

<...> Полный энергии и разнообразнейших жизненных интересов, князь в этот вечер был особенно любезен и разговорчив. Будучи прирожденным и ученым музыкантом, он никогда не расставался с небольшим церковным органом, на котором играл в совершенстве. «Я могу, говорил он, припомнить своих первых учителей грамоты; но кто обучил меня нотам — положительно не знаю. С тех пор как я себя помню, я уже читал ноты; а с тех пор, что я познакомился с вашими стихами, я не могу простить вам прекрасного стихотворения на лодке со стихом: «И далеко раздаются звуки *Нормы* по реке». Ведь угораздило же вас говорить с восторгом о такой музыке, как *Норма*».

Как бы в насущное опровержение моего несчастного стиха, князь сел за орган и с полчаса предавался самым пышным и изысканным фугам. Мало-помалу он перешел к русским, национальным напевам. «Вы не знаете,— спросил он меня,— песни, приписываемой царице Евдокии Федоровне? Я тщательно записал слова и голос этой песни и издал их. Я надпишу эти ноты и подарю вам их на память»,— сказал князь, исполняя то и другое.

При многократной перевозке моей движимости, дорогой подарок покойного князя у меня едва ли не пропал. Но я уверен, что ноты эти существуют в музыкальных магазинах, и память моя удержала слова песни:

Возле огничка хожу млада;
Меня реченька стопить хочет;
Возле огничка хожу млада;
Меня огничек спалить хочет.

Возле милого сижу дружка,
Меня милый друг корит, бранит,
Он корит, бранит,
В монастырь идти велит.

Отпуская вечером меня, князь приглашал заехать обедать в следующее воскресенье, обещав к тому времени основательно познакомиться с моим делом. Пришлось таким образом пробыть в Москве более того, чем предполагал.

По поводу последнего моего свидания с Ф. И. Тютчевым в январе 64 года, не могу не приветствовать в моем воспоминании тени одного из величайших лириков, су-

ществовавших на земле. Я не думаю касаться его биографии, написанной, между прочим, зятем его Ив. Серг. Аксаковым. Тютчев сладостен мне не столько как человек, более чем дружелюбно ко мне относившийся, но как самое воздушное воплощение поэта, каким его рисует себе романтизм. Начать с того, что Федор Иванович болезненно сжимался при малейшем намеке на его поэтический дар, и никто не дерзал заводить с ним об этом речи. Но как ни скрывайте благоуханных цветов, аромат их слышится в комнате, и где бы и когда бы вы ни встретили мягких до женственности очертаний лица Федора Ивановича — с открытой ли головой, напоминающей мягкими и перепутанными сединами его стихи:

Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах...

или в помятой шляпе, задумчиво бредущего по тротуару и волочащего по земле рукав поношенной шубы,— вы бы угадали любимца муз, высказывающего устами Лермонтова:

Я не с тобой, а с сердцем говорю.

Было время, когда я раза три в неделю заходил в Москве в гостиницу Шевалдышева на Тверской в номер, занимаемый Федором Ивановичем. На вопрос: «Дома ли Федор Иванович?» камердинер немец, в двенадцатом часу дня, говорил: «Он гуляет, но сейчас придет пить кофей». И действительно, через несколько минут Федор Иванович приходил, и мы вдвоем садились пить кофей, от которого я ни в какое время дня не отказываюсь. Каких психологических вопросов мы при этом не касались! Каких великих поэтов не припоминали! И, конечно, я подымал все эти вопросы с целью слушать замечательные по своей силе и меткости суждения Тютчева и упивался ими. Помню, какою радостью затрепетало мое сердце, когда, прочитавши Федору Ивановичу принесенное мною новое стихотворение, я услыхал его восклицание: «Как это воздушно!» <...>

<...> Тем временем Дмитрий Петрович Боткин, окончательно устроившийся в своем доме у Покровских ворот, не переставал самым радушным образом подзывать нас на зиму к себе, и, конечно, дом таких беззаветно дружественных людей представлял нам московскую жизнь

в еще более приятном свете. Не успела зима запорошить снежком травки большой грунтовой дороги, как мы, по примеру прошлых лет, нагрузили свою кибитку и весело тронулись в путь до Новоселок, но были наказаны за свое нетерпение. По травке доехать было можно, но по морозному шоссе нечего было и думать ехать до нового снега. В томительном ожидании последнего, мы просидели в Новоселках три недели. Наконец, проснувшись утром, мы увидали свежий и глубокий снег. Конечно, в тот же день мы уже обедали и ночевали в Тургеневском Спасском.

<...> На другой день мы рано утром добрались до почтовой станции и к вечеру следующего дня уже въезжали в дом Дмитрия Петровича у Покровских ворот. Трудно описать радость, которую причинил наш приезд этому милому и радушному человеку. Еще не совсем оправившийся от болезни, он сам в халате, схвативши свечу, бросился впереди нас во второй этаж, чтобы указать приготовленное нам помещение. Напрасно жена его, постоянно дрожавшая над слабым его здоровьем, догоняя нас на лестнице, умоляла его не ходить самому: он продолжал бежать через ступеньку, так что и мы едва за ним поспевали, а за нами раздавалось полупечальное и полураздраженное: «Митя! Митя! Боже, Боже! ах, какой характер!»

<...> Чем ближе подходила зима, тем очевиднее становилось общественное бедствие, которого с весны должен был ожидать всякий зрячий. Можно только удивляться живучести человека, способного в крайности поддерживать свое существование невероятными суррогатами хлеба. Как диковины, набрали мы по пути до Мценска крестьянского печеного хлеба, более похожего на засохшие комки чернозема, чем на что-либо иное: там была и мякина, и главным образом лебеда, про которую старина говорила: «Лебеда в хлебе не беда». И этим ужасным хлебом питалось не только взрослое население, но и дети; а между тем об увеличившейся смертности слуху не было. Тем не менее, при виде такого хлеба я подумал, что прежде чем судить людей, надо при малейшей к тому возможности накормить их, хотя бы только в пределах своего участка, помогая наиболее нуждающимся. Мысль эта занимала меня по дороге в Москву, хотя средства к осуществлению ее я еще ясно не различал. Доехали мы на этот раз в повозке только до Тулы, а там уже пересели в вагон. Графа Льва Николаевича Толстого с женою и детьми я застал на Кисловке на квартире.

Было воскресенье, и у Толстых я, к изумлению и удовольствию своему, нашел Петю Борисова, которого с дозволения Ивана Петровича графиня брала по воскресеньям к своим детям. Когда детей повели гулять, графиня со смехом рассказала мне грозный эпизод в детской в прошлое воскресенье. «Кто-то привез детям конфект,— говорила она,— и, уезжая со двора, я разрешила детям взять из коробки по конфекте. Возвращаюсь и вижу, что коробка пуста. Мои дети лгать не приучены, и они легко сознались бы в своей вине. Но при самых настоятельных расспросах моих виновного между моими не оказалось. «Петя, сказала я, уж не ты ли поел конфекты?» — к чести его надо сказать, что он тотчас же сознался, и я самым бесцеремонным образом объяснила ему все дурные стороны его поступка. Он разревелся, и я думала, что он уже не пойдет к нам в дом. Но дети не злопамятны, и вот он, как видите, опять у нас».

Лев Никол. был в самом разгаре писания «Войны и Мира»; и я, знававший его в периоды непосредственного творчества, постоянно любовался им, любовался его чуткостью и впечатлительностью, которую можно бы сравнить с большим и тонким стеклянным колоколом, звучащим при малейшем сотрясении. Когда я наконец объявил ему, что решился устроить литературное чтение в пользу голодающих своего участка, он иронически отнесся к моей затее и уверял, что я создал во Мценском уезде голод. Эта ирония не помешала ему, однако, так красноречиво и горячо отнестись через год после того к самарскому голоду и тем самым помочь краю пережить ужасное время. Если в моем положении нетрудно было напасть на мысль публичного чтения, то осуществить эту мысль было далеко не легко. Кому читать, что читать и где читать? Не размышляя долго, я отправился вечером в артистический клуб и там обратился к известной Васильевой, с которой когда-то познакомился в Карлсбаде, куда она возила больного мужа. Принявши самое живое во мне участие, она, по кратком совещании со старшинами, объявила мне, что клуб в назначенный мною вечер отдает в мое распоряжение свое помещение с освещением и прислугой. Покойный Пров Михайлович Садовский вызвался читать на моем вечере; и поэт и драматический писатель князь Кугушев изъявил согласие читать по выбору моему. Отыскавши таким образом почву для моего литературного вечера, я старался упросить Льва Ник. Толстого обеспечить успех предприятия обещанием прочесть что-либо на вечере; но

сказавши, что он не только никогда не читал, но даже никогда на это не решится, он любезно предложил мне еще бывшую только в корректуре пятую главу второй части изумительного описания отступления войск от Смоленска по страшной засухе. Наконец день чтения был объявлен в газетах, и билеты по рублю серебром напечатаны. Когда в клубе накануне об этом зашла речь, один из меньших братьев Боткиных, Владимир, обратившись ко мне, сказал: «Вы не продавали еще билетов?» — «Нет».— «Позвольте мне сделать почин в вашем деле и примите 25 руб. за билет». Тут же в клубе примеру этому последовали еще два-три человека. В назначенный вечер я сам встал за прилавком. Но публика подходила как-то вяло; а стали подходить все какие-то мальчишки, прося принять обратно билет хотя бы за 50 и даже 30 коп. Не трудно было понять, что люди, уплатившие 25 руб. с благотворительной целью и получившие 25 билетов, раздавали их служащим у них мальчикам, которые 30 коп. предпочитали всякой духовной пище. Конечно, я им отказывал в возможности купить пряник на деньги, предназначенные на полпуда хлеба. Но вот подходит брюнет среднего роста и протягивает ко мне пачку ассигнаций со словами: «Пожалуйте мне билет».— «Сколько прикажете сдачи?» — «Никакой. Здесь 500 рублей, и я прошу дать мне билет. А вот еще 500 руб. от брата моего. Наша фамилия Голяшкины. Потрудитесь дать нам третий билет: эти триста рублей от наших служащих».

Таким образом я в течение минуты получил 1300 р. Должно быть, посетителей набралось около тысячи человек, так как при поверке кассы у меня оказалось около 3300 руб. Как наиболее подходящее к сбору в пользу голодающих, я прочел перевод первой главы «Германа и Доротеи» об участии к нуждам переселенцев. Садовский и Васильева с живительным мастерством прочли: первый — Чичикова у Бедрищева, а вторая — приятную барыню и барыню приятную во всех отношениях. Громом рукоплесканий было покрыто чтение из «Войны и Мира» — князем Кугушевым. Я тотчас же составил проект устава, по которому эта сумма должна была раздаваться наиболее нуждающимся на год без процентов, а на следующие два года, по истечении коих долг должен бы был быть уплачен,— взималось бы по пяти процентов. Самый же капитал должен был по этому уставу оставаться навсегда в третьем мценском мировом участке, на случай нового голода. <...>

<...> Степановка была продана за 30 тысяч, из коих десять должны были быть уплачены при совершении купчей, а двадцать — в июне 1878 года. Лошади и рогатый скот должны оставаться до отправления в Воробьевку на подножный корм, т. е. до конца мая. Весь урожай настоящего года должен поступить в нашу пользу.

<...> Так как дело покупки было уже безповоротно решено, то я бросился в Москву, с тем чтобы взять у Боткиных принадлежавшие мне билеты учетного банка на сумму 80-ти тысяч; а так как денег на покупку Воробьёвки все-таки не хватало, то я попросил контору Боткиных ссудить меня 20-ю тысячами до получения в июне этой суммы с покупателя Степановки.

<...> Понятно, что в опустевшем Степановском доме жить было невозможно, и мне приходилось ехать сначала во Мценск для заявления съезду, что по перемене места жительства продолжать быть участковым мировым судьею не могу, а затем и в Москву за паркетом, обоями, замками, зеркалами, взамен оказавшихся в доме разбитыми и т. п.

<...> Наконец, паркет и прочие строительные принадлежности были высланы из Москвы в Воробьевку, и, невзирая на энергическую деятельность Ивана Александр., мне пришлось самому приехать в Воробьевку, где единственно свободным помещением оказалась комната при кухне. Там поставлены были наши две складных кровати и письменный стол, служивший в то же самое время и обеденным, и мы с Остом ревностно занялись планами неотложных перемен...

<...> Жена моя приехала из Москвы по последнему санному пути в марте месяце, и мы заняли единственно отделанную и обитаемую комнату — спальню, в которую надо было пробираться по клеткам накатника, на который еще не успели наложить паркет. Но по мере накладки его, мы, так сказать, завоевывали одну комнату за другой из-под рук столяров, маляров и оклейщиков.

<...> Весна наступила теплая и обворожительная. 25 марта мы уже в летних одеждах ходили по парку, и посеянный нами овес стал уже всходить. Ввиду полного благорастворения воздуха, мы приглашали наших гостеприимных московских хозяев Боткиных приехать к нам со всем семейством и получили их обещание прибыть в конце апреля.

<...> На этот раз мы снова поехали встречать Новый год по привычке к Покровским воротам; но меня тянула домой уже не обязательная служба, а тишина сельского кабинета, с предстоящею постоянною умственною работой. <...>

В половине лета нам предстояла поездка в Москву на свадьбу, и по предварительному уговору мы должны были остановиться в Кунцеве на великолепной даче у Боткиных. При этом припоминаю обстоятельство самое будничное, не могшее даже удержаться в памяти и только задним числом возбудившее внимание свое неожиданностью.

Милая и крайне внимательная ко мне старушка Тереза Петровна однажды, когда я после завтрака раскладывал пасьянс, пришла из другой комнаты с «Моск. Вед.» в руках и сказала: «Посмотрите, Аф. Аф., какой чудесный и недорогой дом продается в Москве на Плющихе!»

Если подумать, что я никогда никому не говорил о желании купить в городе дом, что в высшей степени сдержанная и осторожная старушка никогда ни о каких газетных объявлениях мне не говорила, то придется настоящую ее выходку счесть крайне странной. Еще более странно то, что этими словами она мгновенно пришпилила к моему сердцу дом, подобно тому, как к пробке пришпиливают разноцветную бабочку.

Помню, что и в Москве и в Кунцеве я ходил раненный домом. Я отправился на Плющиху, согласно объявлению, и продажный дом мне понравился. Чтобы избежать в собственных глазах вида маниака, я обратился в адресную контору и по указанию ее пересмотрел довольно много продажных домов приблизительно в ту же цену, по которой предлагался дом на Плющихе. Главною задачей моей при осмотре деревянных домов было избежать старых, а потому ненадежных построек. Стена отвесно пряма, думал я, следовательно, исправна; а крива — значит, дело плохо. Словом, из виденных мною домов продававшийся на Плющихе нравился мне более всех. Его хозяева оказались весьма красивой молодой четой, и я объявил им, что до решения жены моей, на имя которой я желаю купить дом, я сказать ничего не могу и постараюсь на другой день приехать с нею.

Жена моя была видимо смущена известием, что я отыскал дом для покупки, причем выразила опасение обычной с моей стороны торопливости и решительности. Тем не менее на другой день, отправлявшаяся в карете из Кун-

цева в Москву за какими-то покупками, она согласилась заехать со мною взглянуть на дом, в котором, быть может, ей придется жить. Когда француженка горничная отперла нам двери, хозяин и хозяйка приняли нас в столовой. Обойдя наскоро с женою комнаты, я тихонько спросил ее: «Ну что, как ты находишь?»

— Ничего, недурно,— отвечала она.

— Ты можешь ехать по своим делам, а через час заезжай за мною,— сказал я ей. Когда карета загремела по мостовой, я обратился к хозяину с такою речью: «Я желал бы покончить с двух слов. Не прибавлю ни копейки сверх того, что считаю возможным для себя. Вы просите 35 тысяч, 3 тысячи за мебель и купчую пополам. А я предлагаю за все 35 тысяч и купчая ваша».

Он взглянул на жену и, поднявши руку, чтобы ударить по моей, воскликнул: «Извольте».

— Теперь, когда дело кончено,— сказал я,— позвольте обратиться к вам с покорнейшей просьбой: умолчать о состоявшейся покупке перед моей женой, во избежание преждевременного с ее стороны волнения.

Действительно, при появлении жены моей мы не сказали ей ни слова о деле, и я стал торопить ее в Кунцево под предлогом, что мы можем опоздать к обеду.

— Ну что? — спросила меня шепотом жена, сходя по лестнице к подъезду.

— Ничего.

— Ну слава Богу,— сказала она, видимо облегченная.

Но едва только уселась она в карету, как я, войдя в свою очередь, захлопнул за собою дверку и, крикнув кучеру «домой!» — сказал жене:

— Поздравляю.

— С чем? — спросила она.

— С покупкою дома.

— Боже! без архитектора, не спрося ни у кого совета и так скоро!

Она заплакала.

— В первый раз в жизни,— сказал я,— вижу человека, плачущего о том, что ему подарили дом.

Через три дня купчая была совершена. Справедливость требует прибавить, что, по мере открывающихся неисправностей, пришлось потратить немало денег на их исправление. <...>

Начиная с 1-го октября 81 г., мы ежегодно стали проводить зиму в Москве на Плющихе, и для нас великою отрадою был переезд семьи Толстых на зиму в Москву.

...Села писать Вам, прочитав снова Ваше письмо. Что за полнота жизни! Как пересыпано это письмо поэзией, философией, практическими делами...

Из письма С. А. Толстой А. А. Фету, 1886

Часть третья

Стихи и письма к москвичам

СТИХИ К МОСКВИЧАМ

В АЛЬБОМ

в первый день Пасхи

Победа! Безоружна злоба.
Весна! Христос встает из гроба,—
Чело огнем озарено.
Все, что манило, обмануло
И в сердце стихнувшем уснуло,
Лобзаньем вновь пробуждено.

Забыв зимы душевный холод,
Хотя на миг горяч и молод,
Навстречу сердцем к вам лечу.
Почуя неги дуновенье,
Ни в смерть, ни в грустное забвенье
Сегодня верить не хочу.

8 апреля 1857

ДРУГУ

Когда в груди твоей страданье,
Проснувшись, к сердцу подойдет
И жадный червь воспоминанья
Его невидимо грызет,—

Борьбой с наитием недуга
Души напрасно не томи,
Без слез, без ропота на друга
С надеждой очи подыми.

Пусть свет клянет и негодует,—
Он на слова прощенья нем.
Пойми, что сердце только чует
Невыразимое ничем;

То, что в явленьи незаметном
Дрожит, гармонией дыша,
И в тайнике своем заветном
Хранит бессмертная душа.

Одним лучом из ока в око,
Одной улыбкой уст немых
Со всем, что мучило жестоко,
Единый примиряет миг.

15 мая 1857

М. П. ШЕНШИНОЙ

надпись на книжке

Ты все стихи переплела
В одну тетрадь не без причины:
Ты при рожденьи их была,
И ты их помнишь именины.

Ты различала с давних пор,
Чем правит муза, чем супруга.
Хвалить стихи свои — позор,
Еще стыдней — хвалить друг друга.

28 января 1888

ПАМЯТИ В. П. БОТКИНА

16 октября 1869 года

Прости! Разверстая могила
Тебя отдаст родной земле;
Скажи: что смерть изобразила
На этом вдумчивом челе?

Ужель, добра поклонник страстный,
Ты буйству века уступил

И обозвал мечтой напрасной,
Чему всю жизнь не изменил?

Ужель сказал: «За вами поле,
Вы правы, тщетен наш союз!
Я ухожу,— нет в мире боле
Ни светлых дум, ни вещих муз».

Нет! покидая жизнь земную,
Ты вспять стопы не обращал
И тихо лепту трудовую
Трем старшим музам завещал *.

Октябрь 1869

НА СЕРЕБРЯНУЮ СВАДЬБУ Е. П. ЩУКИНОЙ

4 февраля 1874 года

Ты говоришь: день свадьбы, день чудесный,
День торжества и праздничных одежд!
Тебе тот путь не страшен неизвестный,
Где столько гибнет радужных надежд.

Все взоры к ней, когда, стыдом пылая,
Под дымкою, в цветах и под венком,
Стоит она, невеста молодая,
Пред алтарем с избранным женихом.

Стоит она и радостна и сира.
Но он клялся,— он сердцем увлечен!
Поймет ли мир всё скрытое от мира —
Весь подвиг долга и любви? А он?

Он понял всё, чем сердце человека
Гордится втайне.— Дайте мне фиал!
Воочию промчалась четверть века,
И свадьбы день серебряный настал.

И близкий здесь, и тот перед родною,
Кого судьба умчала далеко;

* Завещал капитал университету, консерватории и школе живописи. *(Примеч. А. Фета.— Ред.)*

У всех в глазах признательной слезою
Родимое сказалось молоко.

Судьба всего послала полной чашей.
Чего желать? Чего искать душой?
Дай бог с четой серебряною нашей
Нам праздновать день свадьбы золотой!

4 февраля 1874

П. И. БОРИСОВУ

Милый Петя!
Вот и мы.
Питер вроде мне чумы.
День-деньской я там зевал
И Покровку вспоминал.
Но зато в четверг с полдня
Снова праздник для меня.
В час полудня, милый мой,
Поезд двинет нас домой,
В страны, где Толстой цветет,
Где Степановка растет,
Где господь сказал ей: спи
На раздолье, на степи.
Оля, тетя, все, любя,
Обнимаем мы тебя.
На минутку хоть урвись,
С нами лично распростись.
Будь здоров, не знай кручин.
Старый дядя твой
Шеншин.

19 апреля 1876

П. П. БОТКИНУ

«Христос воскресе!» — клик весенний.
Кому ж послать его в стихах,
Как не тому, кто в дождь осенний
И в январе — с цветком в руках?

Твои букеты — вести мая,
Дань поклоненья красоте.

Ты их несешь, не забывая
О тяжком жизненном кресте.

Но ныне праздник искупленья,
Дни обновительных чудес,—
Так будь здоров для поздравленья,
Твердя: «Воистину воскрес!»

31 марта 1879

А. П. БОТКИНОЙ

невесте

Хотя любовь препобедила
И торжества подводит час,
Она и к нам свой взор склонила,
И не забыла Анна нас.

Там, где царит метель и вьюга,
Где жизнь полна тоски и зла,
Твой ананас — эмблема юга,
Благоуханья и тепла.

Когда настанет день ненастный,
На сердце мрак и грусть падет,
Мы вспомним жребий твой прекрасный,
И Анна нас тогда спасет.

Февраль 1880

Д. П. БОТКИНУ

Я с девятнадцатого дома.
Жена вернулась в тот же день —
В восторге от ее приема.
Его описывать мне лень.

Хоть, отдохнув в своей кровати,
На свет бодрее я гляжу,
Но всё минувшей благодати
В здоровье я не нахожу.

И бледно-розовые пятна,
Как возмутительный грешок,

Напоминают неприятно
О прижигании кишок.

Вчера, подосланный лукаво,
Молчанов-fils * у нас гостил,
И я ему, обдумав здраво,
В кредит пшеницу отпустил.

Ее и всей-то оказалось
Не больше тысячи и ста.
Так чтоб на месте подымалась
И забиралась без хвоста,

За четверть с десяти целковых
Четвертачок я уступил.
В задаток тысячу всё новых
Кредитками я получил.

Затем сиди и жди: когда-то
Увидишь светлую зарю;
В двадцатом ноября уплата
Двух тысяч, трех же — к январю.

А там опять он скажет warte **,
И уж последних тысяч пять
Двадцатого уплатит в марте.
На месте трудно продавать.

Как цену наперед узнаешь?
Пойдет ли в гору иль в отвал?
Найдешь барыш иль прогадаешь?
Подумал — да и подписал.

Вы как здоровьем? Хоть бы вновь я
Не услыхал о серых днях.
Что детки? Всё ли так же Софья
Сергевна в вечных попыхах?

Признаться, самому до смерти
Мне надоели попыхи;
Куда тебя не сунут черти —
Весь свет исполнен чепухи.

---

* Сын *(фр.).— Ред.*
** Жди *(нем.).— Ред.*

Изволь расхлебывать. Вот мельник
Пришел с расчетами за рожь,—
А не подумает бездельник,
Как дорог мой и рубль, и грош.

Ну чем я хуже Соломона
Степаныча, какой мудрец!
Примите наших два поклона —
И с тем посланию конец.

А за ночлеги и грибочки
Перед хозяйкой спину гну;
Уж родились же вы в сорочке,
Такую отыскав жену.

1881

Д. П. и С. С. БОТКИНЫМ

в день двадцатипятилетия их свадьбы
16 января 1884 года

Сегодня пир отрадный мы венчаем,
Мы брачные подъемлем чаши вновь.
Сегодня дружбе мы венец сплетаем
И празднуем счастливую любовь.

Красавицы, не преклоняйте вежды;
К чему скрывать румяный пыл сердец,
Когда в груди у всех одни надежды,
Когда в душе у всех один венец?

Ни красоты, ни почестей, ни злата
В дыму мечты ты раем не зови;
Наш рай не там, меж Тигра и Евфрата,
А рай вот тут, у дружбы и любви.

Как сень его лелеет человека!
Как божеским дыханьем он объят!
В своей листве хранит он четверть века
Плоды любви и дружбы аромат.

И, умилясь сердцами, мы встречаем
Сей вертоград, подъемля чаши вновь;

Сегодня дружбе мы венец сплетаем
И празднуем счастливую любовь.

28 октября 1883

МИТЕ БОТКИНУ

Митя крошка,
Понемножку
Поджидай,
Да с Покровки
К Воробьевке
Подъезжай.

Не упрямый,
Сядешь с мамой
Ты в вагон,
А проснешься —
К нам взберешься
На балкон.

Будут розы,
Будут козы
Митю ждать,
Будет в гроте
Митю тетя
Целовать.

Первая половина 80-х гг.

Е. Д. ДУНКЕР

Если захочешь ты душу мою разгадать,
То перечти со вниманием эту тетрадь.
Можно ли трезвой то высказать силой ума,
Что опьяненному муза прошепчет сама?
Я назову лишь цветок, что срывает рука,—
Муза раскроет и сердце и запах цветка;
Я расскажу, что тебя беспредельно люблю,—
Муза поведает, что я за муки терплю.

17 января 1888

НА БРАКОСОЧЕТАНИЕ Е. Д. и К. Г. ДУНКЕР

В часы забав, во дни пиров,
Пред божеством благоговея,
Поэты славили любовь
И пышный факел Гименея.

Он горячо волнует грудь
И сквозь покров полупрозрачный
На расцвеченный кажет путь
И жениху и новобрачной.

И мы отраду возвестим
Князьям сегодняшнего пира;
Споет о счастье молодым
Моя стареющая лира.

На юность озираясь вновь
И новой жизнью пламенея,
Ура! и я хвалю любовь
И пышный факел Гименея!

30 апреля 1889

Е. Д. ДУНКЕР

Всё изменяется, как тень
За долгий день горячим летом.
К поре девичьей в этот день
К вам появлялся я с букетом.

Но вот вы мужнина жена,
И как я рад — того не скрою;
Цветы лишь чопорность одна,
Я появляюсь к вам с икрою.

Чтобы рождение почесть
Из поколенья в поколенье,
Что можно лучше преподнесть
Икры, эмблемы порожденья?

14 октября 1890

ЕЙ ЖЕ

Хвалить я браков не умею,
Где все обычно чересчур,
Где, сдав супругов Гименею,
И знать не хочет их Амур.

Люблю я тех, над кем усилья
Гимен, сводя их, расточал,
Затем влетел Амур — и крылья
У новобрачных потерял.

30 апреля 1891

ЕЙ ЖЕ

Их вместе видя и, к тому же,
Когда и оба влюблены,
Возможно ль умолчать о муже
В день именин его жены?

Союз, по правде, идеальный,
И чудо ангел совершил:
Воды мытищинской кристальной
Струю в вино он превратил.

22 октября 1891

ПАМЯТИ Д. Л. КРЮКОВА

Когда светильником пред нашими очами
Ко храму римских муз ты озарял ступень
И чудилося нам невольно, что над нами
Горация витает тень,—

Впервые тихие и радостные слезы
Исторгнул дышащий из уст твоих певец:
Пленили нас его неблекнущие розы
И зеленеющий венец.

В замолкнувший чертог к Минерве и к Зевесу
Вслед за тобой толпа ликующая шла,—

И тихо древнюю ты раздвигал завесу
С громодержащего орла.

Но светоч твой угас. Надежного союза
Судьба не обрекла меж нами и тобой —
И, лиру уронив, поникла молча муза
В слезах над урной гробовой.

1855

ЭПИТАЛАМА ГРАФУ Л. Н. ТОЛСТОМУ

Кометой огненно-эфирной
В пучине солнечных семей,
Минутный гость и гость всемирный,
Ты долго странствовал ничей

И лишь порой к нам блеск мгновенный
Ты досылал своим лучом,
То просияв звездой нетленной,
То грозным, пламенным мечом.

Но час и твой пробил, комета!
Благослови глагол его!
Пора свершить душе поэта
Свой путь у солнца одного,

Довольно странствовать по миру,
Пора одно, одно любить,
Пора блестящему эфиру
От моря сушу отделить.

Забыть вражды судьбы безбрачной,
Пути блудящего огня,
И расцвести одеждой злачной
В сияньи солнечного дня.

Октябрь 1862

ГРАФУ Л. Н. ТОЛСТОМУ

Как ястребу, который просидел
На жердочке суконной зиму в клетке,
Питаяся настрелянною птицей,

Весной охотник голубя несет
С надломленным крылом — и, оглядев
Живую пищу, старый ловчий щурит
Зрачок прилежный, поджимает перья
И вдруг нежданно, быстро, как стрела,
Вонзается в трепещущую жертву,
Кривым и острым клювом ей взрезает
Мгновенно грудь и, весело раскинув
На воздух перья, с алчностью забытой
Рвет и глотает трепетное мясо,—
Так бросил мне кавказские ты песни,
В которых бьется и кипит та кровь,
Что мы зовем поэзией.— Спасибо,
Полакомил ты старого ловца!

Конец октября
или начало ноября 1875

ЕМУ ЖЕ

Всё стремлюсь к тебе мечтою,
Мучусь, не узнав:
Разболелся ль ты душою,
Дорогой мой граф?

Окунулся ли в пучину,
Где не видно зги?
Если так — пиши картину
И ни в чем не лги.

День — твой враг, и днем полезно
Помнить ремесло;
Только эта бездна звездна,
Только в ней светло.

Лишь из мрака хляби душной,
Из грозящих жерл,
Водолаз великодушный,
К нам взнесешь ты перл.

Посмотрите, мол, осины
И гнилые пни:
Вот как ищут исполины
Даже в наши дни!

1875 (?)

ЕМУ ЖЕ

при появлении романа «Война и мир»

Была пора — своей игрою,
Своею ризою стальною
Морской простор меня пленял;
Я дорожил и в тишь и в бури
То негой тающей лазури,
То пеной у прибрежных скал.

Но вот, о море, властью тайной
Не всё мне мил твой блеск случайный
И в душу просится мою;
Дивясь красе жестоковыйной,
Я перед мощию стихийной
В священном трепете стою.

23 апреля 1877

ГРАФИНЕ С. А. ТОЛСТОЙ

Когда так нежно расточала
Кругом приветы взоров ты,
Ты мимолетно разгоняла
Мои печальные мечты.

И вот, исполнен обаянья
Перед тобою, здесь, в глуши,
Я понял, светлое созданье,
Всю чистоту твоей души.

Пускай терниста жизни проза,
Я просветлеть готов опять
И за тебя, звезда и роза,
Закат любви благословлять.

Хоть меркнет жизнь моя бесследно,
Но образ твой со мной везде;
Так светят звезды всепобедно
На темном небе и в воде.

1866

ЕЙ ЖЕ

Когда стопой слегка усталой
Зайдете в брошенный цветник,
Где под травою одичалой
Цветок подавленный припик,

Скажите: «Давнею порою
Тут жил поклонник красоты;
Он бескорыстною рукою
И для меня сажал цветы».

11 декабря 1884

К ПОРТРЕТУ ГРАФИНИ С. А. ТОЛСТОЙ

И вот портрет! И схоже и несхоже.
В чем сходство тут, несходство в чем найти?
Не мне решать; но можно ли, о боже,
Сердечнее, отраднее цвести?

Где красота, там споры не у места:
Звезда горит — как знать, каким огнем?
Пусть говорят: «Тут девочка-невеста,
Богини мы своей не узнаем».

Но все толпой коленопреклонéнной
Мы здесь упасть у ваших ног должны,
Как в прелести и скромной и нетленной
Вы смотрите на наши седины.

27 апреля 1885

ГРАФИНЕ С. А. ТОЛСТОЙ

Я не у вас, я обделен!
Как тяжело изнеможенье;
У вас — порывы, блеск, движенье,
А у меня — не бред, а сон.

Какое счастье хоть на миг
Залюбоваться жизни далью,

Призыв заслышать над роялью,—
Я всё признал бы и постиг.

Я б снова трепет ощутил,
Целебной силой с прежним схожий;
Я б верил вновь, что ангел божий
Пришел и воду возмутил.

28 мая 1886

ЕЙ ЖЕ

во время моего 50-летнего юбилея

Пора! во влаге кругосветной
Я в новый мир перехожу
И с грустью нежной и заветной
На милый север свой гляжу.

Жестокой уносим волною,
С звездой полярною в очах,
Я знаю, ты горишь за мною
В твоей красе, в твоих лучах.

19 февраля 1889

В. С. СОЛОВЬЕВУ

Пусть не забудутся и пусть
Те дни в лицо глядят нам сами,
Когда Катулл мне наизусть
Твоими говорил устами.

Прости! Лавровому венцу
Я скромной ивой подражаю,
И вот веронскому певцу
Катуллом русским отвечаю.

Боюсь, всю прелесть в нем убью
Я при такой перекочевке,—
Но как Катулла воробью
Не расплодиться в Воробьевке!

17 мая 1885

ЕМУ ЖЕ

Ты изумляешься, что я еще пою,
Как будто прежняя во храм вступает жрица,
И, чем-то молодым овеяв песнь мою,
То ласточка мелькнет, то длинная ресница.

Не всё же был я стар, и жизненных трудов
Не вечно на плеча ложилася обуза:
В беспечные года, в виду ночных пиров,
Огни потешные изготовляла муза.

Как сожигать тогда отрадно было их
В кругу приятелей, в глазах воздушной феи!
Их было множество, и ярких и цветных,—
Но рабский труд прервал веселые затеи.

И вот, когда теперь, поникнув головой
И исподлобья в даль одну вперяя взгляды,
Раздумье набредет тяжелою ногой
И слышишь выстрел ты,— то старые заряды.

10 апреля 1885

О. М. СОЛОВЬЕВОЙ

Рассеянной, неверною рукою
Я собирал поэзии цветы,
И в этот час мы встретились с тобою,
Поклонница и жрица красоты.

В безумце ты тоскующем признала
Прибывшего с знакомых берегов,
И кисть твоя волшебством разгадала
Язык цветов и сердца тайный зов.

И вот с тех пор, в роскошном их уборе
Завидевши те сельские цветы
Нетленными на матовом фарфоре,
Без подписи я знаю: это ты.

29 октября 1884

ГРАФИНЕ Н. М. СОЛЛОГУБ

Вам песнь моя. В степи мирской,
Среди толпы бесцветно-бледной,
Лишь вы поэта за собой
Красой влечете всепобедной.

Прелестны матовым челом,
Могучи пышными кудрями,
Вы обаятельны умом,
Очаровательны очами.

Что смертных трогает сердца,
Внушите вы послушной лире,
И слово на устах певца
При вас цветет пышней и шире.

16 февраля 1888

ЕЙ ЖЕ

Тобой привычный восхищаться,
Я втайне верить был готов,
Что можно лире приближаться
К твоей красе красою строф.

Но вижу в состязаньи струнном,
Двойным восторгом трепеща,
Что на челе золоторунном
Непобедим венок плюща.

24 января 1891

ЕЙ ЖЕ

О Береника! Сердцем чую
Заочный блеск и власть красы,
И помню россыпь золотую
Твоей божественной косы.

Не нам, с волненьями земными,
К ее разливу припадать!
Ей место — с песнями твоими
Между созвездьями сиять.

Ну что за добрая догадка —
Вдруг «отче» молвить мне шутя!
Так по головке умной сладко
Погладить дивное дитя!

28 января 1892

В АЛЬБОМ П. А. КОЗЛОВУ

Тому, что было, не бывать —
Иные сны, иное племя;
Зачем же рифмы призывать,
Как будто прежнее то время?

Волшебных грез рассеян рой,
А в грусти стыдно признаваться;
Ужель остывшею слезой
Еще последней расписаться?

Декабрь 1879

Ф. Е. КОРШУ

в ответ на эпическое послание

Больному классику чтоб дать ответ российский,
Я избираю стих и лист александрийский;
Не думаю, меж тем, об оном я листе,
Чтоб облегчился ты без рези в животе.
Что ж делать! Такова российска Аретуза,
Что пить из ней нельзя без содроганья пуза.
О, что бы провещал ученейший Хирон,
Когда б на наших муз взглянул хоть мельком он,
У коих цензоры, благочестивы люди,
Обгрызли ногти все и вырезали груди,
Как режут эвнухов, что вывел Ювенал,
Хотя Гелиодор давно их окорнал.
И так и следует: зачем писать антично?
У наших цензоров узнал бы, что́ прилично!
Ведь не подумают античные глупцы,
Что могут русские обидеться скопцы.
Не должно смешивать двух разных направлений,
Иначе стать в тупик народный может гений;
И, мню я, самым тем ты простудил свой нос,

Что, переплывши Тибр, ты вышел на мороз.
Так вредны крайности, когда сойдутся ссорясь!
О rus! * О глупости! О tempora, o mores! **
Но как бы строгая ни выкликала Русь,
Тибулла покупать я к Кунду поплетусь.
Знать, старость слабая так распускает слюни:
Scribendi cacoethes tenet ***, сказал мой Юний.
Пора и кончить мне. Будь здрав, прими привет.
Хоть подпишу Шеншин, а все же выйдет —

Фет

29 ноября 1884

ЕМУ ЖЕ

Геройских лет поклонник жадный
В тебе Миноса узнает:
Никто без нити Ариадны
В твое владенье не войдет.

Но это суд земного рода:
Он не зовет души моей.
О, как я рад, что ты у входа
Стоишь в блаженный Елисей!

Взглянув на ширь долины злачной,
Никто не ценит так, как ты,
Всей этой прелести прозрачной,
Всей этой легкой простоты.

Вот почему, смирясь душою,
Тебя о милости прошу
И неуверенной рукою
Венки Тибулла подношу.

2 октября 1885

ЕМУ ЖЕ

Тебя я пуще ждал всего,
Чтоб труд спугнуть отрадной грезой,—

---

* О деревня! *(лат.)* — *Ред.*
** О времена, о нравы! *(лат.)* — *Ред.*
*** Владеет злой недуг писания *(лат.)*.— *Ред.*

Ты ж остроумья своего
Меня засыпал митральёзой.

О rus! — Капуста, бураки,
Индейка, утка, солонина,
Не то из русской же реки
И разварная осетрина.

И вот сижу, понуря лоб,
Постыли музы с Аполлоном,—
Когда б не кашель,— сам давно б
Я прибежал к тебе с поклоном.

4 января 1887

ЕМУ ЖЕ

Член Академии больной,
Все порываюсь к прежней цели
И, благодарен всей душой,
Шлю за обещанным мне Paley.

За каждым есть свои грехи;
В одном лишь твердо я уверен:
Хоть и мараю я стихи,
Но книг марать я не намерен.

Итак, склонившись головой,
Прошу прислать мне вашу книжку.
Простите, что Меркурий мой
Заменит тут мою одышку.

Смущаюсь я не раз один:
Как мне писать в делах текущих?
Я между плачущих Шеншин,
И Фет я только средь поющих.

11 января 1887

ЕМУ ЖЕ

На днях пускаемся мы в путь;
Хотел бы видеться с тобою,
Но домовой ко мне на грудь
Вновь наступил своей пятою:

То жалкой старости недуг,
Плутона близкая примета! —
Седьмого мчимся мы на юг
И будем мучиться всё лето.

Но, кроме горьких сельских нужд,
Есть на душе еще вериги,
И кто Проперцию не чужд —
Смотри «шестнадцать» в третьей книге.

Тебе доверясь, как отцу,
И смело выйдя на экзамен,
Мы передвинули к концу
Стихи до Quod si * от Nec tamen **.—

Чудесно! — Этой кутерьмы
Творца нам указал не ты ли?
Но — непривычные умы —
Мы имя автора забыли.

К тому ж (пожалуй, не к тому)
По середам мы (хоть и скучно)
И воскресеньям на дому
Глотаем пищу безотлучно:

Как раз сегодня середа,—
Нельзя ль прийти? К чему визиты!
Когда ж не время — о, тогда
Хоть имя автора черкни ты.

P. S.

Прими и Paley своего,—
Он нас заставил потрудиться.
Что не марали мы его,
Ты в этом можешь убедиться.

25 февраля 1887

---

* И если *(лат.)*.— *Ред.*
** Однако не *(лат.)*.— *Ред.*

Ф. Е. КОРШУ

надпись на третьем выпуске «Вечерних Огней»

Камен нетленные созданья
Душой усвоив до конца,
Прослушай волчьи завыванья
Гиперборейского певца.

21 января 1888

ГРАФИНЕ А. А. ОЛСУФЬЕВОЙ

при получении от нее гиацинтов

В смущеньи ум, не свяжешь взглядом,
И нем язык:
Вы с гиацинтами — и рядом
Больной старик.

Но безразлично, беззаветно
Власть вам дана:
Где вы царите так приветно —
Всегда весна.

2 января 1887

ГРАФУ А. В. ОЛСУФЬЕВУ

Второй бригады из-за фронта
Перед тобою мой Пегас,
Хоть сбросил он Беллерофонта,
Но под твоей уздечкой пас.

Ты сам заметишь поначалу:
Каким он был, ему не быть,
И как служил он Ювеналу,
Улану ныне не служить.

Но в шенкелях его исправно
Перед тобой провесть хочу,
И лишь твое услышу: «Славно!» —
Я «Рад стараться!» прокричу.

4 октября 1886

ЕМУ ЖЕ

Вот наша книжка в толстом томе:
В своем далеком гетском Томи
По-русски стал писать Назон;
Но без твоих трудов — ей-богу! —
Для армяка забывши тогу,
Неряхой бы явился он.

Бывало, чуть он где споткнется
И на *авось* опять сошлется.
Славянским духом обуян,—
Ты, приводя к почетной цели,
Уже гласишь, что так велели
Сам Lörs и Riese или Jahn.

И вот, оправленный, умытый,
Поэт наш римский знаменитый
Стоит, расчесан, как к венцу.
Чего ж кобениться упрямо?
Пусть отправляется он прямо
С поклоном к крестному отцу.

14 января 1887

ПИСЬМА

А. А. Григорьеву

1

Первая половина 1847 г. (?)

Знаю, что письмо мое будет довольно нелепо, но что из того? Дело не в том: дело в деле. Но мне так много, так много <надо> сказать тебе <...>, что, я думаю, из этого выйдет *катавасия.* Тут бы надобна музыка, потому что одно это искусство имеет возможность передавать и мысли и чувства не раздельно, не последовательно, а разом, так сказать — каскадом. Прочь переходные состояния, как бы разумны они ни были; да, прочь! их не существует; давайте нам жизни и наслаждения, давайте нам светлого прошедшего, чудного, светлого, голубого и давайте нам примерного настоящего!.. Ты знаешь, что я не комедиант, но я могу сказать... Странное дело, странное противоречие! Ты, вечно бездоказательный, искал на деле доказательств любви, я — воплощенная логика, в этом случае верю: да, друг мой! есть вещи, которые не доказываются и в которых мы инстинктивно убеждены — и вот к последним-то принадлежит то верование, что мы были созданы понимать, дополнять один другого. Иначе как объяснишь ты множество фактов в нашей нравственной жизни, даже, например, и тот, что я и теперь, спеша передаться, не договариваю, уверенный вполне, что все тебе и так скажется, между строками. Согласись, что, с точки зрения здравого рассудка, мы имеем общего теперь разве только центр земли, а между тем не удивляйся, что я так долго останавливаюсь на общем: это общее напоминает мне прекраснейшую, лучшую полосу нашей общей юношеской жизни, от которой грудь расширяется и легко дышать человеку!

Теперь поговорим о делах *мира сего.* Что касается до твоего положения, то я его не знаю и очень хорошо постигаю. Но что ты, с позволения сказать, поэт в душе (именно, уж подобную вещь можно сказать только *с позволе-*

ния), в этом нет никакого сомнения. Ты звал меня часто в Петербург — спрашивается, зачем?.. Затем, чтобы заниматься литературой? Не могу ни так, ни сяк — я человек без состояния и значения — мне нужно и то и другое, а на той дороге, которую я себе готовлю, будет, может быть, и то и другое. А поэзия? да что же может мешать мне служить моему искусству, служить свободно и разумно.

Сейчас только получил еще письмо от тебя. «Ну уж!» — если ты помнишь, как я говорил: «ну уж» и каким жестом я сопровождал его, то тебе все будет понятно — черт знает, почему опыт ни на тебя, ни на меня нисколько не действует? Отчего нам не дано развиваться? Это — загадка, которой я не беру на себя труда разрешить, а между прочим, несмотря на все движение окружающего нас общества, на весь прогресс и прогресс, нам все-таки судьбами неба суждено оставаться теми же школьниками, какими мы имели счастье быть на лавках университета. Знаешь ли? если бы я видел людей с такими наклонностями, как ты и я, если бы я видел этих людей болтавшимися столько времени по омуту жизни и если бы меня целый свет уверял в их нравственной свежести — я бы вопреки целому свету этому не поверил — и, о чудо чудное и диво дивное! Столько наивности, смешного, детского, как во мне и в тебе, трудно отыскать в пансионе благородных девиц — несмотря на то, что ты, с ребяческой гордостью, уверяешь себя и меня в своем разочаровании... Докажи мне противное, и я со стыдом преклоню свое тупое оружие — да нет! я уверен, что в тебе достанет ума увериться в истине слов моих... Доказательство моего мнения налицо. Ты рассуждаешь очень умно о резигнации, о положительности — и вдруг в следующем же письме поражаешь меня, что говорится, обухом по лбу. Какую ты печальную роль разыгрываешь, мой милый, в отношении к Василью Имеретинову — с первого же разу этот человек, которого я, между прочим, знаю как свои пять пальцев, нашел конька в тебе самом — и увы! предвижу все, обратил самого тебя в ярого арабского бегуна — все твои фантазирования на тему резигнации и положительной, благородной, человеческой деятельности разлетелись как дым и прах от одного дуновения. Имеретинова я знаю, скажу больше: не люблю я это чудовищное создание, этого дьявола в теле ребенка, эту женщину с прихотями кокетки, с камнем вместо сердца. Для меня нет в нем обаяния таинственности, которое влечет тебя, как муху к огню; мне гадка эта природа, как гадка всякая

человеческая язва; но мне он не страшен. Раз мы встретились с ним в таких обстоятельствах жизни, когда люди поневоле узнают друг друга и прямо смерили друг друга глазами и разошлись в совершенно разные стороны. Но ты... знаешь ли? я боюсь за тебя, ты способный оскорбляться всяким советом человека, который тебя искренно любит, и готовый душою и телом поддаться первому смелому мерзавцу. Есть натуры, для которых зло — стихия, может быть, ты в этом удостоверишься... Ради бога, хоть пиши по крайней мере. Поверь, что никогда ты не услышишь от меня даже совета.

Л. Н. Толстому

2

8 мая <1858>

Каждый день поджидал я, добрейший Лев Николаевич, возможности написать Вам в письме новое стихотворение, но их до сих пор нет как нет. <...>

Погода поправляется, и мы поджидаем приезда Тургенева, хотя, зная его, я не слишком-то отдаюсь на этот счет мечтам.

Напишите мне, где Николай Николаич. Если он переехал уже в наши страны, то я его тотчас же найду верхом на закубанке и затащу к нам. Что касается до Вас, то без Тургенева мечта увидать Вас в нашей палестине — пуф.

Если бы высчитывать все поклоны, которые посылают Вам наши дамы, то вышло бы вроде поминанья или солдатского письма, потому что и сестра, и жена, и зять просят поклониться особенно.

Что касается до меня, то я сильно желал бы пожать Вашу руку и перекинуться словами безумия: Die Worte des Wahns. Только они мне дороги и милы.

Недавно получил я письмо из Парижа от Полонского, в котором он у меня просит «Антония» для журнала, имеющего издаваться с 59-го года января, под редакцией, насколько я понял, Полонского, Григорьева и Кушелева-Безбородко. Имя журнала «Русское слово». Но так как у меня в мозгу опять муза, то я отвечал, что до поры не мог сказать «Да». Где будет раздаваться «Русское слово» — не имею ни малейшего понятия.

Будьте здоровы Вы, милейший Лев Николаевич, и ес-

ли тетушка Ваша уже с Вами, то передайте ей мой усерднейший и симпатичнейший поклон.

Жму Вашу руку.

Душевно преданный Вам *А. Фет.*

3

2 февраля <1860>

Любезный граф и ментор!

Как сердечно обрадовался я, когда от Сергея Николаевича узнал, что Вы снова принялись за «Казаков». Язык мой слаб для того, чтоб вызвать Вас на Вашу прежнюю писательскую *сочинительскую стезю,* но не Вам одному, а всем я говорю, что верю в Ваши силы. Вы многого от себя требуете и дадите так многое. Дай бог Вам. Звать Вас в Москву не хочу; незачем,— а пишите, работайте при тихой лампаде, и да благо Вам будет.

А я люблю ловкие вещи, а если Вы скажете, что ночь в «Двух гусарах» вздор, то скажете несуразность. Этот стоячий пруд так и стоит в этой лунной ночи.

Сегодня у нас обедает Григорович, а вчера обедал Раевский. Хочется мне притащить этого юношу к Вам поближе.

Напишите слова два, если найдете свободную минутку. И тетеньке не забудьте передать земной поклон наш с женою. Жму Вашу гимнастическую руку.

Преданный Вам *А. Фет*

4

Орел, железная лавка. <12—14 октября 1862 г.>.

Любезнейший граф!

Не могу достаточно из железной лавки высказать Вам, какою радостью обдало меня Ваше лаконическое, но милое послание. Вы счастливы — и я рад душевно за Вас. Вы давно сто́ите быть счастливым, и дай бог, чтобы нежная рука всадила в Ваш мозг (в физиогномии не силен) тот единственно слабый у Вас винт, который был у Вас шаток и не дозволял всему отличному человеку гулять всецельно по свету. У каждого из нас недостает по нескольку винтов (как в моей молотилке, которая каждую неделю меня радует новыми побряканьями и ломками), но

самая беда человеку, когда в нем зашатается тот главный, серединный винт, который был такого крупного и сильного десятку у нашего бесценного Николая Толстого. Этого винта нельзя заменить ничем, и потому скажу: «Я не могу вспомнить про этого милого здоровенного умирающего, не зашумев всеми ощущеньями души, как нагревающийся самовар». Но довольно. Вы имеете в несколько раз более меня всяких средств составить и чужое и свое счастие, желаю Вам его пуд и берковцы,— но если у Вас его будет наиболее моего — и то не очень сердитесь.

Я юхван,— это у меня ничему другому не мешает, и так доволен Степановкой, что не знаю лучшего Парижа. Но до сих пор не могу уладить своих счетов, постройка замучила, окончательно поеду к 1-му ноября или около того на Маросейку в дом Боткиных в Москву — и потому поеду с женой, которая, когда я сообщу ей Вашу новость, будет плясать по комнате от радости, в дилижансе, а не в своем зимнем возке и ergo, лишен буду радости обнять в Вас человека <...> счастливого и быть представленным молодой графине, как не злой человек.

Верьте, далее семейства счастие ходить не умеет, а на колесе-то своем оно вечно спотыкается.

Веретено сломанное сейчас будет готово; зубья уложены, и я жду обрадовать жену Вашей радостью. Но не может быть, чтобы я зимой не увидал Вас.

Воображаю радость тетеньки, у которой от души за меня прошу поцеловать руку. Графине хоть заочно меня порекомендуйте.

Душевно преданный *А. Фет*.

5

4 апреля <1863 г.>.

Христос воскресе, милейший Лев Николаевич!

Выпроводил образа, сдвинул со стола стекло,— обрезки от листов, которые сам врезал в парниковые колпаки. Алмаз режет *расчудесно,* и пишу к Вам, моя разумная головка! Сколько раз я Вас обнимал заочно при чтении «Казаков» и сколько раз смеялся над Вашим к ним неблаговолением! Может быть, Вы и напишете что-либо другое — прелестное,— ни слова,— так много в Вас еще жизненного Еруслана, но «Казаки» в своем роде chef d'oeuvre. Это я говорю положительно. Я их читал с намерением найти в них все гадким от A до Z, и кроме наслаждения пол-

нотою жизни — художественной — ничего не обрел. Одна барыня из Москвы пишет мне, что это прелестно, но не возвышает дух, и видно, как будто автор хочет нас сделать буйволами. Матушка! Тем-то и хорошо, что автор ничего не хочет. Разумеется, так же мало подобные барыни понимают Оленина. Да это и не их дело. Эх! как хорошо! И Ерошка, и Лукашка, и Марьянка. Ее отношение к Лукашке и к Оленину — верх художественной правды.

Я нарочно по вечерам читаю теперь «Рыбаков» Григоровича. Все эти книги убиты Вами. Все повести из простонародного быта нельзя читать без смеха после «Казаков». Глеб лежит на вершах. Как? на вершах. Да навзничь, и его старуха застает шепчущим про себя имена сыновей: «Ваня! Вася! Петя!» Это статочно на луне или в доме барыни, которая через карманную трубку надувает свой гуттаперчевый кринолин. Но когда Оленин, полон надежд, приходит к ней, она говорит только: «У, постылый». Как это все свято, верно. Вот Вы сами осуществили правило: «Он мне про эманспацию, а я стану есть редьку». Так, да надо есть-то ее умеючи.

Пожалуй, чего доброго, коммунисты почтут Вас своим главой. Напрасно! Буйвол и Лукашка не потому хороши, что желают чужого во имя подлого трусливо-ленивого чувства зависти, а потому что им ничего лишнего не нужно. Буйвол не семинарист с запахом лампадки и риторическими доводами под черепочком, а самый благородный лорд. Он вполне джентльмен. Он делает все так, как делал его отец и дед. Буйвол порядочный человек, и я люблю буйволицу. Поставьте Устеньку (кажется) и Марьянку в наши условия воспитания — одна выйдет непотребной девкой, а другая солдафоном,— но у себя в слободе — они богини. Богини — белых зубов, а это не безделица. Неизъяснимая прелесть *таланта.* Талант — это чистый цвет лотоса или хоть крапивы — все равно, но цвет.

Послушать Вас порой в разговорах — нет силы согласиться, а в поэзии Вас нет — есть одна сила и правда, а там словопрители разбирай по субботам, отчего то или другое. «Казаки» должны явиться на всех языках <...>, это дыхание леса с фазанами и Лукашкой, с бурки целящегося в абрека. Как лежит мертвец и колени развалились. Вы мастер, и Вам книги в руки.

Школьники сидят на полу и перебирают пшеницу для семянной десятины. Пора сеять, а весна чуть-чуть наклевывается.

Пожалуйста, черкните при случае словечко. Что ружье

и Гольтяков? Получили ли мое предыдущее письмо?

Кончаю и крепко жму Вам руку. Глаза плохо видят. Совсем было ослеп. Милым дамам Вашим прошу передать мой задушевный привет.

6

11 апреля <1863>.

Не могу воздержаться, дорогой Лев Николаевич, чтобы не черкнуть Вам несколько слов по поводу вчера прочтенного «Поликушки», Вы знаете, как Вы мне дороги. Я не верю ни в чей современный талант, исключая Вашего. И не писать *Вам* считаю постыдным, как считал бы постыдным мотыльку не пить росы, вороне не воровать цыплят. Итак,— я, по-моему, имею полнейшее право говорить Вам свое мнение начистоту. Став перед моим судом, Вы не моргайте и не передавайте тяжесть корпуса с ноги на ногу, а не забывайте, что Вы Лев Толстой, а не Алексей и не Феофил. Вам нечего радоваться, что Вы мастерски справились с тем или другим сюжетом. Это Вам бог дал такой сильный живот. Но он же дал Вам нос художника. Зачем же Вы в угоду художнического искания *нового* позволяете себе искать его там, где претит. На это Вы мне скажете, что у меня нет носу и что тут не претит. А я скажу, что кто не верит в Гомера, Рафаэля, Праксителя и Лизиппа — профанатор. Кол вбит, веревка натянута, теленок ешь, что хочешь, но не дальше конца веревки — баста! Навеки. Дикий народ не может иметь истории, и никто извне не может его заставить иметь, чего нет. Плесень народа не может иметь, то есть не должна иметь повествователя. А наши бывшие дворовые менее самых отвратительных негров (зри дядю Тома) имеют право на перо первоклассного писателя. Мужики — другое дело — они хоть варвары — но люди. Дворовые — не люди и никому не понятны в одежде претензии на людей. И каков же результат? Вы бились всеми силами стать на божески недоступную точку, хотели быть отрешенным судьей, а стали как будто в отсталые ряды адвокатов. Это мне больно! Подумайте — Вы и адвокатура в поэзии. Возможно ли это. «Да я ни за кого». Вижу, знаю, слышу, чую, а дело-то все выходит вопиющее. «Это не моя вина». Стало быть, моя или попа Семена? Нет, Вы солнце,— ну и сияйте жарко, мягко, как хотите, но сияйте, а не стряпайте в темной закоптелой печи.

«Казаки» — Аполлон Бельведерский. Там отвечать не

за что. Все человечно, понятно, ясно, ярко — сильно. В «Поликушке» все рыхло, гнило, бедно, больно, ни солено огорком [?]. Вы отсылаете Абдини в лазарет, отчего же Поликушку не туда же? Все верно, правдиво, но тем хуже. Это глубокий широкий след богатыря, но след, повернувший в трясину.

Скажу последнее слово. Я даже не против сюжета. А против отсутствия *идеальной чистоты*. Венера, возбуждающая похоть,— плоха. Она должна только петь красоту в мраморе. Самая вонь должна в создании благоухать, перешедши durch den Labirint der Brust * художника. А от «Поликушки» несет запахом этой исковерканной среды. Это какие-то вчерашние зады. Вот мое личное впечатление. Если я не прав, тем хуже для меня. Напишите же словечко.

Стихи:

Месяц зеркальный плывет по лазурной пустыне,
Травы степные унизаны влагой вечерней,
Речи отрывистей, сердце опять суеверней,
Длинные тени вдали потонули в ложбине.

В этой ночи, как в желаниях, все беспредельно,
Крылья растут у каких-то воздушных стремлений,
Взял бы тебя и помчался бы так же бесцельно.
Свет унося, покидая неверные тени.

Можно ли, друг мой, томиться в тяжелой кручине?
Как не забыть, хоть на время, язвительных терний?
Травы степные сверкают росою вечерней.
Месяц зеркальный бежит по лазурной пустыне.

А. Фет

Адрес мой г. Орел,

7

1 января 1870 г.

С новым годом и старым счастьем! <...>Сию минуту кончил шестой том «Войны и мира» и рад, что отношусь к нему совершенно свободно, хотя штурмую с Вами рядом. Какая милая и умная *женщина* княгиня Черкасская, как я обрадовался, когда она меня спросила: «Будет ли он продолжать?» Тут все так и просится в продолжение —, этот 13-летний Болконский, очевидно, будущий декабрист. Какая пышная похвала руке мастера, у которого все вы-

* Через лабиринт сердца *(нем.)*.

ходит живое, чуткое. Но, ради бога, не думайте о продолжении этого романа. Все они пошли спать вовремя, и будить их опять будет для этого романа, круглого, уже не продолжение — а канитель. Чувство меры так же необходимо художнику, как и сила. Кстати, даже недоброжелатели, то есть не понимающие интеллектуальной стороны Вашего дела, говорят: «По силе он феномен, он точно *слон* между нами ходит». Я ненавижу *умных и ученых* людей. Я изучал Горация, я любовался нравственно-слабой, жирной эпикурейской фигурой, либерально набожным сластолюбцем, наполненным преданий афинского приличия и того героического строя, который двигал всем классическим миром, как движет теперь даже атеистами,— христианство. Я радовался всякой остроумной догадке или доказательству ученого комментатора насчет того или другого места или подробности. Но мне противно было, когда к моему герою относились, как к книжке или кнуту, которым надо пробирать. Одно *умное* или *жестокое* (Островский) слово меня приводит в озлобление, и я сам начинаю говорить жестокие слова: *«Пистолет. Кавказ»*. Так, например, из писем и писаний Тургенева я вижу, что он теперь выдумал умное слово *свобода,* связывая его с знанием, то есть наукой. Очевидно, что он раз приискал такое слово, но не сообразит, что это понятия двух разнородных, не имеющих ничего общего, порядков. То, что я хочу сказать, я еще и сам хорошо не обдумал, а только чувствую, что тут нет противоречия. Свободы приобрести нельзя, а можно с ней родиться. Дуб свободен, плющ не свободен, ему нужна чужая подпорка, и тут ничем не поможешь — он плющ. Еврипид, несмотря на божественное могущество гения, несвободен, в нем прет вся Греция, с которой он управиться не может, да и в голову ему это не приходит, как листу, уносимому потоком плыть к истоку. *Шиллер,* величайший певец свободы, не свободен — в нем прет немец и вся история, в Гете прет тот же немец, но на этом немце, с его наукой и историей, едет Гете, потому-то немцы и кричат, что он предатель и эгоист. Только слабоумные люди видят в науке колдовство, а в жизни простоту и тривиальную будничность, тогда как это совсем наоборот. Как бы высоко ни забралась математика, астрономия, это все дело рук человеческих — и всякий может шаг за шагом туда взлезть, проглядеть все до нитки, а в жизни ничего не увидишь — хоть умри — тут-то тайна-то и есть. <...> Я могу признавать пользу и интерес статистических данных. Но когда меня хотят оседлать таким силло-

гизмом: статистика — цифры, цифры непогрешимы — ergo статистика точная наука,— я говорю — э-ге! вон куда метнул! Я сую всю пищу без разбора в один желудок, который варит и отделяет, стало быть, кровь и желчь, кость и сало, все равно, хотя по удельному весу, по субстанциям это небо и земля. Во все живые явления, выражаемые статистическими цифрами, ежесекундно вторгается океан саморазличнейших нечислимых жизней, так что говорить о цифрах, выражающих данные статистики, все равно, что о *носах,* будь это чукотский, птичий нос или нос корабля или чайника. Словом, владеть своим я по отношению к лошади, человеку, грамматике, физике, танцам — значит быть свободным, а выдумать какое-нибудь новое слово вроде *учиться, чтобы быть свободным,* и носиться с ним, припевая: «Акей аб! акей ось!» — значит старый романс:

Тебя забыть, искать *свободы!*
Но цепи я рожден носить...

Вот почему Ваша интеллектуальная свобода так мне дорога и так бесит и волнует всех почти без исключения. Зашла речь у Черкасских об второй части эпилога, и все стали меня бить, зачем я это написал. Я попробовал защищаться, но увидал, что это глупо.

Около меня сидел Ив. Аксаков, он еще не читал. «Жаль,— сказал я,— я бы послушал, что Вы скажете».— «Я уверен, что найду непременно много блестящих и верных мыслей». Я крепко пожал ему руку, сказав, это ему приятно будет услыхать. Но для других это «*Иудин соблазн,* если нам не безумие». И иначе быть не может. Как же можно, в самом деле, трогать руками книжки и науки. Если б это было можно, то это бы значило и доказывало, что мы знаем науки, как знаем свои отличные носовые платки, которые мы и любим и трогаем. Ведь это хорошо колодезнику сесть верхом на перекладину и с лопатой опускаться на дно работать, а мы должны подойти, взглянуть и крикнуть,— ах, какая неизмеримая, страшная, таинственная глубина. Если ты, тетенька, осмелилась когда-нибудь подумать подойти к колодцу — то я *тага* скажу, и тогда век не забудешь. Попробуй — как колодезник, который только сейчас расчищал на дне ключи, сказать, что там нет ничего таинственного, чего бы не было и здесь, на поверхности,— они его сочтут или за тупого человека, или за фарсера *. <...> У Вас руки мастера, пальцы, ко-

*Шутника, балагура *(от фр. farceur).*

торые чувствуют, что тут надо надавить, потому что в искусстве это выйдет лучше,— а это само собой всплывет. Это чувство осязания, которого обсуждать отвлеченно нельзя. На следы этих пальцев можно указать на созданной фигуре, и то нужен глаз да глаз. Не стану распространяться о тех критиках по поводу шестой части: «Как это грубо, цинично, неблаговоспитанно и т. д.». Приходилось и это слышать. Это не более, как рабство перед книжками. Такого конца в книжках нет — ну, стало быть, никуда не годится, потому что *свобода* требует, чтобы книжки были все похожи и толковали на разных языках одно и то же. «А то книжка — и не похожа — на что же это похоже?» Так как то, что в этом случае кричат дураки, не ими найдено, а художниками, то в этом крике доля правды. Если бы Вы, подобно всей древности, подобно Шекспиру, Шиллеру, Гете и Пушкину, были певцом героев, Вы бы не должны сметь класть их спать с детьми. Орест, Електра, Гамлет, Офелия, даже Герман и Доротея существуют как герои, и мне возиться с детьми невозможно, как невозможно Клеопатре в день пиршества кормить грудью ребенка. Но Вы вырабатывали перед нами будничную изнанку жизни, беспрестанно указывая на органический рост на ней блестящей чешуи героического. На этом основании, на основании правды и полного гражданского права этой будничной жизни, Вы обязаны были продолжать указывать на нее до конца, независимо от того, что эта жизнь дошла до конца героического Knalleffekt*. Эта лишне пройденная дорожка вытекает прямо из того, что Вы с начала пути пошли на гору не по правому обычному ущелью, а по левому. Не этот неизбежный конец нововведения, а нововведение самая задача. Признавая прекрасным и плодотворным замысел, необходимо признать и его следствие. Но тут является художественное *но*. Вы пишите подкладку вместо лица, Вы перевернули содержание. Вы вольный художник, и Вы вполне правы. «Ты сам свой высший суд». Но художественные *законы* для всяческого содержания неизменны и неизбежны, как смерть. И первый закон — *единство представления*. Это единство в искусстве достигается совсем не так, как в жизни. Ах! бумаги мало, а кратко сказать не умею! В жизни — Демосфен на площади, с кипящей филиппикой на устах, и Демосфен, все потерявший, одно и то же лицо, а в искусстве одна статуя в Риме, а другая в Париже, и обе прелестны,

* Шумный успех *(нем.)*.

но не совместимы. В жизни и Пьер и Каратаев могли вонять во вшах и потом надеть чистое белье и фраки, оставаясь, в существе, теми же, какими были в грязи. Но в искусстве Пьер это может и должен пережить, как Петя должен быть убит, а Каратаев так и должен остаться пристреленным под березкой. Тронуть его оттуда невозможно, как невозможно заставить Милосскую стирать белье. Гектор, Ахиллес — характеры, а Алтиной, Нарцисс — красота, а не характеры,— даром, что мужчины. Елена, Офелия, Гретхен, Наташа, как ни вертись художник,— красота, а не характер. Художник хотел нам показать, как настоящая женская духовная красота отпечатывается под станком брака, и художник вполне прав. Мы поняли, почему Наташа сбросила Knalleffekt, поняли, что ее не тянет петь, а тянет ревновать и напряженно кормить детей. Поняли, что ей не нужно обдумывать пояса, ленты и колечки локонов. Все это не вредит целому представлению о ее духовной красоте. Но зачем было напирать на то, что она стала *неряха.* Это может быть в действительности, но это нестерпимый натурализм в искусстве... Это шаржа, нарушающая гармонию.

Кланяйтесь всем

Ваш *А. Фет*

8

Московско-Курской ж. д.
Полустанция Еропкино. 12 апреля <1877 г.>.

Как досадно, дорогой граф, что самые дорогие для меня мои письма к Вам — не доходят. Когда хочется быть понятым — а тут осечка. Не хочу, вне всякой нелепой скромности, равняться с Вами. Но, мне кажется, самое дорогое для нас — наша искренность и серьезность. Наше убеждение — действительно убеждение, наша вера — действительная вера, которая все проникает, а не сидит в доме на чердаке, как заблудшая чужая кошка.

Прочел мартовскую «Каренину». Не говорю о мастерстве подробностей — руки болтаются, ламповое стекло чистит, портрет и высота красоты, *прекрасно* влюбился в Каренину и *нехорошо,* и жена резко ударяет на все это.

Но какая художницкая дерзость — описание родов. Ведь этого никто от сотворения мира не делал и не сделает. Дураки закричат об реализме Флобера, а тут все идеально. Я так и подпрыгнул, когда дочитал до двух дыр в мир духовный, в нирвану. Эти два видимых и веч-

но таинственных окна: рождение и смерть. Но куда им до этого! Они даже в течение тысячелетий не сумели разобрать, что такое реально в искусстве и что идеально. Но что идеальней мадонны дрезденской или милосской? Но представьте, чтобы явилась где-либо точь-в-точь та или другая девушка. Какому художнику была бы она нужна? Да и возможно ли живому быть такому? Художники увековечили момент красоты, окаменили миг. А разве можно задержать вне времени живущее во времени? Очень возможно и натурально, что Див, побежденный Пери, принес упрямую китайскую царевну на постель упрямого царского сына, который надел свое кольцо ей на палец. Но невозможно, чтобы Каренина вышла замуж за Вронского и благодушествовала, а Кити привела бы сама любовницу своему мужу.

Что Вы в «Войне и мире» некстати говорили о свободе воли — я согласен. Но что все эти дураки ничего не поняли из Ваших глубоких и тяжеловесных слов, то это только доказывает их повальную и безнадежную тупость. Там, где в основу миросозерцания не положена *гранитная скала* необходимости, там один бедлам. Там адвокаты, прокуроры, международное право, с одной стороны, и право человека, с другой. Если есть у того красного куска мяса, на который гадливо посматривает Левин, права, то и у Вашего сына право на его, то есть Вашу, десятину или корову, а если у Вашего сына нет этих прав, то и у другого коллективно куска мяса их нет. Какие могут быть права у того, кто, если ему насильно не всунут сосца в рот, в первый же день уйдет, откуда пришел,— безапелляционно. Тут царство благодати, а не царство права. Под какие международные права подведет Комаровский теперешний турецко-европейский менуэт? Вот кабы русачки взяли Вену, Дарданеллы да Царьград, вот бы и были права, и историки бы доказали, как 2×2, что иначе не могло быть, а если мы чего не досчитаемся, то Аксаков нам не поможет.

Сегодня доламывают, то есть домазывают овес. Погода ужасная, но, кажется, идет к лучшему. Вчера Оля слышала вечером робкое рокотанье соловья. А я, бедняга, выжидаю 13-го, то есть завтрашнего дня, а 14-го поеду с женой в Москву к доктору Новацкому. Когда получите эти строки, мы вдвоем будем, вероятно, в Лоскутной гостинице. Если будете писать, пишите в контору Петра Боткина и сыновей. Шеншину.

<...>

До какой детской степени мило Ваше помилуй, *прости* помоги. Сейчас возникает образ мстящего и мстительного существа. Да и как иначе смотреть из мира явлений, где Вас с колыбели травят до могилы.

Будьте здоровы, дорогой граф, и старайтесь наслаждаться сознанием отсутствия боли. Всякое благо — только отсутствие зла.

На одной из древнейших гробниц египетских меня поразила надпись: «Я никого не обидел, я сострадал несчастным, я... и т. д. я чист, я чист, я чист». Точно голос с того света. Не правда ли?

Что-то станется с моей мечтой побывать у вас в Ясной 12-го мая? Наш общий и глубокий поклон графине. Крепко и дружески жму заочно Вашу руку.

А. Шеншин.

9

Будановка. 20 марта <1878 г.>.

Не писал Вам до спх пор, дорогой Лев Николаевич, потому что Тускорь, изобразив собою маленькую Волгу, отделила нас от остального мира, а завтра думаю послать в объезд верхового за рыбной сетью на Будановку, и я пользуюсь случаем писать. Давно не встречал весны с таким искренним чувством. Для этого надо много жить, чтобы действительно понять весь этот великий вздох природы. Дети и мужики едва ли на это способны. Третьего дня обычным мерным полетом пронеслась над парком цапля.

Ну точно, буквально, она несла за собой весну, точно церемониймейстер спешит сказать: «Идет».

Вчера быстрей американского поезда пронеслись гуси. Скворцы и дрозды прилетели, и вот-вот ждем вальдшнепов, на которых Федор Федорович обещал приехать около 25. Бедняга, его семейное счастие, кажется, угостило параличом, и он говорит, произнося с усилием. У нас мучительная и неизбежная стройка вытаскивает последнюю копейку, так что я уже чешу не затылок, а пустопорожнее место. Хотя до сих пор выхожу на воздух мало, но не томлюсь скукой, деля день между чтением, счетами, бильярдом и пасьянсом. Кант подвигается микроскопически, прочел одну треть книги и многого не разжевал, как бы хотел, хотя общий очерк его системы мне понятен. Но есть выводы демонстративные, до того тонкие, что надо особенное внимание при чтении. Недаром Шопенгауэр понял его только при 8 чтении. Но мое первое стоит пятого. Со страхом жду газет. Все, что мы с Вами говорили и

предвидели, к сожалению, сбывается буквально. Я задавал этот вопрос Каткову, то есть к чему приведут вас победы, если такие и будут? Нам не дадут никаких плодов, ни для себя, ни для других. На это он отвечал: «Влияние Англии на Востоке пало». А что скажет он об этом влиянии, если оно восторжествует даже над очевидными для всего света победителями? И вот под этими неизменными впечатлениями получаю письмо от Энгельгардта: напиши я для «Московских ведомостей» стихи на смерть Черкасского. Я, разумеется, отвечал, что это мне не по силам. И этот раз правда.

Это совершенно не в моем роде, да, кроме того, как я буду хвалить людей, погубивших мое отечество? Как бы я желал хоть часа 3 просидеть в Вашей гостиной и порассказать прелестной графине, каких я насмотрелся людей. Если бы это были выродки, не стоило бы говорить, но им имя легион — или Петербург. Мы продаем Петины Новоселки. Приехал из Питера генерал-майор князь Энгалычев. Мы приняли его, как принимают покупателя. Зато на другой день во время переговоров о покупке я, если бы дело шло о моей собственности, наверное, поколотил бы этого генерала. Никакая лошадь не может быть тупее; так что я сказал ему: «Вы сознаетесь, что ничего не понимаете, а между тем не позаботились захватить знающего человека. Я решительно не могу Вам отвечать, потому что ни слова не понимаю в вашей речи». Спрашивает, указывая на хлеб в мешках: «Это все молоченый?» — и спрашивает у меня в Воробьевке, сколько кур в Новоселках, а лошадей и не смотрит. И когда дойдет до конца,— у него одно слово: «Позвольте, для этого мне надо *сосредоточиться*». Слышите голос Петербурга? По-нашему, надо сказать: чтобы понять, что, за исключением 19 десятин неудобной из 359,— останется 340 удобной, надо не быть дураком, а у петербургского генерала в Английском клубе это называлось — надо сосредоточиться. И так сосредоточиваются петербургские политики, финансисты, академики и ведут дело.

Как Вы все поживаете и что Ваша работа? У меня стихов нет и будут ли, не знаю.

После Святой думаю заехать и на денек в Ясную Поляну.

Примите и передайте графине наши общие с женой поклоны и приветствия. Говорят, что «Коренная» еще на этот год продержится на месте.

Будьте, главное, здоровы. Всегда Ваш *А. Шеншин.*

Поп-законоучитель отстранил своего товарища от школы, а сам не бывает, а я ему ничего не дам.

10

Будановка. 31 марта <1878 г.>

О, как живительны Ваши краткие письма, дорогой моей душе Лев Николаевич. Знаете ли, какое доброе дело Вы ими делаете? Вы меня всякий раз подымаете с земли, на которой я иногда лежу, скорбный, одинокий, как расслабленный у овчей купели. Знаете ли, как я облизываюсь от предвкушения наслаждения, когда сажусь писать Вам? Точь-в-точь маленький когда-то Илюша, которого музыка вызывала из темной комнаты танцевать, а сознание, хорошо ли выйдет, удерживало выходить с своим искусством на свет. Так и я все боюсь за неумение высказать, что нужно. Но с Вами и это не страшно. Вы читаете между строками. Очевидно, читая Ваши письма, я не помышляю о Льве Толстом, но надо быть слепым, чтобы не поражаться ударами великого писателя. Таких приемов нельзя выдумать. Вы правы — я не умею писать прозой, как не умеет А. Мюссе. Задача лирика не в стройном воспроизведении предметов, а в стройности тона.

Живописцу нужно красную комнату, и он тащит и кардинальскую мантию и старую бабушкину шаль, хотя такое согласование у романиста возбудит смех. Я очень хорошо знаю, что в реальности das Ding an sich — есть Unding*, но я люблю мечтать, что дорожу в Вас тем, что не может быть Predicat**. Какая счастливица Ваша прелестная жена, мой постоянный неизменный идеал. Какая она необыкновенная умница,— что знает, а не только чует свое счастье. Если бы Вы были самым ограниченным, бездарным и несведущим человеком и я бы посмотрел Вам в глаза и за теперешним их всевидением, проницательностью досмотрелся до простоты и целостности этого взгляда, я бы и тогда воскликнул: «Ecce homo***. Вот тот человек, которого я ищу и жажду». Вы говорите о *низменности* людей. Но надо условиться в термине низменность. По-моему, по русской пословице «Не удастся свинье на небо

* Вещь в себе... не вещь *(нем.)*.
** Здесь в смысле «высказано» *(нем.)*.
*** Вот человек *(лат.)*.

взглянуть» — низменна крыловская свинья под дубом. Напрасно:

Ведь это дереву вредит,—
Ей с дубу ворон говорит.

А она отвечает:

Мне были б желуди, ведь я от них жирею.

Выучите эту свинью древним и новым языкам, познакомьте с философией, с искусствами, взглянет ли она когда на небо? Не потому, что она не способна научиться, а потому, что она свинья и у ней шея кверху не гнется. Чем большему ее научат, тем больше от нее беды. Она должна про высокое, как нравственность, государство, народ, образование, искусство, судить по слуху. Вот она и строит земледельческие академии, подрывая изо всех сил земледелие, старается об истреблении волков и развитии общества стрелков и свободной продаже пороха и запрещает под ужасным штрафом возить порох по железным дорогам, а другие уничтожила. Хлопочет о народных, принудительных европейских школах и оставляет попов в презренном виде, от которого русский человек — и раскольник и православный — готов откупиться последней курицей, лишь бы иметь право загоготать ему в спину — и забывает, что в Европе нет попа не из университета, да какого университета. Но об этом горько говорить. Я боюсь, когда загляну в газеты. Все, о чем мы с Вами бесполезно толковали за 2 года, о чем Вы печатали, все это сбывается в увеличенном виде, а они все свое, да еще хотят, чтобы мы их воспевали. «Бог с ними, прости им». Что же остается делать. Заснешь в уединенном кабинете или в саду и держишься единственного Льва Николаевича и Ясной Поляны, представляющую единственную действительно Ясную Поляну в непроглядном мраке нравственного дремучего лесу. Что я и делаю. Другого не знаю.

<...>

Лет 18 тому назад ехали мы в тарантасе за Болхов с Тургеневым на тетеревей. И он прочел мне целую лекцию, из которой явствовало его превосходство надо мною, как человека *надломленного* над цельным. Я тогда ничего не отвечал, господи, неужели я так недавно был так возмутительно глуп. Часто я теперь вспоминаю тогдашнего модного *надломленного*. Помню, что худо понимал это выражение, а между тем внутренно, наподобие Ивана Ивановича, повторял: «Господи! Николай-чудотворец: отчего я

не *надломленный»*. Что же, однако, в самом деле может обозначать это фигурное выражение?

Очевидно, что, наскуча французское désillusionné, blasé — разочарованный, притупленный, равнодушный, они перевели с немецкого der Zerrissene, словом, как ни называй, разочарованный, надломленный или нигилист. Человек отрицающий; а между тем все эти на словах неверующие готовы казнить не признающих их пропаганды. Ergo, или они лгут, или сами не знают, чего хотят и что говорят. А я теперь, напротив, горжусь, что Страхов, не отвечающий на письма мои в Публичную Императорскую библиотеку в Питере, находит меня цельным, ибо не понимаю, как можно жить надломленному, то есть не самим собою.

Еще ближе к делу. Третьего дня я получил из Одессы письмо от брата Петруши, который не получил, разумеется, на Балканах ни денег — двукратно с января, ни платья высланного — и который пишет, что, бесцельно прошатавшись в Царьграде и проч., прибыл, как и следует, безо всего в Одессу, где хочет наживать деньги торговлей учебными принадлежностями, на что нужно 5 тысяч. В ту же ночь я выслал ему с верховым 1000 рублей через Курск и пишу, что деньги у него готовы. Нечего Вам говорить, что за этой лавочкой сидит лавочник, который давно ждет, кому бы сбыть свой хлам, а тут навернулся олухной тетерев Петр Афанасьевич. Поэтому я пишу брату следующее: «На твою речь о невозможности тебе жить где-либо, за исключением окроме России, после всего того, что было, смею заметить, что ты никого не убил, не ограбил, не оскорбил и, сколько я знаю, не совершил никакого дела, после которого стыдно на людей смотреть. А Нарышкин только что вернулся из волонтировки и хвастает этим, а что ты не женился, так благодари бога, да и скольким холостякам пришлось бы бежать на окраины. Кроме того, я сам бежал на окраину в Воробьевку, в которой, кроме помещения в доме, пустой флигель — и что еще окраиннее за 3 версты от усадьбы 270 десятин дубового лесу, который я делю на 27 лесосек и буду продавать по 10 десятин ежегодно за 3000 рублей, которые уже предлагали, давая за 70 десятин крупного лесу по 300 руб. Поэтому подумай, не удобнее ли и выгоднее будет нам обоим, если ты будешь ежегодно покупать у меня такую лесную дачу, с поставкой за 8 верст на станцию Курской дороги. Я все равно должен продать эту дачу и вручить тебе деньги, а ты во что бы то ни стало хочешь торговать.

Уж лучше лесу повырубить не может, а чтобы дело было по совести, то попросим Льва Николаевича взглянуть на лес, и он тебе, как знаток, все расскажет и укажет». Дело в том, что если брат не возьмет этого дела, которым мне бы хотелось удержать его от скитанья и мельмотства, то я сам буду производить эту операцию по Вашему указанию. И так я вел все это дело к тому, чтобы доказать Вам, что приезд Ваш весной в Воробьевку, кроме именин сердца, будет иметь для меня значительное практическое, а при брате и нравственное значение. Жена просит передать графине Софье Андреевне ее усердный привет, а Вы должны за меня усерднейше поцеловать прекрасную руку моего неизменного идеала. Без нее все вы, несмотря на гений, на отличные сердца, на состояние, пропали, как мухи осенью. Да хранит ее бог — эту трудолюбивую пчелу — в ее шумливом улье.

Всегда Ваш *А. Шеншин.*

Вальдшнепов нет как нет! А у Вас?

11

Будановка. 19 февраля <1879 г.>.

Дорогой граф!

На Масленой провалившийся при переезде через нашу Тускорь адъютант Гильденшубе штабс-капитан Салтанов просил позволенья переодеться у нас. Мы снабдили его сухим платьем, и он отправился к своему больному отцу помещику Салтанову, нашему соседу. На днях явился сам отец Салтанов благодарить и приехал прямо с похорон нашего уездного предводителя Кладищева, умершего в ночь скоропостижно, так что брат его, флигель-адъютант из Питера, настоял на вскрытии тела, и дело похоже на отравление, по затруднениям в средствах к жизни семейства. Жена была в Питере. Старый Салтанов почти, то есть совсем, мой однокурсник Московского университета — математик.

Я все более о сельских старостах да о заливных лугах (при Петруше Борисове — Салтанов у нас ночевал) — а ему, очевидно, нужно со мной о литературе, о Тургеневе и Толстом и не приведи господи! Теперь около меня собирается рой — насчет предводительства. Что будет, ничего не знаю. Вот если бы я лез с философией и нараспашку

к ним, Ваш упрек был бы заслужен с двух сторон, а теперь он верен только для Вас субъективно. Но объективно, я даже не допускаю, чтобы Вы меня не понимали. Шопенгауэр говорит, что все открытия делает *рассудок* непосредственно, как собака чует трюфели. Этого довольно. Но когда найденное нужно объяснить другому, приходится передавать дело в высшую инстанцию разума, чтобы он все разложил отвлеченно по частям и по законам; без этого сама истина будет для другого фокусом, которого причины он не знает, как мужик, едущий на паровозе. Если я дорожу Вами и Вашим домом, то у меня есть стихотворенье, в котором

Мне близ тебя хорошо и поется:
Свеж и душист твой роскошный венок.

К этому трудно что-либо прибавить. Это само собой понятно. Но когда человек чувствует свое одиночество и чувствует, что где-то там он не одинок, то вопрос «почему» не менее естествен и прост. Ваши вещи читают, Ваши слова слушают, но многие ли их понимают во всей их синтетической глубине? Неужели Вы думаете, что беседуя с Вами, я хочу Вас во что-то обращать? Мне нужно сказать, и я во зло употребляю Ваше терпение. Вот и все. В наши лета, с нашим многообразным опытом меняться немыслимо; но в высшей степени интересно хоть одним глазком взглянуть, как ходят моральные колеса такой замечательной машины, как Лев Толстой. Надо быть идиотом, чтобы затевать, заводить такие колеса у себя. Наблюдать луну не значит заводить у своего тела фазы, хотя каждая лишняя строка Ваших писем прибавляет мне наслаждения, но я горжусь их краткостью, показывающей доверие: дескать, и так поймет.

Вы знаете, что по вопросам Ваших интимных *интуитивных* убеждений я всегда был нем, как бы глухонемой. Теперь Вы сами вызываете мое суждение по этому предмету. Очевидно, не для поучения, а из любопытства, постараюсь добросовестно ответить. В индейских легендах говорится о царе, оказывавшем непочтение к Вишну — и, когда царь, смеясь над вездесущностью, стал колотить в каменную колонну, говоря: «После этого я должен верить, что он и здесь в мертвом камне»,— Вишну вышел из колонны, и это было его третьим или четвертым воплощением. Что может быть *круче* (как Вы говорите), могущественней этого мифа. Надо признать, что неглубоких мифов нет. Дураки их не создают. Но как же я могу ви-

деть в них другое, чем Шопенгауэр. Vehiculum veritatis? * Итак, я осужден по этому вопросу на субъективное одиночество. Что же оно мне отвечает? Оно, несомненно, мне говорит, что все вне меня *объект*, то есть мое же собственное *представление* + по Шопенгауэру, die Welt ist mein Wille **. Из этого я выскочить не могу. Целесообразность мира и мой человеческий инстинкт не позволяют мне остановиться на пустой форме мира как слепой *беспричинной* воле, мертвенном perpetuum mobile, стоящем в прямом противоречии с изменяемым миром явлений, к которому я прикован. Такой слепой Wille не лучше паука, который пойдет, пойдет и придет. Высшая, разумная, по-своему,— для меня непостижимая воля, с непостижимым началом и самодержанием — ближе моему человеческому уму, противящемуся пантеистическим фразам без всякого содержания. На этом пути эта первобытная воля — причина, а я только микроскопическое последствие. Этим все сказано. Я от зачатия до смерти летящая коническая пуля, которая хочет лететь вперед, то есть ощущает хотение, стремление всех частиц и может судить и, пожалуй, догадываться, что ее толкнули, но из какого орудия. Плоского? Стволообразного? По любви, по неравнению? Этого она знать *не может*, не имея никаких данных. Она только может судить по опыту, что летит по воздуху по закону квадр<ата> расстояний, а в безвоздушном пространстве вечно с одинаковой скоростью. А как она летит в первом условии, то ей суждено потерять через трение силу — и пасть. Мое сравнение бессильно, ибо указывает на *вещь* как на причину другой вещи. Но что можно сказать о причине всякой причинности. Я таков потому, что мне указано быть таким, а не иным. Что я могу на это возражать. Но чтобы я, будучи подобно всему причинен, был в то же время и непричинен — этого я не только не понимаю, но в силу данных мне качеств не могу понимать. Какое же у меня представление личного (очевидно) божества? Никакого. Все мною присочиняемые атрибуты благости, правосудия и т. д. разрушаются при малейшем приложении к явлениям мира, по отношению к моим intuitiv'ным идеалам таких качеств. В детстве я представлял себе Африку в виде столба с кольцом, к которому привязывают лошадей. Без карт и путешественников, Африка могла бы и теперь для меня оставаться тем же столбом. Но на нашей

* Повозка истины *(лат.)*.
** Мир есть моя воля *(нем.)*.

почве ни карт, ни путешественников нет, да и красок и бумаги нет для такого рисунка. Что человек слаб и молится среди океана — это его субъективное чувство и дело. Туда другому вход запрещен. Но по логике молиться об чем-либо, значит, просить бога перестать существовать, изменив свои же неизмененные, вечные законы ради Иисуса Навина. Какие же у меня из временного и пространственного могут быть отношения, вневременные и внепространственные? Для этого одно средство: сесть на одно из Vehiculum * и принять миф за реальность, тогда все сделается просто и отношения становятся не только возможными, но даже интимными. В будничной жизни меня более всего смущают слова вроде: *но все-таки,* по нельзя же. В кассе 5 копеек на калач. Ждут гостей, и одного калача мало. Это совершенно правда. Но это не изменяет дела покупки, так как на 5 копеек *нельзя* купить двух. На это говорят, *но все-таки,* нельзя же. Надо бы прибавить: говорить противуречивые слова. Я понимаю, дорогой граф, что Вам подобный человек не разом отыскал в себе то религиозное чувство, которое Вы питаете. Это новое подтверждение слов великого старца Шопенгауэра. Всякое открытие интуитивно. Это могло быть — и я понимаю, насколько Вам отрадно такое открытие. Я еще про Левина сказал, что он нашел его интуитивно,— для себя. Но я сильно убежден, что далее этого Вы пойти по природе не можете, то есть объяснить, разложить, анализировать это для других. К богословским несостоятельным доказательствам Вы прибегать не станете и утверждать, что немцы из ненависти к христианству выдумали санскрит; а перекинуть мостик из области разума в область интуитивную на этом бездонном поприще едва ли удастся и подобному Вашему уму.

Вы просите, чтобы я откровенно сказал, что это *глупо,* если мне так кажется. А я готов сказать другое: это гораздо благонадежнее, чем разум. Разумом, чего никак не хотел понять Тургенев, не напишешь стихотворения, как не родить мне красавицы дочери или гения сына. Но если интуитивная сила прочнее, вернее, зато она кровнее, наследственней — *индивидуальней.* Мальчик, решающий мгновенно задачи со многими неизвестными, никогда не будет главой математической школы, вроде Эвклида. С другой стороны, разум — ходячая монета всего рода человеческого. На нее все покупается и продается, но никто

* Повозка *(лат.).*

не может сказать, что она его собственная,— она царская. Чего нельзя купить за деньги на земле, не есть ценность и в экономическом смысле ein Unding *. Но было бы слишком тупо называть глупостью расположение дорогого человека только потому, что его нельзя купить за деньги. Мы с Вами стоим в двух различных областях. Вы нашли и говорите с Августином credo quia absurdum **. Если бы он сказал вместо credo — suo ***, было бы чепуха. Но credo так же логично, как всякая другая правда. Я же не нашел потому, что мне это не дано. Вы смотрите на меня с сожалением, а я на Вас с завистью и изумлением.

Что это Вы до сих пор хвораете. Это ужасно грустно. У нас вместо зимы гнилая весна. Не знаешь, что хватать, лед ли тающий, сено ли, плавающее по лугам. Вы пишите, присылайте стихов. Вы забываете великую пословицу Kunst liebt Gunst ****. Напишете Вы мне письмецо или Бржеская по старой дружбе, и вспыхнет нежданная искра, а нет — и нет. Я сам изумляюсь, что по временам Феникс возрожнется. Какие к тому данные? Глаза слабы. Долго ни читать, ни писать не могу и то и дело прибегаю к бильярду, а по вечерам к пасьянсу, если не к тому же бильярду. Зато отдыхаю душой над моим переводом, который хоть медленно, а подвигается.

Графине просим оба с женой передать наши усердные поклоны.

Кончаю без того длинное послание. От Страхова писем новых нет. Читал при Борисове новую комедию Аверкиева, и Борисов держался, держался и разразился смехом, пояснив, что не понимает, почему комедия разделена на лица, которые безразлично говорят одно и то же.

Преданный Вам *А. Шеншин.*

12

Будановка. 17 июля <1879 г.>.

Спасибо, дорогой граф, за вчерашнее письмо. Сердечно ему обрадовался. А то я уже было и нос на квинту опустил и сочинил следующий аполог: один соколиный охотник радовался и хвастал, что отлично видит и что бог по-

---

* Не вещь *(нем.)*.

** Верю потому, что это нелепо *(лат.)*.

*** Знаю *(лат.)*.

**** Искусство требует вдохновения *(лат.)*.

слал ему такого сокола, который с каждым днем взмывает все выше и выше; до того высоко, что другие уже и не видят его кругов, а только видят, как голуби начинают падать с поднебесья. А мне все видно,— говорил охотник,— как он высоко ни заберет, иной раз там и промахнется, да бог с ним, зато высоко, так высоко, что только дух радуется. Но сокол забирал, забирал каждый день выше и однажды ушел в такую высь, что и опытный глаз сокольничего не мог за ним уследить. Так и ушел от него сокол. Тут-то охотник подумал: «Хорошо летать высоко, да надо же и на землю спускаться. При чем же я теперь остался?»

Повторить, что мы со Страховым ценим, дорожим Вашими с женой личностями вследствие их несравненной красоты, считаю ненужным плеоназмом. Не говоря уже о том, что любить от нас не зависит. Одно люблю, другое нет. А что любишь, боишься потерять, а писать, то есть соваться со своими мыслями к человеку, который от себя гнет и парит, переломит — не тужит, не совсем благоразумно. Конечно, никто зрячий не станет отвергать мира *идей* (идеального), но как же не физически слепому отвергать мир явлений? Правда, можно с Платоном сказать, что это и *есть* и в то же время, как преходящее, *не есть*. Но для кого, для чистого субъекта созерцания, а не для субъекта Ивана Ивановича, который сам преходящий. Созерцательный субъект не пьет, не ест,— и — прав.

Иван Иванович не созерцает идеи — и совершенно прав. Еще более Иван Иванович будет паинька, если, познав идею, он станет к ней прилагать свои действия, насколько это возможно, по законам причинности, господствующей в его реальном мире. Но не далее. Как скоро он закричит «fiat justitia et pereat mundus» *, все захохочут.

Потому, что уничтожить мир не во власти Ивана Ивановича, а только его justitia из summum jus ** превратится в summa injuria ***.

Отрицать реальную жизнь можно лишь в идее, а на деле вместе с Симеоном Столпником можно ее отрицать семь дней, а затем смерть прекратит отрицание. Надо, чтобы на столб чужой труд подал пить и есть. Но Симеон, сходящий со столба, чтобы жениться на красавице и про-

* Да свершится справедливость, да погибнет мир *(лат.)*.
** Высшего права *(лат.)*.
*** Высшее бесправие *(лат.)*.

изведения детей, утверждать (bejahen) мир явлений в самом ярком его утверждении contradictio in adjecto*.

Но мир явлений есть мир борьбы за существование и человеческая самая ожесточенная борьба. Земля-кормилица скупа, как жид. «В поте лица твоего снеси хлеб твой»,— сказано на пороге потерянного рая, где ничего не делали, а только созерцали идеал.

Непонимание этого краеугольного закона и есть наша общая человеческая, а тем паче русская беда. Никак никого не уверить, что как ни верти, а провезти копну за версту нужен тот же труд при Соломоне и при Александре, и как ни тасуй, ни группируй, необходимо известное количество труда для прокормления известного количества людей, и чем более людей уйдут в фельдшера, астрономы, философы и т. д., тем трудней будет питание в непаселенной земле.

Но наше quasi-светское воспитание с молоком матери внушило нам, что жизнь реальная нисколько не труд и напасть, а дивертисмент с разными перипетиями и сюрпризами. Мальчик или девочка бросает свою постель, стакан, книжку и говорит: «Это все приберут (он), а я, мамаша, надену сегодня новое платье и поеду кататься непременно на красных колесах». Очевидно, что такой человек учится не для знания или умения, а для места, которое получает не для добросовестного дела и труда, а напротив, чтобы, ничего не делая, только не попадаться, да получать побольше жалованья (какая приятная вещь!) на красные колеса. Но ведь твоего труда едва хватает на хлеб, твоего жалованья тоже по созданной тобою обстановке.

Э! Ничего: выпью, повеселюсь, прокачусь на красных колесах — скажут молодец! Жизнь коротка! Да ведь еще хуже будет. Ну что ж! На такое ну что же — отвечать нечего. Так не жалуйся! Очень трудно. С другой стороны, можно ли сказать про графиню, что она не любит и вследствие этого не трудится. Один уход за больными детьми — да это подвиг, за который кресты дают.

Можно ли, не любя труд, для труда писать «Казаки», «Войну и мир», «Анну Каренину»? За жалованье этого не напишешь. Простите за мои мысли вслух. Но я сужу по себе, труд сельского хозяина стал окончательно мне не по силам. А ведь я принуждал себя заниматься им двадцать лет, и, право, уже все кости болят. Надо бы ожидать, что после таких трудов и забот станет легче. Не тут-то было при нашей невозможной обстановке — все хуже и хуже.

* Противоречия в определении *(лат.)*.

В нынешнем году и на Грайворонке и в Воробьевке чуть не равняется пулю, и с тем не могу управиться. Вот две недели убираю 1870 копен ржи и не свозил половины, а надо возить два дня, даст $4^1/_2$ меры, и как прокормить скот зимой, не ведаю.

В Москву собираюсь, да все нет развязки с Мовчаном. Полагаю, что и Страхов прижался из опасения попасть с письмом к Вам не в добрый час. Его адрес: Полтавской губернии г. Кременчуг в реальное училище.

Здоровье мое все хромает, несмотря на довольно строгую диету. Это не жить, а держать жизнь за хвост. Забыл прибавить, что отвращение к труду возводится у нас в религиозный культ, и люди бьются о распространении этой веры в народе, уверяя их, что найдут такую комбинацию, при которой все будут танцевать с прелестными девами и пить сколько угодно и никто не будет стоять у вонючего квасильного чана на винном заводе. Вот почему так яростно им хочется грамотности. Надо прежде искусственно извратить мозги, а потом уже говорить что попало.

Вчера пьяный машинист расковеркал машину, и я скачу в Орел на старости лет. За это жалованье больше платят, а я сам плати.

Земно кланяемся всем вам.

Ваш *А. Шеншин.*

13

Будановка. 18 октября <1880 г.>.

Дорогой граф!

Что я ни на йоту не переставал любить и чтить Вас, доказывает мое последнее письмо к Страхову. Марья Петровна, дай бог ей здоровья, ввиду скуки предпраздничных визитов решила на этот раз не ехать в Москву раньше 24 декабря. Зная, что Страхов приезжает к Вам на праздники, я думал встретиться с ним у Вас денька на два, а затем проехать вместе с ним в Питер, что в его сообществе мне, старику, не будет так тяжело. При этом я хотел прочесть графине Софье Андреевне начало моего перевода из «Фауста», чтобы знать, продолжать или нет. Надеюсь, что вы оба позволите мне доставить себе этот праздник. <...>

Вчерашнее письмо Ваше читал и перечитывал со вниманием и заслужил замечание жены: «Что это ты так ду-

маешь долго?» И затрудняюсь отвечать на него, не зная, с чего начать. Вы одним почерком изгоняете все умственные авторитеты, всех представителей и светочей мысли и вслед за тем обращаетесь к мысли и цитуете авторитеты. Этого мало, цитуя свои авторитеты, Вы без всякого права придаете словам их смысл, которого опи никогда иметь не могли. Вот почему Шопенгауэр называет трансцендентальную философию Канта снятием катаракты с глаз человечества, рядом с которым не подвергшиеся этой операции остаются во врожденном детстве реализма и материализма. Кант жил не далее как за сто лет назад и произвел над нами, то есть Вами и мной, эту операцию, а наша голова так устроена, что мы можем забывать исторические факты, но действительное знание, например, математика, утрачивается только с жизнью. Только с помощью открытия Канта центр тяжести мира извне перешел в мозговой узел и получил там свои качества. До тех пор это было немыслимо. Стоя на этой современной почве, Вы вдруг вкладываете в уста неоплатоника несвойственный ему смысл речи, переведя его λόγος даже не словом разум, а разумение. Для него бог был монотеистическим богом, в честь которого и велись все христианские доктрины и изменения, то есть, по словам же основателя, пополнения монотеистетического закона. Ему как философу нужно было сказать, откуда взялся мир, и он говорит, что бог *был* разум, ибо для того — чтобы не наделать чепухи, надо *разум*. И разум был для этого у бога. Заметьте при этом, что *разум* может служить философским основанием,— началом,— ибо он сила,— словом, вещь, тогда как разумение есть состояние, а не вещь сама в себе, как огонь — вещь, а горение — состояние, которое само неминуемо и властно указывает на свою причину, тогда как у вещи, у факта можно о том и не добиваться. Я особенно на это указываю, так как в философии введение новых терминов без объяснений ведет слушателя к прямому непониманию. Если у Вашего разумения не то же отношение к разуму, как у горения к огню, то я его не понимаю и не знаю, что оно такое. Извините, если не понял непривычного термина. Но постараюсь на полпути понять его. Это запросто intelligentia по отношению к своему отцу *intellect'y*, под которым подразумевается вся анимально-умственная жизнь и который, невзирая на достижение в человеке вершины,— все-таки беден и беспомощен до крайности и едва хватает ему, голорожденному без копыт и рогов, на сохранение своего рода. При этом интеллект

нимало не отличается от других явлений этого мира тем, что главное, его корень бессознателен и навеки человеку неведом. Равным образом по всему ряду существ он ярко отделен от воли и не имеет с нею ничего общего, и смешивать их можно, только преднамеренно избегая, как Вы справедливо говорили, света познания,— вопреки ежеминутного опыта, главного руководителя разума, к которому мы теперь обращаемся по Вашему же приглашению — к λόγος. Этот λόγος неумолим и не подвержен никаким влияниям или *прямо,* или не прямо. Сделка невозможна, тогда как воля может сдаться на его резоны и подставлять ему мотивы. За то и на то она совершенная дура, да еще по природе злая, так как ей нужно пожирать из самосохранения. А пожираемому неприятно, нехорошо, *зло,* и поэтому искони эта воля прослыла (по справедливости) злой волей, *прирожденной,*— первородной, то есть наследственной. Пока у человека, то есть интеллекта, не было предмета познания — не было опыта, он никоим образом не мог знать добра и зла. Надо было испытать боль — зло — непосредственно, чтобы назвать его. Надо было древо познания, а с тем и стыд, совесть, раздвоение познания с волей. Нельзя, ничего не видавши и не испытавши, познавать. Что? Испытавши сам зло и благо, холод и тепло, нужно было по аналогии, окольным путем догадаться, что это и другому зло, а это не так было легко, когда такой ум, как Спиноза, отвергал боль у животных, хотя собака от кнута перед ним выла. На этой точке познание уже начало подставлять ненасытной воле мотивы, объясняя, что если тебе зло, то и другому (не забудь: *зло*), поэтому ты ешь, только не чужое, а то твое благо несомненное будет ему несомненным злом, которого ты так боишься. Здесь граница — Рубикон. На этом зиждется общество, государство. Дальнейшее ни для кого не обязательно. Я совершенно согласен, что познание приводит воле (во избежание авторитетов я нигде не заикаюсь о мировой воле Шопенгауэра, а говорю о знакомой, своей) и такой аргумент. Хотя то, чего ты постоянно алкаешь, для тебя несомненное благо, но это благо пока не достигнуто — ergo непрочно. Но твое чувство раздвоения при соделании неправ<ого> вечно для тебя от колыбели до могилы — и если ты в детстве зло оскорбил отца или мать, это будешь зло помнить до конца дней. Выбирай! Не знаю, можно ли любить разумение; но знаю наверное, что с разумными аргументами можно обращаться только к разуму, но не к воле непосредственно. Она дура и факт. И на основании

этого факта меня яблоками не угощайте, ибо меня тошнит от их запаха. Тут философия бессильна. Я даже не допускаю мысли, чтобы кому-либо в голову пришло приказывать моей сокровенной воле, в отличие от моих явных дел. Быть может, я люблю, как Грозный, чужие муки. Это мое дело. Да и история не представляет таких невообразимых попыток в самых ужасах деспотизма. Не делай — деланное. Но fraternité ou la mort * было только раз, во время чудовищного остервенения всех подоньев людского зла. Итак, до сих пор, насколько я понимаю, мы сходимся. Ваше разумение, которое, впрочем, нисколько не синоним жизни, которое и в дубе и в камне,— разумение, то есть разум, указывает воле на тщету ее желаний, в противоположность живучести угрызений совести, проистекающих из вторжения в чужую личность, равноправную — по страданию. Здесь еще раз Рубикон. Но у некоторых это познание заходит за эту грань и заставляет их забывать весь мир с его вечными законами. Они забывают, что с человеческим познанием связана сознательная предусмотрительность и оглядка на опыт,— будущее и прошлое. И является сверх проклятия боли и смерти еще и проклятие труда, против которого воля противится всем существом. Один мой знакомый заставлял виноватую барщину идти в пруд, переливать воду с места на место. Кто же пойдет добровольно на такой труд. Но воля эгоистическая дура, интеллект и тут ловит ее в ее же лапы, уверяя, что она трудится для своего же блага или для блага ближних-любимых, которых она признала собою же. И вот труд самый тяжелый ей родить. Кому он этого не втолковал, тот на очевиднейшие доводы гибели машет рукой, не имея что возразить, ибо пришлось бы есть чужой труд, а при общем таком воззрении — умирать с голоду — машет рукой, то есть, по Вашим словам, преднамеренно бежит света разума, освещающего бездну впереди. К счастью, такое бегство составляет редкие, редчайшие исключения и на факте невозможно, так как и столпники питаются чужим трудом. Я знаю только одно последовательное исключение. Это мой больной брат. Он вообразил, что может трудиться,— оказывается, что по болезни не может,— и он не берет чужой крохи в рот и умирает с голоду. Это неблагоразумно, но последовательно, между тем он Софье Сергеевне Боткиной в приезд к нам не сует ржаную корку, которую считает благом, а покупает на последние

* Братство или смерть *(фр.)*.

деньги ковер и насильно навязывает, а мужикам водки, а бабам гадких пряников и лент. Он знает, что, кому нужен Георгиевский крест, тому не нужны десятины, и наоборот. Не нужно и бессмысленно проповедывать воле пожирать, так как она жизнь, а жить значит пожирать: море пожирает скалу, скала море, земля солнце и кончит тем, что сожрет; но нужно и должно разумному существу сказать — не пожирай чужой жизни, которая ему так же дорога, как твоя тебе. Если таков смысл Евангелия, то я опять-таки обеими руками подписываюсь. Это давно познанное осуществляли не только индусы, но и все народы, дожившие до законодательства. Что этим путем можно зайти далеко за Рубикон — опять-таки примером не христиане, а индусы, дошедшие до травоядения, которое все-таки не ведет до конца — отнимать жизнь не все ли равно у луковицы или теленка? Не отнимать, так ни у кого. А где есть уступка, там им нет границ — даже и по сю сторону Рубикона начнутся сделки. У моей покойной матери подымалась неудержимая рвота при виде пьяного. Ну какая философия могла бы заставить ее любить пьяных, внушавших ей непреоборимое отвращение. Я с Вами согласен, что литература — пошлость. Но с той точки, с которой Вы вели дело, она (то есть оно — писание) было откровение сущности явлений жизни человеческой. Пойдите утром летом мимо тихого пруда, ничто не скажется жизнью, но лягушки побултыхают, и Вы вздрогнете. Это правда и потому — хорошо и т. д.

Простите за многописание и передайте графине наши общие с женой приветствия. Если я иногда и думаю о смерти, то без содрогания или отвращения, и мне все кажется, что возиться с этой неизбежной операцией так упорно — малодушно. Да бог с нею. Это ее дело.

Как ни поверхностно знание вообще, во многое оно действительно проникло и сделало его неизменным своим достоянием. Так вращение земли вокруг оси вышло наконец из-под опеки неведения и наглядно подтвердилось опытом суточного, кругообразного качания свободного маятника. Можно, если есть охота, бранить старого Коперника или Галилея, а она все-таки вертится в нашем сознании. Точно так же есть физиологические и метафизические факты, окончательно доказанные, которые стали общим достоянием. Сюда относится факт, что возможность восприятия вещей мира в наше я лежит в предшествующей созерцанию присущности в нашем интеллекте форм времени, пространства и причинности, наличность

которых и составляет интеллект. Физиологически он только функция мозга, которой он так же мало научается из опыта, как желудок пищеварению или печень отделению желчи. При этих словах непредубежденный человек должен сказать: 1-е. Да, на эту точку мы поставили очевиднейшими доводами науки, и другая точка для нас невозможна. 2-е. Это бесспорное открытие только передвинуло нас по цепи причинности на действительное звено, но не подвинуло ни на линию вперед к пониманию сущности вопроса. Оказывается, первое, что интеллект перерабатывает мир явлений, куда относится и сам человек, лишь так, как ему, интеллекту, приказано, как желудок варит пищу только так, как ему, желудку, приказано, хотя варить может быть бесконечное число манер и что поэтому интеллект отвечает лишь за свое пищеварение, за мир своей стряпни, а не за действительный мир, о котором ничего знать не может. Второе, что этим самым несомненным фактом интеллект (мозговая функция) не остается абсолютным центром мира (а только мира явлений), а по отношению к этому искомому центру сводится наравне с желудком, железами, детородными членами на степень органических явлений, коренящихся на чем-то другом, на чем все коренится. Что же такое это ежеминутно на наших глазах творящее начало, обращающее брюкву в желудке отца во всемирного завоевателя сына. Эта тайна, которой никакая биология с ее ботибиями, протоплазмами вовеки не раскроет, так как она, в сущности, противна врожденной логике интеллекта, ибо из неорганического по логике не может выйти органическое. Чего не положил в карман, оттуда никакими фокусами не достанешь. Вот и еще — и даже главнейшая причина, по которой Иоанн был совершенно прав, указывая на λόγος божий как на источник мира видимого — мира явлений и невидимого — силы. Иоаннов λόγος вне мира и относится к нему творчески. Может быть, это недостаточно основательно, как — увы! — убитое Каином онтологическое доказательство, но оно, по крайней мере, не в противуречии с самим собою. Найденная по неведению *воля* Шопенгауэра, положим — и близится к *иксу*, но не носит онтологической смерти в груди, произвольно останавливаясь на одном из звеньев причинности. Но все-таки λόγος Иоанна, внемировой — есть ответ какой-нибудь. Тогда как разум, разумение человека, составляющий лишь мгновенное звено в цепи причинности явлений и заведомо коренящийся на недосягаемой тайне жизни, не только невозможная

точка опоры для целого мира — в себе самом, но и противоречивая. Этот разум, разумение не имеет права говорить ни о чем другом, как о лично ему кажущемся. Кроме того, когда речь идет о человеке-организме, устройство которого мы, в сущности, никогда не узнаем и потому не можем судить, что в этой таинственной машине главное, мы никак не можем давать одному узлу предпочтение перед другими до совершенного забвения остальных; забывая, что в механизме малейший винтик все держит. Это понимал Иисус, говоря не о хлебе *едином*, а не сказал *не о хлебе*.

Нельзя было не признать желудка, эпидерма и т. д., признавая интеллект и волю. А раз, что признал желудок, который, между прочим, не требует и не дожидается философского признания, а кричит panetti! * тогда как интеллект кричит circenses **, признал бы и труд, и мы снова на общечеловеческой дороге всех веков и народов.

Докажите, дорогой граф, на деле Вашу незлобивость и не сердитесь на то, что я ich kann nicht anders! Gott helf mir ***.

Сию минуту получил отрадную весть, что уломали крестьян на полюбовный выкуп, причем я же дарю им 1000 рублей. Они в мой приезд хотят благодарить меня, что мне может быть только неприятно! А вот когда я ехал на земство на своей четверке, которую выходили ремонтеры смотреть на Будановке — и неизвестный мне парень, которого я издали принял за пьяного, закричал, кланяясь без шапки: «Один такой-то барин нашелся, больше нету»,— это, признаюсь, было мне приятно. Потому что делаю так, как считаю за лучшее, а другого, очевидно, делать не в силах. Может быть, это и худо, но не для меня, и я, по Вашему же принципу, признающему личное разумение за центр вселенной — прав.

Ваш старый *А. Шеншин.*

---

* Булочек *(ит.)*.
** Зрелище *(лат.)*.
*** Не могу иначе, да поможет мне бог *(нем.)*.

С. А. Толстой

14

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 9 апреля 1886 г.

Дорогая графиня!

Из Филаретовского Катехизиса я помню фразу: «Имя Божие святится в нас и чрез нас». Эта фраза всплыла в моей памяти, когда я обратился к Вам с этими строками. Независимо от удовольствия хотя на письме явиться ординарцем при Вашей прелестной особе... (Я очень хорошо помню то брюзгливое выражение, с каким Вы отзывались о старичках селадонах; но ведь я не старик, я дух, а какой? старый или молодой? судить не мне.) Пишу Вам на основании той фразы из Катехизиса, ибо уверен, что то, что святится чрез Вас и чем в настоящую минуту я полон через край, чему настоящие строки служат подтверждением, ни в ком так ясно, так полно и непосредственно не святится, как все-таки в Вас. Конечно, Вы поймете, что мне бы всего ближе было обратиться к непосредственному источнику моей радости; но во-первых, наша радость не отвечает на письма, а во-вторых, никаким убеждениям в угоду я не имею повода говорить против своих, которых я никому не навязываю, зная, что это бесполезно. Убеждения не занимают, а наживают.— Теперь позвольте поблагодарить Вас за нас обоих за дорогой подарок. Опечатков, к Вашей чести, очень мало. Каждый вечер я раскладываю пасьянс, Марья Петровна вяжет платок Пенелопы, а Анна Андреевна читает нам вслух. Я не только не могу сам много читать таких вещей подряд, но даже не могу слушать более часу или двух. Там, где одна самобытная красота догоняет другую, душа не может их глотать, как устрицы. Нужна передышка. Покойный Тургенев, опровергая мое мнение касательно гениальности какого-либо человека, нередко говаривал: «Да позвольте, ведь я же его знал лично или читал». В самом деле, люди наклонны требовать от гения, чтобы он стоял от них в глубине веков, а живому гению они не доверяют. Какой же это гений, с которым можно выпить стакан вина и сыграть в карты? Ах! с какой надеждой быть Вами понятым, пишу я эти строки! Если не поймете, виновато будет мое неуменье высказаться. Я не только мог бы сказать: «я уверен» — но я знаю, что сочине-

ния Льва Николаевича останутся драгоценными навеки. Что же, однако, в них драгоценно? Кто хочет изучать первобытных людей, изучает быт дикарей. Кто хочет изучить душу человека, пусть присмотрится к детям, этому прототипу человека. Что для ребенка высшее наслаждение? Игрушка. Что же ему в ней дорого? Завоевание, усвоение прототипа предмета, совершенно независимо от самого предмета. Вот почему он едет с таким наслаждением на стуле-карете, погоняя четверку скамеек; я в старину запрягал их <в> шестерик с форейтором. Вот почему он просит: нарисуй мне лошадку, и пока эстетически и умственно не развит, довольствуется колбасой с пятью черточками, из которых четыре представляют ноги, а пятая хвост. Но придет пора, когда мальчик, которому я нарисую совершенно правильную лошадку в дрожках, скажет: зачем ты нарисовал верховую в упряжи? Ты нарисуй густоногую рысистую; тогда будет так. Он одинаково будет рад, когда Сверчков напишет ему разбитую почтовую клячу или Лев Николаевич старого Холстомера. Хорошо или дурно такое требование со стороны человека? вопрос неуместный, равняющийся вопросу: хорошо или дурно <нрзб.> понапрасну есть, пить и спать?

Сейчас только заметил, что моя философия грешит против русского языка, говорящего: «пить, есть» — так как для пьяницы питье дороже еды. Что же, однако, в этих картинках, начиная с Гомера до Шекспира и Толстого нам дорого, а что вредит наслаждению и прочности творения? Срисуйте нагого Аполлона, идущего на Пифона с раздутыми мужеством ноздрями, срисуйте в упавшей на пояс сорочке, тунике, Венеру; их не тронут века, всегда будут красоваться юноши-герои, всегда будут всепобедные красавицы. Нарядите того же Аполлона в самый модный фрак, а Венеру в наимоднейшую шляпу <нрзб.> платье «верблюд» — и как бы Айе и Минангуа ни клялись, что моднее и лучше нельзя одеть человека, на будущий год это будут нетерпимые уроды; ибо наше модное воззрение на хорошее только губит правду природы.

Я уверен, что Лев Николаевич теперь сам очень хорошо понимает, что Марья Алек. в «Семейном счастьи», невзирая на всю свою тонкую развитость — не может быть счастлива, потому что в деле реальной жизни она пустой орех, который, стоит его разгрызть, наполняет рот горькой пылью, когда ожидаешь маслянисто-сладкого ядра. Она праздно скучающее существо. Напрасно думает она пристегнуть себя к жизни мужа материнской любовью. Это

дело великое и святое. Но невозможно тащить общее супружеское ярмо (любимая метафора древних), не имея ни малейшего понятия о напряжении сил везущего в паре и потому не будучи в состоянии ни на минуту соразмерить и собственных. Этого мало — сказать себе: я хочу скакать во весь дух. Надо наверное знать и чувствовать, может ли моя пара нестись с одинаковой силой и быстротой? А если не может, то надо <нрзб.> покорно идти в ногу или отстегнуть свою сторону, то есть выдернуть свою занозу из ярма. Третьего выбора нет.

В нагой красоте Гомера, Гете, Толстого каждый может брать, что ему под силу, и любоваться своей проницательностью и догадливостью, хотя два рядом стоящие могут видеть совершенно различное — вид насильственной надетой тенденции, как бы ловко и, кажись, кстати это ни было сделано — разрушает всю непосредственную прелесть.

Простите, дорогая графиня, во-первых, за гнусный почерк. Диктуя в последнее время, я совершенно разучился писать. Рука дрожит и ковыляет нестерпимо; а во-вторых, что решился Вам высказать то, как я, плавая в самом чистом, детском восторге, боюсь за собственную будущность этого восторга.

Излишне говорить, что весь дом Ваш, начиная с Вас, каждый вечер у нас перед глазами и мы желаем Вам всего, всего лучшего. Про наслаждение уже не говорю. Сама Анна Андреевна порой восклицает: «ах! какая прелесть!» Целую Вашу руку и прошу передать всем, всем наши усердные поклоны и Христос воскресе!

Искренне преданный Вам
А. Шеншин

Прилагаю написанное сегодня стихотворение.

Долго снились мне вопли рыданий твоих,—
То был голос обиды, бессилия плач;
Долго, долго мне снился тот радостный миг,
Как тебя умолил я — несчастный палач.

Проходили года, мы умели любить,
Расцветала улыбка, грустила печаль;
Проносились года,— и пришлось уходить:
Уносило меня в неизвестную даль.

Подала ты мне руку, спросила: «Идешь?»
Чуть в глазах я заметил две капельки слез;
Эти искры в глазах и холодную дрожь
Я в бессонные ночи навек перенес.

Вы убедились, что я писать не могу, а потому продолжаю диктовать. Снег стаял, река прошла, и зимняя гололедица не прошла даром. Рожь местами подопрела, а пшеницу, кончивши овсяный сев, пересеем просом. Итак, на пятый год нашему ярму придется поневоле умерить шаг. Приезжавший из воронежской деревни управляющий еще по снегу, привез смету в 25 тысяч чистого дохода. На слова мои «дай бог 10 тысяч» он отвечал: «ну, это уж так же верно, как то, что я сижу против вас за столом». Не знаю, что сделала гололедица там. Не пришлось бы сделать уступку и из 5 тысяч? Баба пришла за 6 верст валяться в ногах, чтобы у нее взяли сборные от нескольких дворов яйца по 15 к. за десяток. Глупая девочка насчитала 80 яиц, и баба ушла домой, получивши 1 р. 20 к. Дома после общего счета хозяек оказалось, что яиц 100, и баба в отчаянии пришла в третий раз за 6 верст, дополучить 20 к.; нечем разговеться. Нас завалили раками и рыбой.

15

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 31 мая 1886 г.

Дорогая графиня!

Весь дом спит: мои часы на столе показывают половину шестого утра, и я хочу воспользоваться временем высказать Вам то, что считаю для себя полезным.

Человек скользит и падает, и улица смеется. Даже Грибоедов это знает и растянул своего Репетилова во весь рост. Но спросите упавшего, который, быть может, сломал руку или ногу: смешно ли ему? У Островского девица, научающая другую светским темам разговоров, говорит: «одна тема: что лучше — женщины или мужчины? а другая: что лучше — иметь и потерять, или ждать и не дождаться?» И театр хохочет. А между тем тут сокрыты самые близкие каждому, существенные вопросы, сводящиеся на двустишие Баратынского:

Или надежду и волнение,
Иль безнадежность и покой.

Только третьего дня вечером, то есть 26 мая, я получил из Курской почтовой конторы Ваше дорогое письмо от 13-го, тогда как бы я должен был получить его 14-го в 11 часов со станции Коренная Пустынь. В этом виновата Ваша прекрасная качеством бумага, представляющая бо-

лее лота весу и потому подлежащая в губернской конторе штрафу. Но не в штрафе дело, а во времени, необходимом для высылки мне объявления и т. д.

Если я пишу Вам, то, конечно, для того, чтобы говорить правду, так как в подобном случае ложь в устах юноши забавна и смешна, а в устах старика бессмысленна и презренна. Итак, я никогда и не ожидал при Ваших разнообразных занятиях — скорых ответов на мои письма, и впредь их не ожидаю. Совершенно не в том дело. Тем не менее почему-то в последний долгий период Вашего молчания ко мне закралась мысль, что я последним письмом, написанным по душе, без всяких задних мыслей и осторожности, чем-либо заслужил Вашу немилость, и, признаюсь, эта мысль неотвязно меня томила, особливо в одиночестве моих утренних бессонниц. Потерять вдруг такую постоянную и дорогую благосклонность было для меня нестерпимо. Очевидно — я стал искать причины такого горя. Сначала я ничего не мог понять, по мало-помалу я стал понимать, что Вы впали в великую и горестную для меня ошибку. Вы вообразили, что я лично раздут авторским самолюбием и ставлю свой небольшой талант на неподобающий ему пьедестал. Напрасно говорил я себе, что Вы должны же знать, что этого нет, но ведь мое личное смирение нисколько не мешает мне понимать эту гордыню Музы у Горация, или тем более у Проперция. Ведь эта гордыня совершенно законна: не будь Гомера, не была бы Елена 4000 лет красавицей.— Зато как я счастлив, что мучился понапрасну. Я не могу желать быть Вам неугодным. Это четвероугольный круг.— У Вас опять Кузминские. Передайте им мои сердечные приветствия. Воображаю, как все у Вас жизненно. Я даже вчера написал Вам стихи:

Я не у Вас, я обделен... (см. с. 295)

Зачем Вы упомянули о возможности заглянуть в наше захолустье? Не великодушно так шутить. Марья Петровна относит симпатию Ваших прелестных девиц и милых мальчуганов не к своим заслугам, а к их особенной любезности. Я помню, как я услыхал серебристый гомерический смех в зале, так что подумал, что там что-либо произошло необычайное. Выхожу и вижу, что кто-то поставил плюшевую обезьяну на стеклянный колпак часов, и мальчики это увидали. Ведь это попадаешь в самую душистую <нрзб.>... жизненного цветка.— Меня Марья Петровна на днях привезла на подставных из Грайворон-

ки за 100 верст в Щигры — на выборы гласных, куда меня умоляли принести своих 2 шара. Боже! как это гадко! Вернулся я в жару полуживым. Управляющий писал, что пшеница хороша, хоть я по аналогии писал ему, что она пропала. Теперь я воочию увидал, что я прав, и он сбирается косить ее на сено. Хорошо будет сено! Итак, 4-й год кряду надо сидеть на уменьшенной порции. Крыши выкрасили, ограду оштукатурили, стены дома освежили; а тут наша Анна Андреевна была без нас в лесу и говорит, что караулка подавит людей и ребят. Что же делать? Надо строить новую, светлую и покрыть железом. Что скажет кошелек, в котором действительно денег нет. Пока ничего не читал из обозначенного Вами. Прочту в Москве. Июля 15-го поджидаю Страхова из Крыма. Напомните Льву Николаевичу о великом его почитателе.

Преданный Вам *А. Шеншин.*

16

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 11 августа 1886 г.

Дорогая графиня
Софья Андреевна.

Слова Пушкина:

Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно; чтоб ты мною
Окружена была...—

я мысленно влагаю в уста Льва Николаевича с обращением ко мне. Действительно, продолжая медленно читать ежедневно его сочинения, мы с женою окружены постоянно его заслуженною славой. Невозможно его избежать. Сколько раз, ложась вечером в постель, я, при заметно увеличивающемся упадке сил, сижу, спустя ноги с кровати, и под влиянием Ивана Ильича думаю: вот, если кто теперь увидит меня, то подумает, что старик задумался над каким-то важным вопросом, тогда как, в сущности, я выбираю более подходящий момент собраться с силами и взбросить свои ноги на тюфяк.

Страхов весьма подробно описал свое пребывание у Вас и все Ваши полевые затеи, но, к сожалению, окончил известием, что Вы себя не совсем хорошо чувствовали. Надеюсь, что в Ваши годы нездоровье не то, что в мои,

Еще сегодня в «Карениной» меня поразила верная мысль, что у мущины есть моменты в жизни, к которым вся предшествующая жизнь есть как бы приготовление (Лев Николаевич под медведем). Я готов расширить эту мысль, сказавши, что наша будничная жизнь есть приготовление к высоким моментам; но там же прекрасно сказано, что кататься в лодке приятно и красиво, но направлять ее на веслах заботливо и трудно. Показывать Вам свои мозоли от весел я не имею никакого права, а хвастать веселой улыбкой, производимой катанием по реке жизни, не могу, так как никакой улыбки нет, и приходится молчать, потому что «одежды не имам, да вниду в онь».

Художественное наслаждение, доставляемое произведениями Л. Н., состоит в том, что читатель видит, как в запутанном вязании жизни он ловко и верно подымает на спицы одну петлю за другою. Не беда, если петля иногда расколона спицей или надета навыворот, но они все тут рядком, как бисер, и этим кончается художественная задача. Читателю предоставляется самому довязать чулок по собственной ноге, и вот я, лишенный слабостию зрения возможности работать самобытно, вместо того, чтобы диктовать свои мемуары, думаю надвязывать художественный чулок Льва Николаевича, хотя бы синими нитками. Потрудиться есть над чем; там художественно подняты все петли, из которых слагается человеческая жизнь. Я бы желал слышать совершенно откровенное мнение Ваше насчет подобной мысли.

Дожди совершенно нас залили и едва не лишили окончательно того скудного урожая, о котором и говорить неприлично, зато нас завалили рыбой, раками и чирятами.

Если мне не удастся отыскать для себя интересную умственную работу, для которой глаза не нужны, то положение мое будет в высшей степени плачевно. Нельзя век слушать чтение. Нельзя произвольно сделаться девяностолетним отцом нашего кучера Афанасия, который исправно ест, пьет и спит и ежедневно мимо моих окон с огромнейшей удочкой проходит к реке, но никогда не поймал ни одного пескаря.

По своему обычаю, мы 1-го октября думаем уже быть на Плющихе, где я тотчас же примусь печатать сегодня оконченные «Превращения» Овидия; но когда Вы приметесь за 8-ми рублевое издание Л. Н., мне неизвестно.

Примите и передайте Льву Николаевичу и всем милым Вашим наши общие с женой усердные приветствия.

Искренне преданный Вам *А. Шеншин.*

Если Татьяна Андреевна еще у Вас, то передайте и ей наши глубокие поклоны и скажите, что в начале ноября я собираюсь в Питер и к ним.

Тургенев когда-то сказал мне истину, которую я часто вспоминаю: что в нашей реальной жизни нигде нет ни черного, ни белого, а всегда бело-черное. Это, по отношению к миру духовному или отвлеченному, я готов добавить так: разум каждого человека имеет способность делать несомненно белый и несомненно черный ящик, как в баллотировочном, но воля человека кладет один и тот же шар направо и налево, отчего шар для кладущего становится несомненно белым или черным, хотя точно такой же шар положен следом идущим в противоположный ящик с одинаковым убеждением касательно его цвета.

17

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. <18 сентября 1886 г.>.

Дорогая графиня!
Софья Андреевна!

Сегодня первый день, что, опасаясь излишества, я перестал глотать по 20 гран. хинина в день, и чувствую себя лучше. Надолго ли?

Лев Николаевич до того всесторонне окружил частоколом наш умственный русский сад, что, куда бы мы ни пошли, приходится лезть через его забор, что и делаю в настоящем случае. Когда приходится долго катиться по железной дороге, то поневоле замечаешь не только пасущихся по сторонам лошадей, но и перелетающих через дорогу птиц; но когда поезд приближается к концу пути, то, забывая все виденное, инстинктивно хватаешься за мешки, и в мыслях одна дверь на Плющихе, которая все закроет и успокоит. Но когда находишься в пути в первый раз (а мы все проезжаем жизнь в первый раз) и не знаешь, далеко ли еще до Плющихи, тогда нет возможности отделаться от всех требований жизни. Я совершенно согласен со Львом Николаевичем, что вся сущность жизненной заботы в материальном труде и что поэзия и философия не более как роскошь жизни. Но что же делать, когда люди, даже ясно это сознающие, постоянно стремятся посредством мнимой науки привить всему народу эту роскошь, отрывая его тем самым от непосредственного тру-

да? Не значит ли это устроить на доме самый чувствительный флюгер и удивляться, что он так послушен ветру. У нас их на доме три. В ветер они смотрят в одну сторону, но когда затихнет, то нередко смотрят врозь. Я нахожу это чрезвычайно поучительным. Самобытно чувствительный ум осужден на вечное одиночество.

А в том, что как-то чудно
Лежит в сердечной глубине,
Высказываться трудно,—

говорит Лермонтов. *Лежит-то* чувство, а *высказываться* должен ум; и выходит тютчевское: «мысль изреченная есть ложь». Вот почему мои письма, невзирая на все их к Вам усердие, всегда будут страдать безжизненностью в сравнении с живыми цветами Ваших.

Говоря о жизненной тормошне, я уверен, что пикто лучше Вас не поймет моего положения. Вашу и свою будничную деятельность я невольно сравниваю с колесом, которого спицы обязательно должны подпирать обод кругом во всех направлениях, иначе при неравномерности опоры спицы начнут выпадать одна за другой и колесо должно рассыпаться. Между тем ступка обречена вечно вертеться вокруг той же оси. Если на высоте обобщения инстинктивное чувство самосохранения и страстная привязанность к семье и детям может обозначаться общим словом *любовь*, то это не значит, что это одно и то же. В первом случае нет цели вне нас, а во втором она властвует нами всепобедно. Я постоянно завидую старику Готье (для меня он представитель всех европейцев), который, передавши сыну книжный магазин, по привычке приходит к нему безвозмездно поработать в конторе. Всему есть мера. Печально видеть, а еще печальнее быть старым колесом, скрипящим всеми спицами и продолжающим нести неподсильный воз. Насколько Ваша неутомимая деятельность живительна, настолько моя мертвенна и уродлива. Часто во мне возникает желание принять участие в Вашем семейном обеде, при котором столько молодого и свежего, и затем, хотя бы не вымолвив ни одного слова, хоть часок посидеть с Вами и со Львом Николаевичем.

Вчерашний мороз побил наши георгины, и сегодня я написал:

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

Но в дуновении мороза
Между погибшими одна,
Лишь ты одна, царица роза,
Благоуханна и пышна.

Назло жестоким испытаньям
И злобе гаснущего дня
Ты очертаньем и дыханьем
Весною веешь на меня.

Если я по временам томлюсь духовным одиночеством, то это нисколько не значит, чтобы я во что бы ни было искал многолюдства; напротив, каждый раз когда колеса загремят по камням подъезда, я чувствую сотрясение и испуг. В хорошую погоду Марья Петровна обыкновенно отводит от меня гостей в сад, не то беда. На днях приезжала московская барыня, знакомая Вам настолько, что у нее даже Марья Петровна нашла в кабинете портрет Татьяны Львовны. Надо было сидеть с ней в гостиной. Она очень туго обтянула платьем свою дородность, завила колечки, мало идущие к бедным остаткам волос, и украсила голову сверху таким шлюпиком, который, как индейский петух, топырится и сзади и спереди. Она охотно говорит по-французски и рассказывает о московских свадьбах, и снабдила меня запрещенной книгою la sociètè de S. Petersbourg *, написанною в Париже одним из членов этой societe, в которой повторяются все самые заурядные и плоские суждения о главнейших современных государственных деятелях. Ну, разве подобное общество не есть угнетение бедного отшельника?

Марья Петровна, которая сердечно благодарит Вас за память, в свою очередь, вращается около своей оси и не скучает. Даже в летнее время в более спокойную пору она хлопочет с оранжереей и цветником. Кроме того, она решительно на поприще медицины затмевает Поликушку, и к ее спасительной ступке со всех сторон сбегаются больные спицы. Каждую субботу вечером происходит развеска и номеровка порошков хинина, а в воскресенье набивание папирос. Между всеми этими островами непрерывно тянется поток Пенелопиного платка. Результатом всего этого выходит то, что она не скучает в деревне и нисколько не порывается в город, куда, напротив, стремлюся я, чтобы, как индюшка, хоть на время, спрятать голову от коршуна будничных забот.

Несравненно отраднее издавать Овидия и великолеп-

* Петербургское общество *(фр.)*.

ного Проперция, чем скрепя сердце браниться за отвратительную пахоту. Зато 25-го сентября мы уже надеемся ночевать под Орлом у Галаховых и оттуда со скорым поездом прибыть к 7 часам вечера 30-го сентября в Москву.

Новосильцев успокоил меня известием, что Лев Николаевич складывает печку вдове. Точна ли весть о работе — все равно, но главное, что он оправился от болезни.

Нечего прибавлять, как часто мы с женой мысленно бываем с Вами всеми и от души Вас приветствуем. На днях перечитывали книжку страховской «Критики», которую, как он пишет, он хочет издавать снова, так как первое издание разошлось.

Простите старику его болтливость и позвольте поцеловать Вашу прекрасную и неутомимую руку.

Преданный Вам
А. Шеншин.

18

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 14 марта 1887 г.

Дорогая графиня!

Конечно, в дани удивления и поклонения, приносимой всем Вам и графу Льву Николаевичу, я по природе вещей не могу составлять исключения и полагаю даже, что могу выдвигаться из рядов потому уже, что хотя и не становлюсь по-княжески карикатурно на колени, тем не менее крепко храню мою дань в течение тридцати лет — и никак не в силу подражания. Мой взгляд на Вас и на графа не может колебаться от чужих мнений.

Сию минуту я прочел в «Ведомостях» о чтении Льва Николаевича о понятии жизни и пожалел, что обстоятельства так рано умчали меня из Москвы. Доехали мы великолепно, минута в минуту, и тотчас же послали в Курск за навагой и белугой, ожидая сбиравшегося к нам Льва Николаевича, которого, по невскрытию реки и его воздержанию от мяса, кормить было бы нечем без помощи рыбной лавки.

Люди везде люди. Расставаясь с Москвой, Марья Петровна утверждала, что в нынешнем году санный путь продержится чуть не все лето; а сегодня, когда ее бочка сахару сидит на станции, она боится, что он на дороге подмокнет. Убеждение-то одно, но служит оно разным побуждениям.

Со вчерашнего дня, по невозможности дышать, послушался Марьи Петровны и принимаю хинин.

Соловьев с Гротом возбуждают соборне крестовый поход дружественный на Страхова за его книгу о вечных истинах, за которую я ему уже письменно кланялся в ножки. Так как эта книга написана популярно, то, по-моему, следовало ему резюмировать ее в немногих словах: правда, что в любом из окружающих нас предметов мы знаем только самые выдающиеся верхушки; но человеческий разум, по природе своей требуя единства, сумел и по этим верхушкам составить твердые законы мировых явлений. Если, копаясь в любой из этих верхушек, мы при малейшем углублении убеждаемся в совершенном своем незнании, то такое незнание мы только в переносном смысле можем называть чудесным, но никак не в прямом; ибо, смешавши два смысла, мы сами вызовем страшную путаницу. Неведомое есть тайное и может быть чудом; но из этого никак не следует, чтобы таинственное было непременно чудом. Если я не знаю, сколько у Вас в кошельке мелочи, то это для меня только тайна; но если разобрать, что Вы посылали с рублевой бумажкой в лавочку за тремя лимонами и Вам, удержав 15 коп., сдали сдачу, то возможно ли считать чудом, если окажется, что у Вас в пустом до того времени кошельке оказывается ровно 85 коп.? Это не только не чудо, но самая неизбежная необходимость.

Страхов только утверждает, что при помощи прирожденных законов разума уже отысканы капитальнейшие законы бытия мира и куда бы мы ни обратились, мы всюду встречаемся с их необходимостью, так что рядом с ними беспричинному чуду нет места. Пусть спиритические или иные чудеса, хоть среди белого дня, садятся с нами обедать, все-таки они будут дети другого заоблачного мира, но никак невозможно разбирать их с точки зрения естественных наук, в которых все места уже заняты самыми слепыми, но зато непреклонными законами. Это я не успел написать Страхову, а хотелось передать Льву Николаевичу.

Зато я написал Страхову, что в настоящем году споры со Львом Николаевичем стали не только возможны, но и приятны. Недаром Лукреций начинает свою глубокую поэму о природе вещей великолепным гимном к Венере, этому олицетворению любви. Я перевел это начало и остановился в своей работе, убоявшись цензуры, так как Лукреций, в сущности, заклятый материалист; а о власти

всепобедной Венеры могут свидетельствовать два примера. В нашем приходе был очень милый, скромный и сравнительно образованный священник,— и исключительно трезвый. За три дня до Рождества жена его, разрешившись от бремени мальчиком, хвалилась легкими родами. Но через два дня у ней кольнуло в бок, и мальчик остался, а она умерла. Священник, похоронивши ее против своих окон, не был в силах служить обедню, а, войдя в алтарь, все молился и плакал; а теперь с горя запил.

Из Москвы привел я двадцатилетнего рысистого вороного Адама. В первый раз в жизни он вблизи увидал прелестную четвероногую Еву. Тут он взвился на дыбы, повалился наземь, два раза вздохнул и испустил дух.

Конечно, все это глубокие тайны, но никак не чудеса.

Радуюсь не только тем прекрасным вещам, которые граф скажет в своем реферате, но и вообще дворянскому почину вырвать такие основные вещи из рук семинаристов.

Пишу Вам эти строки с единственной целью показать, как часто мы с женой умственно снова сидим за Вашим гостеприимным столом, за которым мы даже встретили новый год.

Передайте и младшим членам семейства, а равно и madame Suron * наши усердные поклоны.

Не заедет ли граф и в самом деле в Воробьевку? Доживайте до моих лет, но только не хворая, как я.

Преданный Вам *А. Шеншин.*

19

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 31 марта <1887 г.>.

Дорогая графиня!

Физиономисты уверяли, что Венера Милосская глупа. Конечно, было бы весьма печально, если бы женская красота стояла в обратном отношении к уму: тогда бы нам легко было объяснить себе, почему сильные драматические страсти преимущественно возбуждаются тупоумными красавицами. Тем не менее в этой альтернативе скрывается весьма поучительная правда. Живая красавица или отвлеченная Муза инстинктивно отстраняет свой ум,

---

* Мадам Сюрон *(фр.).*

выдвигаясь исключительно своей непосредственной красотою. Той и другой не нужно ничего доказывать, а стоит только войти, и все кругом засияет. Вот почему жена моя, по прочтении последнего письма Вашего, воскликнула: «какая прелесть — письма графини: точно побываешь у них и видишь все собственными глазами!» Вы не поверите, до какой степени я в этом отношении Вам завидую; но увы! неисцелимо похож на того сумасшедшего английского романиста, у которого выскакивающий внезапно король Эдуард заслоняет самое дело. К счастью, самый род труда моего заставляет меня прибегать к тому же спасительному средству. Перевод оригинального текста идет во всей девственной чистоте, а король Эдуард разгуливает по предисловию и примечаниям. Не говорю о сравнении моих успехов по продаже книг с Вашими, которое было бы безумием; но если бы тяжкая неурядица моих экономических дел могла, хотя бы отдаленно, переходя в порядок, приблизиться к блестящим результатам Вашего неусыпного труда, то гордости моей не было бы и пределов.

Кстати о гордости. Господи! опять король Эдуард! Куда деваться? Ведь Вы же хорошо знаете, как давно и искренно я всех Вас люблю. Зачем же Вам необходимо двуперстное сложение, и человек, крестящий тремя перстами лоб, Вам кажется неприятным чужаком? Римляне не вальсировали со своими дамами и не знали того утонченно-романтического чувства любви, которое я сам унаследовал от рыцарей Европы, так как и русские до сих пор о нем понятия не имеют; но это не мешало ни Сафо, ни Дидоне, ни нашему простонародью вешаться и топиться из-за любви.

Вы указываете мне на благовонные цветы, точно я их не знаю, и брезгуете мной, когда я указываю на их корень. То же самое по отношению к нравственности. Безнравственно только вредное для другого, и другой мерки я не знаю. Если я, в порывах гордости, принижаю это чувство в другом, то это безнравственно, а в меньшей степени неделикатно. Так, например, неделикатно со стороны хозяев назвать в гости скромных бедняков и раздавить их пышностью собственного наряда. Но безмолвно наслаждаться видом успеха собственного труда не представляет ничего безнравственного. После этого безнравственно любоваться собственным хорошим полем пшеницы, или красавцем конем. Уж в этом случае пускай соседи меня извинят. Стихов я ему своих читать не стану (он все равно ничего не поймет), а коня подведу под самое крыльцо,

и пусть его душа надрывается и знает, каким трудом достается произвести такую лошадь.

О разнообразных своих заботах по внешним делам молчу, так как, чтобы сделать их понятными, надо бы писать томы: скажу только, что половодье сошло, и мы от рыбы и раков не знаем куда деваться. И озими, вопреки боязливым ожиданиям, открылись пока без ущерба. По утрам я неизменно работаю до обеда (в 5 часов), стараясь перевести свой урок в пятьдесят стихов, что иногда бывает крайне трудно; и жена, если ее не умчат сахары, рыбы, больные и т. д., вяжет безмолвно на моем диване свой вечный платок, и когда глаза и голова мои застонут, идет в соседнюю комнату сыграть со мной две партии на биллиарде. Она просит прибавить в письме, что Федору, посылаемому с этим письмом в Курск за покупками, дворня надавала поручений на сто предметов, в том числе муки, шапок и поддевок. Даже нам он должен привезть два ящика со стенными часами.

Неужели Вы никогда не пожертвуете одной утренней зарей в вагоне, чтобы озарить Вашим присутствием Воробьевку? Графу Льву Николаевичу, во-первых, и затем всем передайте наши усерднейшие поклоны.

Сию минуту обращусь к красавице Дидоне от прекрасной графини, у которой целую руку.

Преданный *А. Шеншин*

О боже! пришли уже с губками и тряпками пачкать комнаты к праздникам!

Внутренняя потребность вынуждает меня продлить удовольствие беседы с Вами. Вы обещали мне прислать по отпечатании статью Льва Николаевича «О жизни и смерти». Ничто не может для меня быть интереснее этого вопроса, когда его подымает такая голова, как у Льва Николаевича. Положим, что скалы очень медленно поддаются действию волн, но тем не менее зрелище выходит величественное, когда несется на них океан. Сердечно радуюсь, что Лев Николаевич от более обособленного изучения этики вступает на всемирный простор общефилософской мысли, и в этом случае прошу извинить мне замечание, которое невольно у меня срывается. Ни один здравый человек не станет отрицать, что Вы со всем Вашим семейством, даже с тем образом, который воображение и память воспроизводят в душе моей, не что иное

(лично для меня), как сотрясения и перемены, происшедшие на поверхности моих глаз и слуховых органов. Ибо для пня или камня Вы даже вовсе не существуете. Но если бы я стал утверждать, что Вы не что иное, как мои впечатления, то оказалось бы, что я пишу это письмо к моим собственным впечатлениям. Как ни верен и ни прекрасен прием изучения внешнего мира, основанный на нравственной единице человека, он тем не менее только прием, нимало не отменяющий внешнего мира.

Когда в настоящее время овес начинает пускать чуть заметную ниточку, или новорожденный начнет не умолкая пищать, то совершенно неточно сказать: овес *думает* прорастать, а новорожденный — пососать. Если же в обоих случаях сказать: *хочет,* то будет совершенно правильно и понятно. Если мы в целом мироздании, куда бы ни обратились, везде находим это неизменное хотение (волю), которое только в животном мире, по мере возрастающих потребностей, мало-помалу вооружается умом, венчающимся у человека способностью отвлечения (разумом), то каким же образом можем мы этот исключительный, не в пример всему остальному, костыль, выданный на потребу самому беспомощному животному, принять за самую основу всего мироздания, которое, если бы завтра все люди исчезли с их разумом (подобно тому, как они не существовали рядом с ихтиозаврами), продолжало бы процветать еще лучше, чем при человеке.

А затем позвольте Вам пожелать к Светлому Празднику наибольшее число отрадных минут и наименьшее количество пачкающих губок и тряпок.

Пожалуйста, не пишите мне, если бы даже Лев Николаевич отменил свою поездку на юг. Мы с женою, по крайней мере, постоянно будем в приятной надежде.

20

Москва, Плющиха, соб. дом. 23 января <1888 г.>.

Дорогая графиня!

«Я между плачущих — Шеншин».

Чтобы понимать язык галок, нужно, во-первых, быть галкой, а во-вторых, иметь способность понимания. Однородные с этим примером условия я нахожу в Вас, и потому Вы не удивитесь, что ни чувство смешного, ни другие соображения не удержали меня от попытки передать Вам

письменно (без прерывающих возражений) основные мысли, постоянно меня терзающие. Окруженный небольшим числом европейски образованных людей, назову Коршей — отца и сына, Грота — отца и сына, Соловьева — отца и сына, Страхова, я много раз пытался передать им то, что мне хотелось сказать, но каждый раз убеждался, что они не только не понимают меня, не потому чтобы были неспособны к пониманию по умственному развитию, а потому, что они не галки, т. е. не поместные дворяне. Не думайте, чтобы я сто раз не пытался заговорить о таких очевидных, бесспорных вещах с настоящими галками, но их мозги так плачевно убоги, что я вынужден был замолчать; а обращался я к дворянским предводителям, губернаторам и т. д. Вот объяснение того, почему Вы в настоящее время читаете строки, написанные, можно сказать, кровью моего сердца. Говоря о поместном дворянстве, я, конечно, имею в виду целое отдельное сословие, пользовавшееся до реформ широкими правами, дававшими ему возможность подыматься образованием и связанными с ним преданиями над остальными, и поставленном сущностью своих интересов в необходимость руководить жизнью и благосостоянием миллионов. В этом отношении (чтобы не растеряться в тысячах подробностей) я не умею отличить Спасского-Тургенева от его спившегося племянника, министра Толстого от какого-либо голодающего Толстого (если есть такой) и моего промотавшегося племянника — Шеншина — от меня. Возможность для меня одинакова: сидеть завтра в богадельне или на кресле министра народного просвещения, хотя это ни на йоту не изменит моей сути. Вчера Лев Николаевич так рельефно выставлял волочащуюся полу истертой шубы тончайшего Тютчева. Но что Вы скажете, не говорю о чернорабочей среде сельского дворянства, а только о блестящих ее представителях большого света. Тютчев — поэт женщин; попробуйте спросить о нем в нашей quasi тонкой среде. Они об нем и не слыхивали, а если станете им читать его, то ничего не поймут. Что же значит для целого сословия один Тютчев и один Толстой, которых, чтобы даже понять, нужно бежать и слушать, что в совершенно другом кругу говорит Страхов. При мне в Петербурге светская барыня, богачка, никак не могла утешиться, что ей в желтое ландо запрягли лошадей с белым, а не с желтым набором, тогда как у нее цвет герба и ливреи — желтый. В этом понимании ей и книги в руки. Но если спросить даже, какова ее роль в обширных ее имениях, то лучше и не спрашивать. Если

генерал-лейтенант граф Олсуфьев составляет, по латинскому выражению, редкостную птицу в дворянском кругу, то он сейчас же вместе со мною сознается, что наши с ним знания латинского языка перед знаниями Ивана Михайловича Ивакина то же, что знание русского языка m-me Минангуа перед знанием его Львом Николаевичем. Проторговавшийся еврей не более, как проторговавшийся еврей, и, по крайней мере, 50% вероятностей, что при малейшей удаче он снова будет богат; зато у моего бедного Борисова при разжижении мозга нет ни одной на оздоровление. Вот о чем я сокрушаюсь. Не в том беда, что наше дворянство утратило сословные права, а в том, что оно ничего не хочет знать, кроме минутной прихоти, хотя бы на последний грош. Это какое-то прирожденное швыряние чепца через мельницу. У всех у нас потомственная и, так сказать, обязательная кормилица-земля под ногами, но мы не только не хотим трудиться на ней, но не хотим даже хладнокровно обсудить условий, при которых земледельческий труд возможен. Не говорю даже о земледельческом труде; возьмем в пример умственную работу Льва Николаевича. Всякий день он учится, роется в кипах своих и привозных овчинок, тщательно сортирует их, внимательно распяливает гвоздиками на доске и старается выкроить подходящие к его делу куски. Вот это настоящий серьезный труд. Возьмите наших молодых дворян, которых насильно провели через высшие курсы; делают ли они то, что Ивакин с моим экземпляром Проперция, который он весь испещрил карадашом? А сколько труда нужно, чтобы так испещрить древнего автора? Пошиб нашей дворянской молодежи не останавливается на самоубийстве; как древесный лишай, он разбегается по всему дереву, мертвя молодые побеги, которые без этой заразительной болезни могли бы приносить сочные плоды. Кто только, как говорит Лев Николаевич, купит у Циммермана дворянскую шапку, мгновенно летит на рысаке за заставу прочь от отцовского дела.

Всем этим головам некогда думать не только о Платоне и Сократе, но даже о том, чем он весной будет сеять; но так как умственный желудок требует хоть какой-нибудь пищи, то за нею бегут в лагерь неприятельский, не замечая нимало, что откупная водка именно так и составлена, чтобы беззаветно пили, к большей прибыли откупщика. В погоне за праздным наслаждением несчастные дикари и не подозревают, что все, что подается им из враждебного лагеря, клонится к скорейшему их, дикарей,

истреблению. У дикарей не только нет собственного журнала, как, например, даже у собачьих врачей, ветеринаров, но такой журнал даже немыслим, ибо требует во главе своей настоящего помещика-земледельца.

Так, мы знаем какого-то грамотного Елецкого хлебного торговца, но едва ли найдется грамотный помещик-земледелец, а если бы и нашелся, то его бы никто не стал читать, а если бы он заговорил серьезно, то противный лагерь закидал бы его шапками и, пожалуй, цензура закрыла бы его лавочку.

Представим же себе невозможное, что большинство помещиков были бы самостоятельно и действительно образованные люди. Разве журнал, занятый самыми насущными их нуждами, не имел бы десятков тысяч подписчиков и разве мыслимо бы было зажать рот целому образованнейшему сословию? Мыслимы ли были бы те нелепые меры, которые то и дело истекают из министерств и бывают только нелепее тогда, когда в обсуждении их участвуют нарочно призываемые *сведущие люди?*

Может быть, Вы простите, что из желанья облегчить душу я утомил Вас бесконечным письмом.

Преданный Вам
А. Шеншин.

21

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 19 августа 1888 г.

Дорогая графиня!

Сердечно благодарим оба за полученную вчера весточку, что грозы Ваши прошли благополучно. Дай бог, чтобы их совсем не было! На этот раз я уверен, что Вы с таким же восторгом прочтете эти строки, с каким я их пишу, так как речь в них идет не обо мне, а преимущественно о Льве Николаевиче. Дошедши в моих воспоминаниях до своих появлений в Ясной Поляне, Никольском и Спасском, я, по милости Марьи Петровны, попал в целое море самых задушевных и разнообразных писем Боткина, Тургенева и, в особенности, Льва Николаевича. Боже мой, как это молодо, могуче, самобытно и гениально правдиво! Это точно вырвавшийся с варка чистокровный годовик, который и косится на Вас своим агатовым глазом, и скачет, молниеносно лягаясь, и становится на дыбы, и вот-вот готов, как птица, перенестись через двухаршинный забор.

По поводу этих бесценных писем я пишу Страхову: «Помните ли Ваши слова о светляках русской мысли, разбросанных по нашим деревням? Вот они, эти светочи, в самом наивном проявлении, без всякого козыряния перед публикой. Самый тупой человек увидит в этих письмах не сдачу экзамена по заграничному тексту, а действительные родники всех самобытных мыслей, какими питается до сих пор наша русская умственная жизнь во всех своих проявлениях».

Кроме того, это — ярославская шерсть того полушубка, которого выдубленная мездра снаружи расшита цветными узорами, и по отношению к задушевной жизни художника это то же, что «Война и мир» по отношению к войне с Наполеоном. Излишне говорить, до какой степени я жажду прочесть все это вам, чтобы услыхать от Вас, насколько это, согласно данному мне разрешению Львом Николаевичем, допустимо в печати, ежели сам Лев Николаевич соскучится меня прослушать. Я наверное знаю, что Ивану Ильичу истопник держанием ноги не поможет, но и не осуждаю Ивана Ильича, который от этого держания чувствует облегчение.

Если бы Вы обладали только свойством привлекать к себе людей, то бесполезно было бы обращаться к Вам, как к величайшей умнице, с весьма деликатным вопросом. Дело, во-первых, в том, что на Отраде, где мы будем у Галаховых, теперь скорый поезд в 9 час. утра не останавливается; а другие поезда приходят в Ясенки в час ночи и в шесть часов утра, что для Вас весьма неудобно. Но, помимо внешних затруднений, вопрос сводится к тому, кстати ли мы попадем в Ясную Поляну. Как нимало созданы мы для обременения любезных хозяев наших требованиями, но соринка еще меньше нас; однако если она попадет в глаз, да еще наболевший, то приятности доставит мало. Конечно, окончательным судьею можете быть только Вы. Мне лично предстоит еще распутать столько узлов, что о блаженной минуте бегства из Воробьевки не смею еще мечтать, хотя умственно не отодвигаю ее за 15-е сентября.

Целую Вашу руку и вместе с женой приношу Вам всем, начиная с Кузминских, наши искренние приветствия. Поверит ли Александр Михайлович что у меня есть стихи его, с которыми он ко мне обращается.

Ваш *А. Шеншин.*

22

Москва, Плющиха, соб. дом. 21 декабря 1890 г.

Дорогая графиня, я не виноват, что я поэт, а Вы мой светлый идеал. Разбираться по этому делу надо перед небесным судом, и если слово *поэт* значит дурак, то я этому смиренно покоряюсь. Дело не в уме, а в счастии, а носить в сердце дорогих людей — великое счастие. Каково было вчера мое удивление, когда незадолго перед обедом мне подали карточку Жиркевича, приславшего мне книжку стихотворений из Ялты (стихотворений — увы! отчаянно плохих), и когда этот Жиркевич объявил, что он прямо из Ясной Поляны, для которой проехал лишних триста верст. Давши слово вдове Щукиной обедать у нее, мы не могли оставить Жиркевича обедать, а на сегодняшний день он отказался за торопливостью отъезда. Мне нетрудно было быть с ним любезным, так как он вошел ко мне в кабинет, окруженный атмосферою Ясной Поляны, от которой он, как поэтический человек, в несказанном восторге. В его словесном воспроизведении виденного и слышанного все поставлено на надлежащем месте, начиная с милого тона детей и Вани, старающегося играть шпорой. Я был сердечно рад, услыхав, что граф бегает с лестницы и что на прогулке его никто догнать не может. Узнаю я его и в проповеди против поэзии и уверен, что он сам признает несостоятельность аргумента, будто бы определенный размер и, пожалуй, рифма мешают поэзии высказываться. Ведь не скажет же он, что такты и музыкальные деления мешают пению. Выдернуть из музыки эти условия, значит, уничтожить ее, а между прочим, этот каданс Пифагор считал тайной душой мироздания. Стало быть, это не такая пустая вещь, как кажется. Недаром древние мудрецы и законодатели писали стихами. Как бы то ни было, Жиркевич горячо благодарил меня за любезный прием, не подозревая, что я потому так сердечно был ему рад, что он весь дрожал самой животворной сущностью и прелестью Ясной Поляны. Этот любезный человек зарядился Вашим электричеством, которого искры обильно сыпались на собеседника. Мы оба с женой слушали его с великим наслаждением.

Примите, дорогая графиня, наши общие с женою поздравления с праздниками, которые по преимуществу следует помнить в Ясной Поляне, так как, где Вы, там

праздник. И передайте всем, начиная со Льва Николаевича, наши приветствия.

Неизменно преданный
А. Шеншин.

23

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. <14 сентября 1891 г.>.

Дорогая графиня!

Только тот естественно и непринужденно входит в комнату, который не думает о том, какое положение придать своим рукам.

Входя в настоящую минуту с сердечными поздравлениями за себя и за жену к Вам в гостиную, я боюсь не за свои руки, а (что гораздо хуже) за свое косноязычие и заикание, которое почему-то так нравилось Тургеневу. Дело в том, что я так боюсь Вашей проницательности и тонкого вкуса, что опасаюсь явиться с рутинным и пошлым поздравлением, с одной стороны, или с риторически-семинарским — с другой.

Страхов так живо обрисовал мне все семейные торжества в Ясной Поляне, что, мне кажется, будто я сам пировал на месте крокета.

И мы вот-вот после 15-го оба по болезненности сбираемся проехать в Москву, не заезжая даже к Галаховым. Если мы еще сами ничего определенного не знаем о себе, то еще менее знаем что-либо о Ваших зимних планах.

Я писал Страхову, что никто так ясно не понимает стремлений Льва Николаевича, как я. Это нисколько не хвастовство; ибо я ощущаю себя с ним единым двуглавым орлом, у которого на сердце эмблема борьбы со злом в виде Георгия с драконом, с тою разницей, что головы, смотрящие врозь, противоположно понимают служение этой идее: голова Льва Николаевича держит в своей лапе флягу с елеем, а моя лапа держит жезл Ааронов, — нашу родную палку.

Мы оба просим принять и передать Льву Николаевичу и всем Вам наши поздравления с дорогой именинницей, и чтобы не стоять перед Вами с пустыми руками, дерзаю поднести последний, осенний цветок.

Целую Вашу руку. Неизменно преданный

А. Шеншин.

Опять осенний блеск денницы
Дрожит обманчивым огнем,
И уговор заводят птицы
Умчаться стаей за теплом.

И болью сладостно-суровой
Так радо сердце вновь заныть,
И в ночь краснеет лист кленовый,
Что, жизнь любя, не в силах жить.

А. Фет

Если милые Кузминские здесь, передайте наши поклоны.

Екатерина Владимировна просит передать ее усердные Вам приветствия.

24

Москва, Плющиха, соб. дом. 25 октября 1891 г.

Дорогая графиня.

Некоторые люди до последних дней жизни сохраняют пыл и увлечение молодости. К ним на первом плане принадлежит Лев Николаевич и, между прочим, Ваш покорнейший слуга, в чем его часто укоряют. Хорошо ли это или дурно, судить не берусь, но знаю: с летами чувство не удовлетворяется безотчетным и непосредственным наслаждением, а поневоле критически осматривается на причины своего наслаждения. Юноша, смотря на восход солнца или прелестную женщину, даже не подумает о том, что сидит на жестком камне, а старик, восхищаясь театральным представлением, желает, чтобы в ложе не дуло, а, напротив, было тепло, светло и даже благоуханно.

В ту минуту, когда Вы вчера, вспомнивши о нас, грешных, забежали к нам, я с хромым Дьяковым и княгиней Оболенскою беседовал о Вас и говорил, что ожидаем Вас с минуты на минуту.

Есть два рода парения: одно проявляется в беззаботном возлежании на ковре-самолете, уносимом благодетельными дýхами; и другое — парение могучего орла, уносящего свою дорогую ношу. Первое — достояние беспечности и лени, и способно только нравственно принизить наблюдателя; второе — Ваше парение, которое всегда освежает и ободряет созерцателя. Умиротворять, успокаивать взоры на Вашем парении можно только при желании забыть ежедневные занавески и ковры, и, конечно, не в ту

минуту, когда необходимость гонит Вас к этим коврам и занавескам.

Вот почему мы с женою будем нетерпеливо ждать середы, надеясь, что Вы хотя несколько минут подарите нам специально до 5 часов, когда мы обычно садимся за стол.

Примите наши сердечные приветствия.

Неизменно Вам преданный

А. Шеншин.

Страхов собирается из Крыма заехать в Ясную Поляну, а затем к нам на Плющиху.

В. С. Соловьеву

25

Московско-Курской ж. д.
станция Будановка. 14 марта <1881 г.>.

Душевноуважаемый Владимир Сергеевич.

Приношу Вам мою живейшую благодарность за оба письма, хотя первое было мною, как это часто у нас бывает, получено с нарочным, отвезшим мое второе. Благодарю Вас за дорогой подарок «Крит<ики> Отвлече<енных> начал». В настоящее время наслаждаюсь этим прекрасным плодом Ваших многоразличных трудов и на досуге читаю его очень, по моим духовным силам, медленно, но не без толку. И вообразите, все время браню Вас умственно, приговаривая, неужели такой умница может быть до того слеп, что воображает, что наша непочатая университетская молодежь или заурядная публика поймут тут хоть две строки рядом. Ведь это для них арабская азбука. Повторяю: я в восхищении от Вашей книги и, главное, от ее критической стороны. Видали Вы, как торговцы хлебом печеным, икрой, говядиной — самым острым ножом отрезают кусок. Как аппетитно выходит. Таков Ваш Diserimen rerum *. Просто загляденье.

Спешу захватить Вас этим письмом на месте. Мне уже представляется, что Вы уезжаете и Вас не отыщешь. А между тем после Святой Вы собираетесь быть всюду, Не удивляйтесь же, что я напоминаю Вашему свойственному, как Вы говорите, летам Вашим легкомыслию, данное мне обещание заехать ко мне на Будановку.

---

* Анализ вещей *(лат.)*.

Оставив в стороне высокий умственный интерес, связанный для меня с Вашей личностью, я имею некоторые исторические права на Вашу любезность. Я не только был однокашником по слов<есному> фак<ультету> с Вашим отцом, но он не один раз ссужал меня деньгами взаймы — будучи юношей толковым и нравственным, тогда как я был его антиподом. Что касается до Романовых, то я исконный приятель всего их дома, начиная с Вашего деда Владимира Павловича и кончая теткой Александрой Львовной Бржеской, с которой по сей день в переписке. Итак, ein Mann, ein Wort*. При свидании сделаем общими силами, что можно, над «Фаустом», которого издавать в настоящее время ни к селу, ни к городу. Но не забывайте разницы между 30-летним и 60-летним человеком. Вот объяснение моей торопливости. Жажду услыхать Ваше суждение о труде Толстого. Через посредство Вашей категорической головы — я бы хоть услыхал, что это такое. А то я ума не приложу. Если это просто критика известного текста и учения,— я ничего не говорю. Но если это этика — дидактика ad usum delphini**, практическое руководство ничего не делать, то, право, мы, русские, менее всего нуждаемся в такой рекомендации. Вообще все наши страдания имеют один источник, мы не хотим ничего знать, а только приказывать в видах благодеяния. И вот и благодетельствуем всех цареубийством, общинным владением, насильственным улучшением быта, не замечая, что только те благодетельствуют, которые, стоя на острове среди потока наших благодеяний, с ним не соприкасаются (купцы, мещане, дворовые). Но ведь если дать свободу силе вещей (которая в конце концов одолеет), то что же станут делать благодетели? Ведь им надо жить и веселиться на счет облагодетельствованных <...>

Главное и главнейшее: напишите хоть, около какого времени Вас поджидать. Кроме 12 мая — я все время буду дома.

Искренний Ваш почитатель *А. Шеншин*.

---

* Дал слово — держи *(нем.)*.

** Для наследника престола (дофина) — *лат.*— В переносном смысле — «облегченное чтение».

26

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 14 апреля <1883 г.>.

Давненько получил я, дорогой Владимир Сергеевич, Ваш милый фонтанчик и, окруженный со всех сторон полой водой, не собрался отвечать Вам, а сказать хочется много, и не знаю, с чего начать.

1-е

Среди долины ровныя. Нет:
Среди разлива страшного
Внезапно получил
Я телеграмму краткую:
«У вас ли Соловьев,
Скажите, что он нужен нам,
Что ждем его сейчас».

Конечно, я отвечал, что Соловьева нет, и поэтому даже теперь сомневаюсь, попадет ли своевременно это письмо в Ваши руки. Утешаюсь мыслью, что добрые души Ваших домашних сжалятся и перешлют эту хартию к Вам.

2-е. Я считаю себя до того Вам близким, что могу говорить вещи, о которых следует молчать. Вы мне дороги не только по уму и образованию, но гораздо более сверх того,— что бог сотворил Вас настоящим джентльменом до мозга костей. В Вас нет того вахлачества и лени, которой мы, русские, olemus *. Когда я вижу эти тихие и ясные черты, мне становится легко, как ласточке под окном. Sapienti sat **.

3-е. Я на всех парах работаю над Горацием, и дело весьма спорится. Я так боялся эпод — по причине их формы, но теперь они у меня за спиной.

Ночь была, и в небесах блистала луна озаренных
Между мельчайших огней,
Как великих богов оскорбить ты готовая силу
Вторила клятве моей и т. д.

Теперь я зарылся по уши в прекраснейших сатирах поэта.

Это образец языка, практического ума, тонкости, словом, прелесть.

Конечно, перевожу буквально. Но работы много. Надо готовиться. Так много на каждом шагу подробностей, без

* Пахнем *(лат.)*.
** Знающему — довольно и этого *(лат.)*.

которых ничего понять невозможно. Бью на то, чтобы иметь радость зимой отлично издать всего Горация с примечаниями, вновь пересмотренного. Он ужасно криво пишет, а это я только и ценю в поэте и терпеть не могу прямолинейных. Написал целых три новых стихотворения, которые оставляю до Вашего приезда. Читал Вашу прекрасную статью о церковных толкованиях среди граждан.

Извините, не хочу справляться о заглавии.

4-е. Попадался ли Вам в № 25 мартовского «Нового времени» разбор моих виршей,— кого бы Вы думали? — Буренина.

И разбор мастерской, по-моему. В такой тесной рамке он растузил дураков на славу и указал на главнейшие черты моей музы. Видно, что человек тонко понимает дело, хотя не могу понять, как тут же он восхищается прямолинейным Некрасовым? Бог с ними и со всей нашей интеллигенцией мужицкой, но удивительно, что Катков, у которого я так много печатал, хоть бы пикнул.

5-е и главное. 10-го июня я выезжаю и возращаюсь домой 14-го или 15 с Боратынской, если она сдержит слово. Итак, соображайтесь с этим; но главное, не обманите наших с женой горячих ожиданий. Попросите брата или милую сестричку черкнуть мне 2 слова, коли бог почтовый наложил запрет на Вашу чернильницу. И адрес, адрес, адрес. Это одна из, нет не из, а просто одна Ваша пята Ахилла. У меня всегда адрес печатный, а при перемене места все-таки адрес. А то: Гумбольту в Европе. Буду ждать хоть звука с Вашей стороны.

Наши праздничные и будничные приветствия всем дорогим вам.

Преданный Вам *А. Шеншин.*

Не прослышите ли у Вольфа, как идут мои книги.

27

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 26 июля 1889 г.

Милейший наш и дорогой Владимир Сергеевич.

Так как, по случаю именин, лошадей приходилось посылать, рассчитывая на гостей, а не на письма, то выпущенная Вами чистая и прелестная голубица, в виде пись-

ма, задерживаемая уходом в два часа дня почтмейстера Коренной станции, по причине ее заказа (?) только вчера принесла нам свою миртовую ветку.

Так как Мария Петровна действительно тронута Вашим добрым приветом и с достаточной поспешностью не находит слов благодарить Вас, то я, чувствуя и себя в этом отношении не богаче ее, только надеюсь на Вашу замечательную чуткость и уверен, что Вы прочтете эти слова между строками.

Я запрашивал о Вас у Михаила Сергеевича, но ответа не получил, и душевно радуюсь, что, по крайней мере, знаю теперь, где Вы.

Марциал рассказывает про кривого пьяницу, которому доктор запрещает пить, щадя последний больной глаз. Но этот пьяница требует вина и пьет, чтобы проститься с глазом. Не таково ли с Вашей стороны отдохновение, предоставляемое симпатическим нервам? Конечно, Вы принадлежите к тем редким исключениям, которые ничего незначительного написать не могут.

Как я рад, что Вы перевели Канта. Это была Ваша священная обязанность, и я первый покупатель Вашего несомненно превосходного перевода. Хотя значение духовной телесности должно раскрыться в конце статьи, но и в том смысле, в каком я понимаю это счастливое выражение, оно мне чрезвычайно нравится. Я понимаю слово духовный в смысле не умопостигаемого, а насущного опытного характера, и, конечно, видимым его выражением, телесностью будет красота, меняющая лик свой с переменой характера. Красавец пьяный Силен не похож на Дориду у Геркулеса. Отнимите это тело у духовности, и Вы ее ничем не очертите.

Об упреках со стороны иезуитов в мистицизме судить не могу, так как этого не понимаю со стороны христианина, как не понимаю жреца Озириса, обвиняющего в мистицизме служителя Цереры или Цибелы. Конечно, будучи русским с головы до ног, я тем не менее радуюсь смертельному удару славянофильству. Как будто бы нельзя быть русским, не нарядившись пляшущей козой.

Не знаю, прочли ли Вы прекрасную брошюру К. Н. Леонтьева «Народная политика как орудие революции». Чрезвычайно тонко и умно.

Зная Ваше отвращение к письмам, прошу Вас продолжать коснеть в граммафобии, что в случае крайности не удержит меня от письма к Вам.

Работаю над Марциалом и над своими записками по-

немпогу, и будем ждать вас, в том числе и Екатерина Владимировна, возможности приветствовать Вас на Плющихе.

Позвольте до личного свидания заочно от души обнять Вас преданному

А. Шеншину.

28

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 8 июля 1892 г.

Дорогой Владимир Сергеевич.

Юрий Николаевич смутил нас вестью, что, собравшись в Воробьевку, Вы изменили свое намерение. С Вашей легкой руки в нынешнем году Воробьевка представляет, по отношению к гостям, довольно разноцветный калейдоскоп, в котором точно по взаимному условию лица сменяются другими. Как ни досадно это в известном отношении, так как не дозволяет приглядеться к приезжему, тем не менее такое мелькание на нашем горизонте является хотя бы и нежелательным <но> фактом. Так, например, день Святой Ольги уносит завтрашний день от нас Страхова к его имениннице в Киев. Зато две Ольги, т. е. Иост и Галахова, обещают прибыть к 22-му, чтобы вместе с нами поклониться Вам. Мария Петровна просит прибавить, что помещение Ваше будет вас ожидать. Уступаю перо более опытной руке и дружески жму Вам руку.

Ваш старый *А. Шеншин.*

Как я рад, что Екатерина Владимировна исправила мой недосмотр и указала, что к 15 следует поздравить Вас с днем ангела. Исполняю это с тем большим удовольствием, что знаю, что ангел Ваш — чистый, вдохновенный и добрый гений.

29

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 10 июля 1892 г.

Дорогой Владимир Сергеевич.

Юрий Николаевич нудит меня к плеоназму ввиду моего напоминания Вам о 22-м, тогда как Вы сами хорошо знаете, что такое напоминание есть только крайний наскок на Вашу нерешительность. А что мы все ждем Вас

ежедневно с распростертыми объятиями к Юрию Николаевичу во флигель,— об <этом> говорить считаю излишним.

Преданный и признательный Вам
А. Шеншин.

<Приписки Ю. Говорухи-Отрока: Новое классическое изречение Аф. Аф., произнесенное им с большою горячностью и даже перекрестившись: «Благодарю, тебя, Господи, за то, что я язычник».

Ю. Г.

Сейчас мы читали с А. А. поэму Фофанова. Герой кончает самоубийством, вот слова:

Он умер, он без чувств упал... т. е. сперва умер, а потом упал без чувств. Это уже мера всему>.

А. В. Олсуфьеву

30

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 29 апреля 1887 г.

Душевноуважаемый граф Алексей Васильевич!

Вы постоянно умели заставить меня начинать и кончать благодарностью мои к Вам обращения. Так и в настоящем случае только Вашему посредничеству я обязан отрадным письменным знакомством с Нагуевским. Если, как я неоднократно говорил, тонкое понимание классиков и бескорыстная к ним любовь так изумительны в кавалерийском генерале, то такая бескорыстная любовь в человеке, обремененном профессией, от которой зависит его насущный хлеб, даже трогательна.

С приезда в деревню я по нездоровью еще ни разу не выходил на воздух, что не помешало мне добраться до конца пятой книги «Энеиды» и переслать Нагуевскому как образчик первую книгу.

Вчера я получил его ответ вместе с немногочисленными указаниями мест, подлежащих исправлению. Хотя я, по мере упадка моих сил, считаю перевод «Энеиды» своим последним трудом, но гостящий у нас в настоящее время и, надеемся, на все лето Вл<адимир> Серг<еевич> Соловьев любезно вызвался помогать мне в переводе, а

при его основательном знании латыни и мастерском владении русским стихом помощь его для меня драгоценна.

Приятно было мне видеть, что Нагуевский доволен не только точностью перевода, но и общим течением, как он выражается, эпической речи. Но что обрадовало меня не менее, то это полное совпадение его желаний с моими на счет внешнего вида издания. Он советует издать перевод совершенно по образцу Ladewig'а, то есть в двух томиках при наименьшем количестве примечаний и, конечно, без латинского текста. Нельзя отрицать, что издание рядом с текстом имет в свою пользу немало доводов и что после роскошного в этом отношении издания «Превращений» может возбудить в некоторых читателях смущение при виде отступлений от этой формы, но держусь пословицы: «Выше силы и конь не прянет». Считаю в предисловии необходимым высказать причины, заставляющие меня отказаться от такой роскоши. При этом мне придется поневоле оспаривать Ваше мнение, на что заранее испрашиваю Вашего разрешения, обязуясь не печатать самой статьи, пока она не будет Вами просмотрена. Вместе со мною Вл<адимир> Серг<еевич> Соловьев просит Вас принять и передать глубокоуважаемой графине Александре Андреевне наши сердечные приветствия.

Жена усердно Вам кланяется.

Искренне преданный и признательный Вам
А. Шеншин.

31

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 25 марта 1888 г.

Душевноуважаемый граф Алексей Васильевич!

Приношу Вам мою сердечную признательность за одиннадцатую элегию, поправки которой я имел честь получить при любезных строках Ваших. Это была последняя рискованная посылка на станцию при наступившем половодье, а настоящее письмо является первою голубицей, которой я желаю благополучно доставить свой миртовый листок на Ваш письменный стол. Самым добросовестным образом я воспользовался Вашими указаниями и, кажется, ничего не испортил излишним рвением. Собственно, говоря общечеловеческим языком, ничего особенного не случилось со времени нашего последнего свидания. Говорю не о Вашем высоком положении, в ко-

тором всякое новое поручение означает новое высочайшее доверие и милость,— а только [неразб. по-немецки.— *Сост.*].

Все грудные недуги мои значительно облегчились со времени воздержания от курения, которое все еще окончательно не потеряло для меня своей прелести. Но зато мне кажется, я мгновенно превратился, подобно танцовщику на лошади, прыгнувшему в бумажный круг в красной мантии поэта и выпрыгнувшему из него в белой поварской куртке и берете. Конечно, мне давным-давно пора думать об овсяном супе, а не о лире, струны которой я процарапал пятьдесят лет, но стыдно не кончить начатого, как папр<имер> Проперция. Если и после моей смерти кому-либо придет охота говорить обо мне, то, наверно, никто не спросит, больше или меньше задыхался я в 1888 г., и насколько счастлива была в этом году выжеребевка в Воробьевке на моем заводе. Между тем, оказывается, что я прошел уже три четверти пути по болоту и у самого шоссе завязнул и томлюся жаждой. Но вот я вижу издали спасительный поезд, брандмейстера, сопровождаемого ловкими пожарными с бочками воды. Сию минуту конец моим мучениям, меня вытащат из болота, обмоют и освежат. Каков же мой ужас, когда над пустынным болотом раздается громкий голос: «И не жди помощи! Еще одним пожаром прибыло! Потушу один, надо тушить другой!»

До июня остается всего два месяца. Приятно мне или неприятно, судьба меня не спрашивает, а между тем необходимо установить modus vivendi *, и я вынужден просить Вас о продолжении благодетельной работы и высылке мне элегий третьей книги по мере их проверки. Минута, когда редакция «Журнала Министерства народного просвещения» насядет на меня с окончательным требованием второй половины Проперция, мне неизвестна. Но тогда уже я буду просить Вас о высылке мне в Воробьевку и остального.

Мы с женою крайне жалеем, что и на этот год нам не придется принять Вас в нашей микроскопической Швейцарии, и просим передать графине Александре Андреевне наши общие усердные приветствия.

К общему удивлению, снега разрешились сравнительно скудным половодьем, а 23-го марта вечером была гроза с сильным дождем.

---

* Образ жизни (*лат.*).

С глубочайшим почтением и признательностью имею честь быть Вашим всепокорнейшим

А. Шеншиным.

32

Воробьевка. 7 июля 1888 г.

Искренне и глубоко уважаемый граф
Алексей Васильевич!

Ваши энергические и красиво четкие строки одним появлением своим разбудили меня от того мучительного сна, в котором повергло меня окончание усидчивых работ, вместе с «Горшком» Плавта, перевод которого я прочел гостившему у меня киевскому профессору Кулаковскому. Усилению кошмара содействовала невыносимо дождливая погода, сгноившая сено и грозящая окончательной гибелью экономического года. Если бы я в настоящее время переводил Горация, то толковал бы «Beatus ille, qui procul negotiis...» * в смысле: «Separatus ab rusticanae vitae molestiis»**.

Излишне говорить, с каким восторгом я, по возвращении в Москву, по указанию Вашему наброшусь на Марциала. Совладею ли я с ним, покажет будущее, но биться собираюсь до последней капли крови. Но не по части одних классиков я дорожу Вашими советами. Если Вы припомните, то я постоянно приходил в восторг от прямоты и ясности Ваших суждений, не изувеченных так называемыми современными веяниями, уже около тридцати лет терзающими нашу несчастную Русь. С полным чистосердечием кладу следующие за сим слова в слух высокообразованного потомка древних русских бояр — и уверен, что если слова останутся без результата, то все-таки не упадут на улицу.

На днях, проездом из Киева, был у меня мой старый и добродушный друг Полонский, получивший за свой пятидесятилетний юбилей удвоенный пенсион и звезду. Овации, выпавшие 30 апреля этого года на долю Майкова, известны всем русским читателям. В конце нынешнего года истекает срок пятидесятилетия моей поэтической деятельности, и я с разных сторон получаю запросы о моем юбилее. Все это время я мысленно забегал за первое ок-

---

* Блаженя, кто вдалеке от всех житейских зол... (Гораций. Эподы, 2. 1.— *Пер. А. Фета.*)

** Удаленный от тягот сельской жизни (*лат.*).

тября и, повергаясь к стопам графини Александры Андреевны, излагал следующее. Талантом, по моему мнению, хвалиться никто не имеет права. Но когда речь идет об известных произведениях, то невозможно предположить, чтобы я сам был не в состоянии сопоставить своих стихов со стихами всех современных поэтов, или не знал бы, что без моих трудов Россия до сих пор была бы без стихотворных переводов римских поэтов. Невежественная толпа вослед за невежественной критикой столько раз в течение пятидесяти лет покрывала меня то рукоплесканиями, то порицаниями, что я толпе могу ответить словами Горация (кн. I, ода I, ст. 29—32):

Меня ж зеленый плющ, искусного награда,
Равняет божеством, меня лесов прохлада
Да между легких нимф сатиров хоровод
Возносит над толпой...

Но есть другое обстоятельство. Пятьдесят лет я простоял на коленях перед идеалом русской женщины, и цветы, которые по временам я удостоивался получать от избранных русских женщин, были для меня истинною наградою, с которою никакая печатная реклама не могла сравниться. Это одна сторона дела, но есть и другая. Я глубоко русский человек, и без высочайшего внимания к какой-либо отечественной заслуге я не могу признать, что заслуга эта отечеством оценена. В этом случае считаю себя по историческим преданиям гораздо более вправе, чем Гораций, сказать главе государства:

Коль ты меня почтешь лирическим певцом,
Я вознесусь до звезд торжественным челом.

Тут уж позволю себе обратиться с речью к Вам, многоуважаемый граф. Жаловать меня какими-либо орденами, соответствующими чину гвардии штабс-ротмистра, или назначить мне пенсию — мало соответственно моему положению. Единственною, ничего не стоющею казне, а между тем значительно выдвигающею меня наградою, как высочайше отличенного писателя, было бы камергерское звание. Все мои сверстники, и десятой доли не заслужившие того, что пришлось прослужить мне — двенадцать лет на коне и одиннадцать участковым мировым судьею Мценского округа, где я поныне состою почетным судьею,— давно генералы. Вы, граф, писали мне об удовольствии, высказанном перед Вашим сиятельством К. П. Победоносцевым по случаю моего перевода «Энеиды». При свидании с ним

Вы могли бы узнать, в какой мере он находит желание мое исполнимым. Если ответ его будет отрицательным, то я со своей стороны не допущу никакого юбилея. Но в случае благоприятного ответа я снова осмелюсь обратиться с вопросом, не найдет ли графиня возможным поставить свое имя во главе немногочисленных московских дам, например графини Соллогуб, Толстой и т. д., которых, получивши разрешение графини Александры Андреевны, я буду просить отдельно. Ехать же на юбилей в Петербург я так же мало способен, как войти с кренделем и поздравить с именинником, подразумевая себя. Никаких торжественных восхвалений мне не нужно; я ждал бы из рук председательницы лаврового венка и высочайшей награды, о которой говорю выше.

Если Ваше сиятельство или графиня Александра Андреевна почему-то не одобрите моей мысли, то я уверен, что Вы нимало не затруднитесь мне это высказать.

Жена моя и amanuensis* усердно благодарят Вас за память.

Я уверен, что графиня Александра Андреевна не откажет мне в счастье руководящего совета.

С глубочайшим уважением и признательностью преданный Вам

А. Шеншин.

Для образца прилагаю четыре перевода присланных Вами эпиграмм Марциала.

33

Москва, Плющиха, соб. дом. 31 марта 1890 г.

Христос Воскресе!
Многоуважаемый граф!

Любезное внимание Ваше, выраженное присылкою вырезки из «Нового времени», я принял как радостное свидетельство того, что Вы из Петербурга уже снова вернулись.

Дряхлея и задыхаясь все более, я никуда, за исключением обязательных родственных обедов, на праздники не поеду. Это, по благорастворению воздуха, не помешает мне явиться по Вашему указанию к Вам в назначенный

---

* Секретарь *(лат.)*.

час для занятия Марциалом, которого комментарий я пишу уже к третьей книге.

Единственное, что я нахожу неоспоримым в статье Бауэра, это — то, что я стараюсь не принадлежать и не принадлежу ни к какой партии — литературной или политической и не считаю всесветного расслабления за прогресс и уверен, что государственные и народные основы могут держаться только там, где, как в Китае, их шатать воспрещается. Не менее справедливо и то, что я никогда не добивался популярности. Что-нибудь из двух: надо или писать стихи мастерские, или вовсе их не писать. Вот почему я так безгранично ценю Ваши драгоценные для меня указания и поправки.

Жена присоединяет свои поздравления с праздником.

Глубоко признательный Вашему сиятельству

А. Шеншин.

34

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 2 сентября 1890 г.

Глубокоуважаемый граф Алексей Васильевич!

Получивши вчерашнего числа Ваше письмо из Олсуфьева, мы оба с женою были сердечно обрадованы, что благотворное солнце Вашего участия к моему Марциалу снова выглянуло из мрачной тучи заслонивших его недоразумений. Ваш ультиматум содержит в себе почти буквально все условия, на которые я уже год тому назад был согласен, но прежде чем безповоротно подписываться под ними, считаю необходимым разъяснить дело в собственных глазах.

Гостящий у нас в настоящее время Вл<адимир> Серг<еевич> Соловьев просит передать графине и Вам свои сердечные приветствия. Два года тому назад гостя у нас, он любезно перевел три книги «Энеиды», о чем я громогласно объявил в предисловии. Этим примером я хочу сказать, что за поданную мне руку помощи я не ограничиваюсь благодарить келейно, но не желаю и рядиться в чужие павлиньи перья. Заговоривши о перьях как украшении, следует воспользоваться этой метафорой для точного различения самой птицы от ее перьев. Молодая утка весьма туго поддается ощипыванию, и нельзя не поблагодарить того, кто тщательным щипанием и выдергиванием черных пенышков дает возможность подать некорявое жареное, и, конечно, со стороны кулинарной прием

щипания капитальный и существенный, тогда как зажаривание фазана с сохранением хвоста хотя и придает блюду нарядный и торжественный вид, является делом внешним. Что перевод мой без многочисленных и настойчивых указаний Ваших был бы испещрен промахами, о том свидетельствует моя постоянно высказываемая Вам признательность. И в этом деле разногласия у нас в воззрении быть не может, ибо я, подобно Вам, не полагаю, что нужно во что бы ни стало держаться неверно понятого выражения. До сих пор дело стоит в своих простых и обычайных границах. Но вдруг я очутился в положении той нищей бабы, которую гоголевский Иван Иванович спрашивает: «Так тебе, может, и мяса хочется?», и которая отвечает: «Где уж голодной разбирать!» Что я в свою очередь алкаю мяса, не требует доказательств. Мне было бы бесконечно лестно поставить во главе своего перевода такой капитальный труд, как Ваше жизнеописание Марциала. В видах этого венца я иду прямо против собственных мнений об издании книги. Я не говорю о том, что типографский расход из шестисот превратится в две тысячи рублей: деньги, особенно в моем положении, дело наживное; но по-моему, как я уже не раз говорил, латинский текст только обременит книжку и превратит ее продажную цену из $1\frac{1}{2}$ рубля в пять, так как печатать ее более шестисот экземпляров есть безумие. Конечно, *жизнь* и всякое могущее явиться предисловие станет во главе, а не в конце книги. Но как бы рано ни было готово предисловие, никто никогда не начинал печатание книги с предисловия, которое всегда печатается отдельным шрифтом. Через каких-либо три недели, явясь в Москву, я буду иметь возможность доложить Вам о всех типографических мелочах, с которыми по долголетнему опыту хорошо знаком. Еще раз говорю, уверение в моем желании украсить мою книгу Вашей специальной работой доказывается моим безусловным согласием печатать латинский текст и не заикаться до 1 января, т. е. назначенного Вами самими срока, вопросом о ходе предисловия. Думаю, что я нисколько не заслужил упрека в небрежном отношении ко второй главе жизнеописания. Если я сознательно не желаю представить своего труда с изъяном, то предполагаю, что и Вы не желаете того же по отношению к своему труду. Поэтому, помня поговорку: «Il ne faut pos être plus royaliste que le roi» *, я

* Нельзя быть больше королем, чем сам король *(фр.)*.

вполне возлагаю всю ответственность капитальной стороны этого труда на Вас, ограничиваясь одним легким исправлением слога. Не доверяя самому себе, я четверть часа тому назад прочел все восемь листов Соловьеву, который, между прочим, сказал, что Марциал едва ли не единственный поэт, из стихотворений которого искусная рука могла бы составить такую подробную биографию, а про слог сказал, что он безукоризнен. Могу Вас уверить, что на лучшее исправление я не способен, хотя бы просидел над ним целый месяц. Не взирая на тщательную справку в Ювенале насчет сравнения Цезаря и Клавдия, я ничего подобного не нашел и считаю самую цитату ошибкой. XIV книгу и II главу при сем прилагаю.

Мы оба с женой поручаем себя благосклонности графини.

Неизменно преданный и признательный

А. Шеншин.

35

Москва,
Плющиха, соб. дом. 20 марта 1891 г.

Душевноуважаемый граф.

Не теряя минуты, возвращаю две тетради, которыми Вы снабдили меня на вчерашний день, и прилагаю девять листов собственного изделия, чтобы убедить Вас, какой прелестный веер я нащипал из блестящего павлиньего хвоста Вашего, который, к несказанной радости моей, так громко был приветствован во вчерашних «Московских ведомостях», вероятно ученым Грингмутом. Он прав, говоря, что это европейский вклад. Умоляю Вас не задерживать и возвратить мне мою статью, для прочтения которой Вам достаточно получасу.

Целую руку графини, сердечно преданный и признательный Вам

А. Шеншин.

36

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 29 мая 1891 г.

Многоуважаемый граф.

Поданное мне за вечерним чаем письмо Ваше с таким необычайным характером немало встревожило всех нас, лишая при этом надежды радостно принять Вас в Воробьевке. Но с тою же почтою получены и «Московские во-

домости», и зоркая Екатерина Владимировна прочла, что граф Олсуфьев выехал в Брянский уезд. Но я держусь правила писать Вам в дом Дашкевича.

Я немало не был бы в претензии, если бы Вы вскрыли и прочли милые строки Клейншмидта, про которого можно сказать, что он свои буквы «Kleinschmidt» <...> В угоду антипатии Екатерины Владимировны к немецкому писанию, перевожу Вам письмо Клейншмидта по-русски:

«За дорогой подарок и особенно за надпись на переводе Марциала, как выдающийся почет, приношу Вам, dem gefeierten Liriker Russlands *, мою сердечную признательность. Ваша посылка совпала с минутою, когда я в одной из франкфуртских газет прочел о появлении Ваших воспоминаний, в которых Тургенев, мой любимец в русской литературе, и Лев Толстой озаряются новым светом. Я буду внимательно изучать Ваш перевод Марциала (с полным вниманием) и возобновлю мою признательность».

Все экземпляры, предназначенные Вами для раздачи, я давно еще в Москве разослал по принадлежности.

Что касается до бывавшего у нас в Воробьевке Юлиана Андреевича Кулаковского, профессора Киевского университета, то я выслал ему своего Марциала, но ответа до сих пор не получал. Но имени брата его в Варшаве не знаю, но могу, если Вам угодно, Юлиана Андреевича о нем спросить.

Екатерина Владимировна предполагает, что его задерживают экзамены.

Марья Петровна благодарит за любезное приветствие, а я прошу Вас хотя на лету поцеловать руку порхающей графини.

Я писал великому князю, как Вы спасали меня в своей карете, когда я остался, как рак на мели. Были у Толстых. Ай, ай!

Неизменно преданный и признательный

А. Шеншин.

37

Московско-Курской ж. д.
станция Коренная Пустынь. 6 мая 1892 г.

Многоуважаемый граф.

Вчера под бандеролью, адресованной неизвестной мне рукою, я получил № 16 Берлинской классической фило-

---

* Прославленному российскому лирику *(нем.)*.

логии с чернильною меткою статьи: Olsufieff Marcial (A. Sonny).

Статья, как видно, киевского ученого воздает подобающую честь Вашему замечательному труду, и хотя есть пункты, в которых он Вас оспаривает, но так как с обеих сторон дело основано на предположениях, то решается это личным вкусом. Когда я в Дрездене сидел у знаменитого новеллиста Ауэрбаха, и разговор у нас зашел о переводимом мною тогда Горации, то Ауэрбах спросил бывшего при этом своего приятеля: «Много ли у вас в Германии офицеров, заинтересованных подобными вопросами?» Тем более сама собою напрашивается ко мне мысль: много ли наших генералов слыхали о Марциале?

У нас после годовой голодухи настойчиво угрожает еще худшая. Я говорю, основываясь на собственных глазах и на донесении управляющих из трех губерний: Орловской, Курской и Воронежской.

Пшеница окончательно пропала, рожь и овсяные посевы пропадают, так как с весны по сей день не было ни капли дождя. А ржи приходит время колоситься.

Сегодня, к крайнему изумлению, не без удовольствия прочел № газеты «Землевладельца», издателя которого я в письме только что поругал за бледность издания. К изумлению моему, весь номер написан помещиками, и не только вполне дельно, но даже грамотно. Со всех сторон подымаются голоса о гибельной несостоятельности выдуманного дьячками общинного владения. Какие тонкие и умные проходимцы наши конституционисты и социалисты в сравнении с напочатыми землевладельцами. Вот причина приниженности последних. Теперь, когда пальцы торчат из сапог, вспомнили о сапожнике.

Я кончил примечания к Tristia.

Поручив себя Вашему благорасположению, имею честь быть Вашего сиятельства

А. Шеншин.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее издание включены разные жанры творческого наследия Фета: лирика, поэмы, художественная проза, мемуары, письма. Отбор материала продиктован задачей представить образ Фета-москвича. В книгу вошло лишь то, что было создано поэтом в Москве или связано с Москвой. Сборник состоит из трех частей. Первая часть освещает жизнь и творчество Фета студенческих лет, вторая — охватывает московскую жизнь поэта с 1856 по 1892 год, третья часть «адресно» объединяет стихотворный и эпистолярный материал.

Текст мемуаров Фета печатается с сохранением особенностей авторского оригинала.

СТИХИ 1840-х ГОДОВ. ПОЭМЫ. СТРАНИЦЫ ПРОЗЫ И ВОСПОМИНАНИЙ

МОСКВА

Повесть «Дядюшка и двоюродный братец» впервые опубликована: Отечественные записки. 1855. № 10. С. 171—238.

ИЗ КНИГИ «РАННИЕ ГОДЫ МОЕЙ ЖИЗНИ»

С. 17. *...доехали в Москву.*— Это был второй приезд Фета в Москву — в начале 1838 года его привез сюда из Верро А. Н. Шеншин. Впервые же Фет побывал в Москве в январе 1835 года на пути из Новоселок в Верро, о чем рассказал в книге «Ранние годы моей жизни». Впечатления именно этого первого знакомства с Москвой отразились и в повести «Дядюшка и двоюродный братец».

Новосильцов Петр Петрович (1797—1869) — адъютант московского генерал-губернатора, деревенский сосед и друг А. Н. Шеншина.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) жил в это время в своей усадьбе на Девичьем поле, где содержал частный пансион, в котором готовил воспитанников для поступления в университет.

Беляев Иван Дмитриевич (1810—1873) — историк, профессор Московского университета.

С. 20 *Введенский* Иринарх Иванович (1813—1855) — педагог, литератор, переводчик, журналист. История взаимоотношений Фета с Введенским подробно рассказана в книге Г. П. Блока «Рождение поэта» (Л., 1924).

С. 22. *Крюков* Дмитрий Львович (1809—1845) — профессор римской словесности Московского университета.

Давыдов Иван Иванович (1794—1863) — профессор русской словесности, декан словесного факультета Московского университета.

Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1788—1880) — астроном и математик, профессор, затем ректор Московского университета.

Крюммер — педагог, выходец из Германии, директор частного учебного заведения в г. Верро (ныне г. Выру Эстонской ССР), где учился Фет.

С. 24. *Григорьев* Аполлон Александрович (1822—1864) — ближайший друг и «литературный советник» Фета-студента, впоследствии известный поэт и критик. Григорьеву мы обязаны исключительно ценными свидетельствами о духовном облике молодого Фета, которые мы находим в

рассказах «Офелия», «Человек будущего», «Мое знакомство с Виталиным» и «Листки из рукописи скитающегося софиста» (новейшую публикацию всех этих материалов см. в изд.: Григорьев Аполлон. Воспоминания. Л., 1980).

С. 26. *...к Григорьевым на новоселье.*— В дом Григорьевых Фет переехал в начале 1839 года; здесь поэт провел все свои студенческие годы с 1839 по 1844-й. Дом не сохранился (Малая Полянка, 12; снесен в 1962 г.). Изображение дома и его интерьеров см. в изд.: Аполлон Александрович Григорьев: Материалы для биографии / Под ред. В. Княжнина. Пг., 1917; Григорьев А. Воспоминания. М.; Л., 1930; Григорьев Аполлон. Воспоминания. Л., 1980; Фет Афанасий. Воспоминания. М., 1983.

С. 30. *Ипокрена* (букв. «источник коня» — греч.) — горный ключ в Беотии; согласно др.-греч. преданию, появился от удара копыта коня Пегаса и обладал свойством вдохновлять поэтов.

С. 32. *Бенедиктов* Владимир Григорьевич (1807—1873) — поэт. Имел шумный, но кратковременный успех во второй половине 1830-х годов.

Редкин Петр Григорьевич (1808—1891) — профессор энциклопедии законоведения и государственных законов Московского университета, для студентов последних курсов всех факультетов читал лекции о русских государственных законах.

Крылов Никита Иванович (1807—1879) — профессор римского права Московского университета.

Новосильцев Александр Владимирович (1822—1884) — брат писательницы С. В. Энгельгардт (писавшей под псевдонимом Ольга Н.).

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — историк, профессор Московского университета.

Черкасский Владимир Александрович (1824—1878) — окончил юридический факультет Московского университета, занимался историей русского права. Впоследствии известный деятель крестьянской реформы.

С. 33. *Н. М. О-в* — Орлов Николай Михайлович (1821—1886) — сын декабриста М. Ф. Орлова.

Полонский Яков Петрович (1819—1898) — поэт, литератор, литературно-общественный деятель. Об истории полувековых отношений двух поэтов см.: Никольский Ю. А. История одной дружбы: Фет и Полонский // Русская мысль. 1917. № 5.

Иванов Сергей Сергеевич — впоследствии товарищ попечителя учебного округа.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — либеральный юрист, публицист.

Студицкий (Студитский) Александр Ефимович — впоследствии писатель, близкий к «Москвитянину».

С. 34. *Строганов* Сергей Григорьевич (1794—1882) — попечитель Московского учебного округа в 1835—1847 годах.

Корш Любовь Федоровна, в замуж. Крылова (1820—?).

Корш Софья Григорьевна (1799—1871) — жена Ф. А. Корша, мать четырех дочерей: Софьи, Любови, Антонины и Лидии.

С. 35. *Корш* Федор Адамович (1776—1837) — московский врач.

Корш Антонина Федоровна, в замуж. Кавелина (1823—1879).

Корш Лидия Федоровна, в замуж. Григорьева (1826—1883).

Куманина Софья Федоровна, урожд. Корш (1817—?).

Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — московский трагический актер.

Ферзинг, Нейрейтер, Бек, Голланд (ниже) — солисты немецкой оперной труппы.

В Большом театре в те годы ставились и драматические и оперные спектакли.

С. 36. *Орлова* Прасковья Ивановна (1810—?) — московская драматическая актриса. Играла роль Вероники в пьесе Н. Полевого «Уголино».

С. 37. Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «День и ночь».

Славин (Протопопов) Александр Павлович (1814—1867) — актер и драматург. С 1839 года играл в московском Малом театре, с 1845 года — в петербургском Александринском театре.

С. 38. *Роберт, Алиса, Бертрам* — герои оперы Д. Мейербера «Роберт-дьявол».

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — актер, основоположник реализма в русском сценическом искусстве.

Садовский (Ермилов) Пров Михайлович (1818—1872) — актер, родоначальник знаменитой актерской денастии Садовских, выступавшей (с 1839 г.) на сцене московского Малого театра.

Живокини Василий Игнатьевич (1808—1874) — комедийный актер.

...так называемый «Над железным»...— московский трактир, принадлежавший Печкину (а потом Тестову). Находился на Воскресенской пл. (на месте нынешнего дома № 1 по пл. Революции) в бельэтаже здания, в полуподвальных помещениях которого торговали железом.

С. 39. *Санковская* Екатерина Александровна (1816—1878) — балерина, с 1836 по 1854 год танцевала на сцене Большого театра.

Ленский (Воробьев) Дмитрий Тимофеевич (1805—1860) — водевилист и актер, первый исполнитель роли Хлестакова в Москве, автор знаменитого водевиля «Лев Гурыч Синичкин».

Терновский Петр Матвеевич (1798—1874) — профессор богословия, церковной истории, церковного законоведения, логики и опытной психологии в Московском университете, протоиерей, писатель.

Терновский-Платонов Иван Матвеевич (1800—1849) — магистр богословия, преподаватель Московского университета; в 1837—1839 годы читал курс логики.

С. 40. *Ядрино* — имение дяди Фета Петра Неофитовича Шеншина, находившееся недалеко от Новоселок.

С. 42. *Шевырев* Степан Петрович (1806—1864) — поэт, переводчик, историк литературы. Способствовал становлению поэтического дарования молодого Фета, помогал публикации его стихотворений 1840-х годов.

Боклевский Петр Михайлович (1816—1897) — художник (иллюстратор и карикатурист). Иллюстрировал произведения Гоголя, Островского, Достоевского, Тургенева и других писателей.

Ратынский Николай Антонович (1821—1887) — писатель, цензор.

Лизандр Дмитрий Карлович, фон (1824—1894) — поэт.

С. 44. *Рубинштейн* Антон Григорьевич (1829—1894) — пианист, композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель.

Рубинштейн Николай Григорьевич (1835—1881) — пианист, дирижер, педагог и музыкально-общественный деятель, основатель Московской консерватории.

Селивановский Николай Семенович — владелец одной из лучших московских типографий; основана его отцом С. И. Селивановским в 1800 году; просуществовала до 1859 года.

Первый поэтический сборник Фета «Лирический пантеон» (он был помечен лишь инициалами «А. Ф.») вышел в свет в ноябре 1840 года. «Одобрительной» была рецензия П. Кудрявцева (Отечественные записки. 1840. № 12) и глумливо-издевательским отзыв Барона Брамбеуса (О. Сенковского) в «Библиотеке для чтения» (1841. № 1).

С. 47. *Островский* Александр Николаевич (1823—1886) — драматург.

Чивилев Александр Иванович (1808—1867) — профессор политической экономии и статистики Московского университета.

С. 49. *...без шифра...* — Шифр — царский вензель, получаемый в виде награды, знака милости.

...близъ Шевалдышевой гостиницы. — Гостиница Шевалдышева находилась на месте нынешнего дома № 12 по ул. Горького.

С. 53. *Боткин* Василий Петрович (1810—1869) — литератор и критик «эстетического направления», автор одной из лучших статей о поэзии Фета (1857 г.). В 1850—1860-е годы — близкий друг и родственник Фета. Боткиным принадлежала городская усадьба на Маросейке (ныне Петроверигский пер., д. 4). Около дома сохранились в перестроенном виде два флигеля. Очевидно, один из них и занимал В. Боткин.

С. 54. *Борисов* Иван Петрович (1822—1871) — орловский помещик, близкий друг и родственник Фета, приятель Тургенева, братьев Толстых.

С. 55. Цикл «Снега» впервые опубликован в журнале «Москвитянин», 1842. № 1.

С. 57. *Глинка* Федор Николаевич (1786—1880) — поэт, драматург, прозаик. Жил в Москве с 1835 по 1853 год (после ссылки за участие в Союзе благоденствия). *Глинка* Авдотья Павловна (1795—1863) — поэтесса, переводчица.

Дмитриев Михаил Александрович. (1796—1866) — поэт, критик, мемуарист.

Рабус Карл Иванович (1800—1857) — живописец-пейзажист, академик живописи, писал виды Москвы. Имел много друзей среди артистов, писателей, ученых. Известен как остроумный карикатурист.

С. 58. *Шаховской* Александр Александрович, князь (1777—1846) — драматург и театральный деятель.

«Сто русских литераторов» — популярные сборники русской литературы, выпущенные в 1839—1845 годах издателем А. Ф. Смирдиным.

Павлова Каролина Карловна (1807—1893) — поэтесса.

Павлов Николай Филиппович (1803—1864) — прозаик, переводчик, критик, публицист.

С. 59. *Загоскин* Михаил Николаевич (1789—1852) — исторический романист, театральный деятель.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — профессор всеобщей истории Московского университета.

С. 60. *Калайдович* Николай Константинович (1820—1854) — правовед.

Кирша Данилов — предполагаемый составитель сборника русских народных песен (XVIII в.).

Аксаков Константин Сергеевич (1817—1860) — поэт, филолог, идеолог славянофильства. *Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886) — поэт и публицист славянофильского направления.

С. 61. *...по мере приближения весны...* — весна 1842 года.

Гофман Карл Карлович — профессор греческой словесности Московского университета в 1837—1849 годах.

С. 62. *Назимов* Михаил Леонтьевич (1806—1878) — медик, секретарь совета Московского университета до 1843 года, затем правитель дел в канцелярии попечителя учебного округа.

...кофейни Печкина... — литературная кофейня Печкина находилась на месте нынешнего дома № 1 по пл. Революции (бывшей Воскресенской).

С. 64. *Галахов* Алексей Дмитриевич (1807—1892) — историк литературы, писатель, педагог, автор хрестоматии, которая выдержала более 30 изданий.

Бантышев Александр Олимпиевич (1804—1860) — певец, более 25 лет пел в оперных спектаклях Большого театра.

Баллада В. А. Жуковского.

С. 65. *Клюшников* Иван Петрович (1811—1895) — поэт, близкий к кружку Станкевича.

С. 66. *...завтра он уезжает...* — Григорьев уехал в Петербург в конце февраля 1844 года.

С. 69. *Голохвастов* Дмитрий Павлович (1796—1849) — товарищ попечителя (с 1847 г. — попечитель) Московского учебного округа.

С. 72. *...с Карлом Федоровичем...* — В апреле 1845 года Фет поступил в Кирасирский Военного Ордена полк (квартировавший в Херсонской губернии) унтер-офицером; в августе 1846 года он получил первый офицерский чин — корнета. С 1848 года полком командовал Карл Федорович *Бюлер* (1805—1868), который весной 1849 года назначил Фета полковым адъютантом.

...я прямо приехал в Москву к Григорьевым... — Фет совмещает вместе два своих приезда в Москву времен кирасирской службы. В январе 1847 года А. Григорьев вернулся из Петербурга в Москву, а в октябре того же года Фет, взяв отпуск в полку, приехал в Москву готовить новый сборник своих стихотворений. Возвращаясь в полк, Фет просил Григорьева взять на себя хлопоты с типографией. Однако его друг мало об этом заботился. Только в следующий приезд в Москву, в декабре 1849 года, Фету удалось продвинуть дело (книжка вышла в начале 1850 года).

С. 73. *Лешков* Василий Николаевич (1810—1881) — юрист, преподаватель и декан юридического факультета Московского университета.

МГНОВЕНИЯ

Самый ранний из лирических циклов Фета воспроизводится по сохранившемуся авторскому плану. По мнению Б. Я. Бухштаба, цикл предназначался для опубликования в «Москвитянине» в 1842 году. Были напечатаны лишь два стихотворения — «Перчатка» и «Ave Maria». Текст стихотворения «Трубка» утрачен.

СБОРНИК 1850 г.

Сборник воспроизводится полностью, в его первоначальном виде; снята лишь нумерация стихотворений (в каждом разделе она начиналась заново) внесены датировки стихотворений. Поскольку точная хронология ранней фетовской лирики неизвестна, то даты в угловых скобках обозначают или год первой публикации, или год, позже которого не могло быть написано входящее в сборник стихотворение,— 1847.

В настоящей публикации из состава сборника изъяты стихи «Ave Maria» и «Перчатка», вошедшие в цикл «Мгновения», а также стихотворение «Застольная песня», ранее включенное Фетом в сборник «Лирический пантеон».

«ВОТ УТРО СЕВЕРА...» (с. 112). *Окно волоковое* — окошко, в которое выходил (волокся) дым в курных избах.

«МЕЖДУ СЧАСТИЕМ ВЕЧНЫМ ТВОИМ И МОИМ...» (с. 124). Это стихотворение, находящееся в середине раздела «Мелодии», начинало как бы особый подраздел внутри него. Стихотворению предшествовал разделительный типографский знак, и отсюда начиналась новая нумерация (от 1 до 20).

«ЗА КОРМОЮ СТРУЙКИ ВЬЮТСЯ...» (с. 127). *«Норма»* — популярная опера итальянского композитора Беллини, появившаяся в 1831 году.

ИЗ МУРА (с. 128). *Мур Томас* (1779—1852) — английский поэт-романтик.

«ВЕСЕННЕЕ НЕБО ГЛЯДИТСЯ...» (с. 130). *Майн* — река в Германии. В 1844 году Фет впервые посетил эту страну — родину своей матери.

«ДОЛГО ЕЩЕ ПРОГОРИТ ВЕСПЕРА СКРОМНАЯ ЛАМПА...» (с. 135).

Веспер — планета Венера на вечернем небе. *Дева, богиня* — Диана, девственная богиня луны (см. также: «Я полон дум...», «Любо мне в комнате...», «Диана»).

«РАД Я ДОЖДЮ...» (с. 137). *Юпитер* — верховное божество римской мифологии. *Плювий* — обозначение Юпитера, посылающего дождь.

ТАЛИСМАН (с. 140).— первая из автобиографических поэм Фета (какими являются также «Сон», «Две липки» и «Студент»). Напечатана в 1842 году в июньском номере журнала «Москвитянин» (январский номер которого поэт «завалил сугробами» — поместил здесь свой цикл «Снега»).

СИЛЬФЫ (с. 147). *Сильфы* — в германской мифологии светлые, воздушные создания, порождение стихий воздуха.

ГЕРО И ЛЕАНДР (с. 152). Широкой известностью пользовалась одноименная баллада Шиллера, написанная на античный сюжет. Жрица богини Афродиты по имени Геро и ее возлюбленный Леандр оказались в разлуке, но поскольку разлучил их только пролив Геллеспонт, то Леандр каждую ночь переплывал пролив, ориентируясь на факел, который зажигала на своей башне Геро. Однажды в бурю факел погас, Леандр погиб, и Геро бросилась в море. Фет строит свою балладу вольно, не пересказывая известную фабулу.

МАДОННА (с. 157). *Санцио* — Рафаэль.

«КОГДА МЕЧТАТЕЛЬНО Я ПРЕДАН ТИШИНЕ...» (с. 164). *Аргус* — стоокий страж *(греч. миф.)*.

«ВИНОВАТ ЛИ Я, ЧТО ДОЛГО МЕСЯЦ...» (с. 166). *Риальто* — селение вблизи Венеции.

САКОНТАЛА (с. 169). *Сакontала* (Шакунтала) — героиня одноименной драмы средневекового индийского поэта Калидасы, творчество которого получило широкую европейскую известность со второй половины XVIII века. *Викрама* — в переводе с индийского «мужество», «сила» — один из эпитетов, входивших составной частью в имена индийских царей. Фет использует этот эпитет в качестве имени собственного.

«Я ЛЮБЛЮ ЕГО ЖАРКО...» (с. 173). *Мугаммед* (Мухаммед, Магомед, ок. 570—632) — религиозно-политический деятель Аравии, основатель ислама. *Фатима* — дочь Мухаммеда, единственного пророка в исламском мире. По наблюдению Л. А. Тартаковской, в стихотворении Фета идет речь о любви Фатимы к ее избраннику Али, который в экстатическом монологе влюбленной женщины возводится на высоту пророка.

ИЗ СААДИ (с. 174). *Саади* Ширазский (ок. 1204—1292) — великий персидский поэт.

«НЕ ДИВИСЬ, ЧТО Я ЧЕРНА...» (с. 174). Стихотворение представляет собой переложение некоторых мест ветхозаветной «Песни песней».

«КОГДА ПЕТУХ...» (с. 178). *Сатурн* — родитель богов в римской мифологии, *Вакх* — бог винограда и вина.

«ВЛАЖНОЕ ЛОЖЕ ПОКИНУВШИ...» (с. 180). *Эос* — древнегреческая богиня утренней зари, которая предвещает восход солнца — бога *Феба* (покидающего «влажное ложе» — т. е. встающего из моря). Бог солнца выезжает на колеснице. Сын Феба *Фаэтон* однажды захотел прокатиться на солнечной колеснице и погиб.

КУСОК МРАМОРА (с. 180). *Тит* — римский император (41—81 гг. н. э.); *Фавн* — лесное божество; *змей примирителя жезл* — жезл бога Меркурия.

ПОДРАЖАНИЕ XVI ИДИЛЛИИ БИОНА (с. 181). *Бион* — древнегреческий поэт-идиллик (III или II в. до н. э.).

НЕПТУНУ (с. 181). Стихотворение посвящено новой планете Нептун, открытой в 1846 году на основании вычислений астронома Леверье.

АРХИЛОХ (с. 183). *Архилох* — древнегреческий поэт (VII в. до н. э.).

ИЗ КАТУЛЛА (с. 184). *Катулл* Гай Валерий (ок. 87 — ок. 54 гг. до н. э.) — лирический поэт Древнего Рима.

ИЗ АНАКРЕОНА (с. 186). *Анакреон* (ок. 570—478 гг. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик.

«МНОГИМ БОГАМ В ТИШИНЕ...» (с. 186). *Музы* — богини, покровительницы искусств; *дриады* — лесные нимфы; *наяды* — нимфы речные. *Дионисий, Лией* — имена Вакха (считавшегося сыном земной женщины *Семелы* и бога Зевса). *Фидий* (432—328 гг. до н. э.) — древнегреческий скульптор. *Тирс* (жезл, обвитый плющом и виноградными листьями) — эмблема Вакха и принадлежность его экстатического культа — вакханалий. *Калхас* — герой древнегреческого мифа, прорицатель, исполняя волю богини Артемиды, требовал от царя Агамемнона принесения в жертву его дочери *Ифигении*. *Клитемнестра* — мать Ифигении. *Плеск волн забвения в барку* — плеск реки Леты, через которую в барке Харон перевозил в царство мертвых тени умерших. *Заступница дев* — девственная богиня Артемида (в римской мифологии — Диана); в последний момент она спасла Ифигению, оставив для заклания лань.

ПОСВЯЩЕНИЕ К «ФАУСТУ» (с. 192). Самое раннее обращение Фета к «Фаусту» Гете. Впоследствие (в 1880-е гг.) поэт полностью перевел

трагедию и издал ее. Перевод в сборнике 1850 года посвящен А. Григорьеву.

БРЖЕСКИМ... (с. 197). Стихотворение обращено к близким друзьям Фета времен его кирасирской службы — херсонскому помещику, поэту-дилетанту Алексею Федоровичу *Бржескому* (1818—1868) и его жене Александре Львовне (1821—?)

«НА ЗАРЕ ТЫ ЕЕ НЕ БУДИ...» (с. 206). Первое из стихотворений Фета, положенное на музыку (А. Варламовым). Романс получил широчайшую известность, его распевали по всей России. Приведем два журнальных отклика. В «Отечественных записках» (1850. № 1. С. 71) он назван «песней, сделавшейся почти народной...». «Москвитянин» (1850. Кн. 1—2. С. 50) считает его «прекрасно положенным на музыку покойным Варламовым и прославленным более еще, нежели этим композитором, московскими цыганами».

«ДИТЯ! МОИ ПЕСНИ ДАЛЕКО...» (с. 215). *Гангесов ток* — река Ганг в Индии.

ПОСЕЙДОН (с. 217). *Сын Лаэрта* — Одиссей. *Киммерийская ночь*: в представлении древних греков Киммерия — некая окраинная земля на севере обитаемого мира, где царит вечная ночь. *Град Приама* — Троя. *Полифем* — одноглазый циклоп, побежденный Одиссеем. *Нерей* — подводный царь.

СТУДЕНТ. Поэма автобиографична. Ее сюжетом послужили взаимоотношения Фета с той же самой девушкой, образ которой отображен в стихотворном цикле «Офелия» и которая является героиней одноименного рассказа А. Григорьева. Поэма посвящена Софье Петровне Хитрово.

Строфа 2 (с. 219): Фет переносит дом Григорьевых из Замоскворечья на Девичье поле (где он жил в усадьбе М. П. Погодина). Строфа 31 (с. 226): *золотой Нортон* — карманные часы фирмы Нортон, снабженные «репетиром» (механизмом, отбивающим время). Строфа 32 (с. 226); *мой старый друг* — скорее всего, речь идет о С. П. Шевыреве.

СТИХИ 1850—1890-х ГОДОВ
СТРАНИЦЫ ПРОЗЫ И ВОСПОМИНАНИЙ

ИЗ РАССКАЗА «КАКТУС»

С. 230. *Проспрерировать* — преуспевать (от *фр.* prosperer).

Фильд Джон (1782—1837) — английский пианист, долгие годы живший в России.

С. 231. *С голубыми ты глазами, моя душечка!* — здесь и далее Фет приводит три фрагмента той «венгерки», которую пели цыгане и которая вдохновила Григорьева на создание стихотворения «Цыганская венгерка». Впоследствии это стихотворение положил на музыку И. Васильев — руководитель цыганского хора.

Грузины — район Грузинских улиц в Москве, где жили цыгане.

СТИХОТВОРЕНИЯ 1850—1890-х ГОДОВ

«Я БЫЛ ОПЯТЬ В САДУ ТВОЕМ...» (с. 235). Это стихотворение Фет послал 8 июня 1857 года своей невесте М. П. Боткиной (она была тогда за границей) со словами: «Третьего дня был в саду на Маросейке и вот что случилось».

ОТВЕТ СТАРОГО ПОЭТА НА 37 ГОДУ ОТ РОДУ (с. 236). 11 декабря 1857 года литератор Д. В. Григорович, бывший в гостях у Фетов на Малой Полянке, записал в альбом хозяйки следующий экспромт:

Первый стихотворный опыт молодого поэта
на 35 году своего рождения

«Замоскворечье — о пустыня!
Москвы достойный уголок.
Но ты хотя и *мерзостыня* —
Наш Фет с женой не одинок!»

Слово «мерзостыня» — одно из «речений» Фета (по воспоминаниям В. С. Соловьева).

В ответ на этот экспромт Григоровича Фет записал в альбом свое четверостишие.

Ю. Б. ШУМАХЕР (с. 239). *Монтерё* (Монтрэ) — курорт в Швейцарии.

Т. А. КУЗМИНСКОЙ ПРИ ПОСЫЛКЕ ПОРТРЕТА (с. 240). Татьяна

Андреевна *Кузминская,* урожд. Берс (1846—1925) — сестра С. А. Толстой.
...*безумства прежней силы...* — возможно, намек на стихотворение 1877 года «Сияла ночь. Луной был полон сад...», написанного под впечатлением пения Кузминской.

НА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ МУЗЫ («Нас отпевают. В этот день...») (с. 244). На конец 1880-х годов приходился полувековой юбилей литературной деятельности Фета. Поэт приготовил к «поминанию» своей музы стихотворение, весьма далекое от «юбилейного жанра»: он обращается к музе — «Нас отпевают», а о себе говорит как об усопшем. Мы не располагаем материалами, чтобы судить о мотивах, побудивших Фета написать это загадочное стихотворение. Объяснение самого Фета в письме к Полонскому (от 16 января 1889 г.) сводит все к мрачной шутке: «Во избежание однообразных выражений благодарности за приветствия я хотел напечатать на отдельных листках стихотворение по поводу юбилея, чтобы раздавать его на память желающим». Если бы так все и произошло, то пришедшие на юбилей поэта чувствовали бы себя присутствующими на похоронах. Но в конце концов Фет решил устроить все «как у людей», написал другое, действительно «юбилейное» стихотворение — «На утре дней все ярче и чудесней...», которое было отпечатано и вручалось гостям.

ИЗ КНИГИ «МОИ ВОСПОМИНАНИЯ»

С. 249. *Но вот наконец мы в Москве...* — Сестра Фета Надежда Афанасьевна Шеншина, в замужестве Борисова (1832—1869), страдала неизлечимой психической болезнью. Описываемые события относятся к февралю 1857 года, когда резкое обострение болезни сестры заставило Фета, бывшего в отпуску, везти ее из Новоселок в Москву.

С. 250. *Боткин* Петр Кононович (1781—1853) — глава семьи Боткиных, купец, основатель крупного чаеторгового дела.

Боткин Петр Петрович (1831—1907) — чаеторговец.

Боткина Мария Петровна (1828—1894) — будущая жена Фета.

С. 252. *Боткин* Дмитрий Петрович (1820—1889) — заведовал делами чайной торговли Боткиных; крупный московский коллекционер произведений живописи, председатель Общества любителей художеств.

С. 254. *Громека* Степан Степанович (1823—1877) — публицист.

С. 255. *Катков* Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист, редактор-издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». *Леонтьев* Павел Михайлович (1822—1874) — профессор классической филологии, публицист, сотрудник «Русского вестника» и «Московских ведомостей».

«Редерер» — марка шампанского.

Ростопчина Евдокия Петровна, графиня (1811—1858) — поэтесса и писательница. Речь идет о сочинении Ростопчиной «Возврат Чацкого, или Встреча знакомых лиц после двадцатипятилетней разлуки», продолжающем «Горе от ума» Грибоедова.

С. 256. *Долго искал я подходящей квартиры...* — Фет снимал квартиру в доме Елизаветы Николаевны Сердобинской (Малая Полянка, 3; дом не сохранился).

С. 257. *Толстой* Николай Николаевич, граф (1823—1860) — брат Л. Н. Толстого, писатель.

Толстая Мария Николаевна, графиня (1830—1912) — сестра Л. Н. Толстого.

С. 258. ...*Екатериной Сергеевной П-й...* — Е. С. Протопопова.

«Кузнечик-музыкант» (1859) — поэма Я. П. Полонского.

С. 259. ...*переводами из Шекспира...* — Фет перевел трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра» и «Юлий Цезарь».

С. 260. *Пикулин* Павел Лукич (1822—1885) — ученый-медик, женатый на Анне Петровне Боткиной.

С. 261. *Кетчер* Николай Христофорович (1809—1886) — врач, переводчик, литератор.

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — поэт, философ.

Корш Евгений Федорович (1810—1897) — переводчик и журналист.

Афанасьев Александр Николаевич (1826—1871) — этнограф, собиратель и исследователь фольклора.

...*мы решили с Борисовыми...* — в январе 1858 года Н. А. Шеншина вышла замуж за И. П. Борисова.

С. 262. ...*брат Петруша...* — Шеншин Петр Афанасьевич (1834—1881).

С. 263. ...*шестнадцатилетней внучки* — Софья Сергеевна Мазурина.

С. 264. ...*лестницу Дм. Петровича* — имеется в виду дом Д. П. Боткина, купленный им в 1862 году.

С. 267. ...*под заглавием «Из деревни»...* — свой опыт жизни и деятельности в пореформенной деревне Фет изложил в серии очерков, опубликованных в таком порядке: «Записки о вольнонаемном труде» — «Русский

вестник», 1862, № 3, 5; «Из деревни» — «Русский вестник», 1863. № 1, 3 и 1864, № 4; «Литературная библиотека», 1868, № 2; «Заря», 1871, № 6.

С. 270. ...*побывать в Москве...* — события относятся к декабрю 1862 года.

Тургенев Николай Николаевич (1795—1881) — дядя И. С. Тургенева, по его просьбе управлял Спасским.

С. 271. ...*по Газетному переулку...* — ныне ул. Огарева.

С. 272. ...*накопившееся Тимское дело...* — по просьбе брата П. А. Шеншина Фет купил у него в 1853 году мельницу, находившуюся в Ливенском уезде на реке Тим, и должен был довести до конца связанную с ней тяжбу.

Одоевский Владимир Федорович, князь (1804—1869) — писатель, журналист, ученый, двоюродный брат поэта-декабриста А. И. Одоевского.

С. 273. ...*последнего моего свидания с Ф. И. Тютчевым в январе 64 года...* — когда произошло личное знакомство Фета с поэтом Федором Ивановичем *Тютчевым* (1803—1873) — неизвестно. В 1859 году Фет выступил с программной статьей «О стихотворениях Тютчева» (Русское слово. 1859. № 2). Тютчеву посвящены следующие стихотворения Фета: «Мой обожаемый поэт...» (1862), «Нетленностью божественной одеты...» (1865), «Пришла весна — темнеет лес...» (1866), «На книжке стихотворений Тютчева» (1883).

Как установил А. Л. Осповат, последняя встреча Фета с Тютчевым произошла в январе 1866 года в Москве.

С. 275. ...*жена его...* — Боткина Софья Сергеевна, урожд. Мазурина (1840—1889).

Чем ближе подходила зима... — воспоминания относятся к концу 1867 года

С. 276. ...*нашел Петю Борисова...* — Борисов Петр Иванович (1858—1888) — племянник Фета.

С. 277. *Боткин* Владимир Петрович (1837—1869).

С. 280. *Степановка была продана...* — осенью 1877 года Фет продал Степановку, став владельцем усадьбы Воробьевка в Щигровском уезде Курской губернии.

...*мы с Остом...* — Иост Александр Иванович (в своих воспоминаниях Фет называет его Иваном Александровичем Остом) — обрусевший швейцарец, с 1871 года — управляющий имениями Фета.

С. 279. *В половине лета...* — события относятся к лету 1881 года.

...*старушка Тереза Петровна...* — Иост Тереза Петровна — мать А. И. Иоста.

...*дом продается...* — в газете «Московские ведомости» от 9 мая 1881 года было помещено следующее объявление: «Дом дешево продается (без посредства комиссионеров) по случаю отъезда из Москвы, на Плющихе о семи квартирах, занятых круглый год, квартира домовладельца очень хорошо отделанная, о 12 комнатах, по желанию с полной обстановкой, с экипажами и лошадьми, при доме большой хороший сад с фруктовыми деревьями, доходу 3.350 руб.; цена 34 тысячи, по желанию с переводом долга Кредитному обществу. Обращаться на Плющиху, в овощную лавку Ивана Ивановича Скрипкина, в доме г. Бартеньева». Объявление повторено 12, 13, 26, 27 мая.

С. 280. ...*переезд семьи Толстых...* — московский дом Толстых находился в Хамовнической части, очень близко от дома Фета (ныне Музей-усадьба Л. Н. Толстого на ул. Льва Толстого).

СТИХИ И ПИСЬМА К МОСКВИЧАМ

СТИХИ К МОСКВИЧАМ

ДРУГУ (с. 282). Стихотворение послано Фетом в письме к невесте М. П. Боткиной 8 июня 1857 года.

ПАМЯТИ В. П. БОТКИНА (с. 283). Об адресате стихотворения см. выше.

НА СЕРЕБРЯНУЮ СВАДЬБУ Е. П. ЩУКИНОЙ (с. 284). *Щукина Екатерина Петровна,* урожд. Боткина — сестра М. П. Шеншиной.

П. И. БОРИСОВУ (с. 285). Об адресате стихотворения см. выше.

П. П. БОТКИНУ (с. 285). *Боткин Петр Петрович* (1831—1907) — брат М. П. Шеншиной. *Не забывая о тяжком жизненном кресте* — П. П. Боткин в те годы был главой торговой фирмы Боткиных.

А. П. БОТКИНОЙ (с. 286). *Боткина Анна Петровна* — племянница М. П. Шеншиной.

Д. П. БОТКИНУ (с. 286). Об адресате стихотворения см. выше.

Д. П. И С. С. БОТКИНЫМ В ДЕНЬ ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЯ ИХ СВАДЬБЫ (с. 288). Об адресатах стихотворения см. выше.

МИТЕ БОТКИНУ (с. 289). *Боткин Дмитрий* — сын Д. П. и С. С. Боткиных.

Е. Д. ДУНКЕР (с. 289). *Дункер Елизавета Дмитриевна*, урожд. Боткина — племянница М. П. Шеншиной.

ПАМЯТИ Д. Л. КРЮКОВА (с. 291). Об адресате стихотворения см. выше.

ЭПИТАЛАМА ГРАФУ Л. Н. ТОЛСТОМУ (с. 292). Стихотворение написано в связи с женитьбой Толстого на С. А. Берс.

ГРАФУ Л. Н. ТОЛСТОМУ («Как ястребу, который просидел...») (с. 292). Этим стихотворением Фет предварил цикл «Песни кавказских горцев» («Русский вестник». 1876). Прозаический перевод этих песен Фет получил от Толстого, взявшего их из «Сборника сведений о кавказских горцах».

ГРАФИНЕ С. А. ТОЛСТОЙ (с. 294). Это и четыре следующих стихотворения посвящены Софье Андреевне Толстой, урожд. Берс (1844—1919) — жене Л. Н. Толстого.

В. С. СОЛОВЬЕВУ (с. 296). *Соловьев Владимир Сергеевич* (1853—1900) — поэт, философ, публицист, критик. Фет познакомился с ним в 1881 году. Их дружеские отношения продолжались более десяти лет, до смерти Фета. Соловьев помогал старому поэту в его литературной работе (в переводах «Фауста» Гете и латинских поэтов). Стихотворение впервые опубликовано в кн. «Стихотворения Катулла. В переводе и с объяснениями А. А. Фета» (М., 1886) как посвящение переводчика. Заключительные стихи намекают на стихотворения Катулла «К воробью Лезбии» и «Плач о смерти воробья».

О. М. СОЛОВЬЕВОЙ (с. 297). *Соловьева Ольга Михайловна*, урожд. Коваленская (? — 1903) — художница, жена Михаила Сергеевича — брата Владимира Сергеевича Соловьева. Судя по воспоминаниям ее сына, С. М. Соловьева, она создала иллюстрации к первому выпуску сборника Фета «Вечерние Огни». Это был один из немногих опытов иллюстрирования фетовской поэзии. Вероятно, стихотворение было надписью поэта на экземпляре первого выпуска «Вечерних Огней», принадлежащего художнице и оформленного ее рисунками.

ГРАФИНЕ Н. М. СОЛЛОГУБ (с. 298). *Соллогуб Наталья Михайловна*, урожд. баронесса Боде (1851—1915) — поэтесса, переводчица. Фет ценил достоинства ее стихов, но еще более восхищался самой Натальей Михайловной. Знаменательно для вкусов Фета, что в ее портрете он выделяет более всего волосы как существеннейшую часть женской красоты. В этой связи интересно поэтическое уподобление в третьем стихотворном обращении к Соллогуб: «О Береника! Сердцем чую...». Береника — жена египетского царя Птоломея III — славилась прекрасными волосами, которые воспели римские поэты. «Волосами Береники» названо одно из созвездий.

В АЛЬБОМ П. А. КОЗЛОВУ (с. 299). Обращено к поэту и переводчику *Павлу Алексеевичу Козлову* (1841—1891).

Ф. Е. КОРШУ В ОТВЕТ НА ЭПИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ (с. 299). *Корш Федор Евгеньевич* (1843—1915) — профессор классической филологии Московского, а затем Новороссийского университета, академик. Фет познакомился с его родителями и родственниками еще в период обучения в университете. Занимаясь переводами латинских поэтов в 80-е годы, Фет часто обращался к Коршу за консультациями. Фет посвятил Коршу несколько стихотворений (приводятся ниже).

Это стихотворение — ответ на стихотворное послание Корша, который часто писал Фету в шутливой стихотворной форме. На комментируемое стихотворение Корш ответил в тот же день новым стихотворением. *Аретуза* — обожествленный источник в Сиракузах. *Хирон* (греч. миф.) — мудрый кентавр, воспитатель многих героев. *У коих цензоры* и т. д.— речь идет о цензурных изъятиях в кн.: Ювенал. Сатиры. В переводе и с объяснениями А. Фета (М., 1885) стихов, в которых говорится о кастрации евнухов. *Хотя Гелиодор давно их окорнал.— Гелиодор* — хирург, производивший операцию кастрации, о котором упоминает Ювенал. *O rus!* (О деревня!) — эпиграф из Горация ко второй главе «Евгения Онегина», комически переведенный Пушкиным «О Русь!»; в этом же смысле и у Фета. *O tempora, o mores!* — ставшее поговоркой выражение Цицерона. *Scribendi cacoethes tenet* — неточная цитата из 7-й сатиры Ювенала. *Юний* — Ювенал.

ЕМУ ЖЕ («Геройских лет поклонник жадный...») (с. 300). Стихотворение опубликовано в кн.: Элегии Тибулла. В переводе и с объяснениями А. Фета (М., 1886) как посвящение переводчика. *Елисей* — Элизий, Елисейские поля (греч. миф.) — место блаженного успокоения душ умерших.

ЕМУ ЖЕ («Тебя я пуще ждал всего...») (с. 300). Стихотворение написано, очевидно, в ответ на письмо Корша от 2 января 1887 года. См. публикацию Н. М. Мендельсона «Письма Ф. Е. Корша к А. А. Фету» (Публичная библиотека СССР имени В. И. Ленина. Сборник 1. М., 1928). *Митральеза* — старинное скорострельное многоствольное орудие, предшественник пулемета. *O rus!* — см. выше.

ЕМУ ЖЕ («Член Академии больной...») (с. 301). *Член Академии.* 29 декабря 1886 года Фет был избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению русского языка и словесности. *Paley* (Ф. А. Пэли, 1815—1888) — английский филолог-классик. Его работой Фет пользовался при переводе «Элегий» Проперция.

ЕМУ ЖЕ («На днях пускаемся мы в путь...») (с. 301). *Плутона близкая примета* — т. е. примета близкой смерти. *Смотри «шестнадцатъ» в третьей книге* — смотри 16-ю элегию в 3-й книге «Элегий» Проперция.

Ф. Е. КОРШУ. НАДПИСЬ НА ТРЕТЬЕМ ВЫПУСКЕ «ВЕЧЕРНИХ ОГНЕЙ» (с. 303). *Гиперборейского певца:* гиперборейцы (греч. миф.) — сказочные народы далекого Севера.

ГРАФИНЕ А. А. ОЛСУФЬЕВОЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОТ НЕЕ ГИАЦИНТОВ (с. 303). *Олсуфьева Александра Андреевна,* урожд. Миклашевская (? — 1910) — жена А. В. Олсуфьева.

ГРАФУ А. В. ОЛСУФЬЕВУ («Второй бригады из-за фронта...») (с. 303). *Олсуфьев Алексей Васильевич* (1831—1915) — генерал от кавалерии, филолог-дилетант, знаток древнеримской поэзии. С 1886 года до смерти Фета помогал ему в переводах и подготовке к изданию произведений римских поэтов. Фрагменты из его работы «Марциал. Биографический очерк» (М. и Пб., 1891) Фет включил в свой перевод «Эпиграмм» Марциала в качестве очерка о поэте. Олсуфьеву же принадлежит предисловие к этому переводу Фета.

Стихотворение является надписью на кн.: Д. Юния Ювенала. Сатиры. В переводе и с объяснениями А. Фета (М., 1885), подаренной Фетом Олсуфьеву (хранится в НИО истории книги ГБЛ). *Беллерофонт* (греч. миф.) — герой, победитель амазонок и чудовищ Химеры. Возгордившись, захотел стать равным богам-олимпийцам и решил взлететь на Олимп на своем крылатом коне Пегасе, но Пегас сбросил его на землю. *Как служил он Ювеналу.* Сатиры Ювенала в переводе Фета вышли в 1885 году и вызвали обширную рецензию А. В. Олсуфьева «Ювенал в переводе г. Фета» (Журнал Министерства народного просвещения. 1886. № 2, 3, 5, 8). *Улану ныне не служить.* Фет служил в уланском полку с 1853 по 1858 г.

ЕМУ ЖЕ («Вот наша книжка в толстом томе...») (с. 304). Это стихотворение, очевидно, было надписью на кн.: XV книг Превращений Овидия. В переводе и с объяснениями А. Фета. М., 1887. В библиотеки поэта А. Н. Апухтина хранился экземпляр этой книги с вклеенным в него листом с текстом стихотворения, которому предшествовала надпись: «Душевноуважаемому и строгому сотруднику графу А. В. Олсуфьеву» (книга ныне хранится в ПД). *В своем далеком гетском Томи // По-русски стал писать Назон.* Овидий Назон с 9 г. по 17 г. н. э. (до смерти) находился в ссылке в г. Томи (ныне г. Констанца в Румынии), в стране гетов, раньше считавшихся предками славян. Он извещал друзей, что начал писать стихи на языке гетов. *V. Loers, A. Riese, O. Jahn* — издатели и комментаторы сочинений Овидия.

ПИСЬМА

А. А. Григорьеву

1

В автобиографическом рассказе Григорьева «Другой из многих», написанном в форме переписки разных лиц, Фет фигурирует под именем ротмистра Зарницына, а Григорьев — Ивана Чабрина. В рассказе есть письмо Зарницына к Чабрину. По мнению исследователей, его можно считать подлинным письмом Фета к Григорьеву, написанном в первой половине 1847 года.

С. 305. *...нашей общей юношеской жизни...*— в рассказе «Другой из многих» Иван Чабрин говорит в одном из писем ротмистру Зарницыну: «И для меня, как для тебя, иногда как будто не существует этих шестисеми прожитых лет: опять иногда представляется мне наш верх с его старыми обоями, с его изразцовою печкою, которая нам почему-то надоедала до крайности: оживает снова вся эта жизнь вавилонская — как ты ее знал во дни оны,— чудная, славная жизнь, со всей ее убийственной скукой, с патриархальными обычаями внизу, с колокольчиком, который так несносно возвещал нам час обеда и чая... с нашею любовью, наконец, общею, как все для нас когда-то... Эх, мой милый, мне все кажется подчас, что жизнь как-то не полна для нас обоих без этих декораций...»

С. 306. *...Василию Имеретинову...*— как установили В. Княжнин и Г. Блок, за этим персонажем скрывалось реальное лицо — сокурсник Фета и Григорьева К. Милановский, авантюрист, выдававший себя за масона. Фет пытался в письме вразумить своего друга, подпавшего под влияние этого человека.

2

С. 307. *Николай Николаевич Толстой,* граф (1823—1860), брат писателя, был владельцем усадьбы Никольское-Вяземское (Чернский уезд Тульской губернии).

...и сестра, и жена. и зять...— Надежда Афанасьевна Борисова, Мария Петровна Фет, Иван Петрович Борисов.

Имя журнала «Русское слово».— Издателем нового журнала «Русское слово» был гр. Г. Кушелев-Безбородко, редакторами — Я. Полонский и А. Григорьев. Драма Шекспира «Антоний и Клеопатра» в переводе Фета была опубликована в февральском номере журнала за 1859 год.

3

С. 308. *Сергей Николаевич Толстой,* граф. (1826—1904).— брат Л. Н. Толстого.

Сегодня у нас обедает Григорович, а вчера обедал Раевский.— Писатель Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899) и Иван Иванович Раевский (1833—1891) — помещик Рязанской губернии.

6

С. 311. *...а не Алексей и не Феофил.*— Алексей Константинович Толстой, граф (1817—1875) — писатель; Феофил Матвеевич Толстой (1809—1881) — музыкальный критик и композитор, писатель.

...(зри дядю Тома)...— роман «Хижина дяди Тома» американской писательницы Г. Бичер-Стоу (1811—1898).

7

С. 314. *...зачем я это написал.*— Фет написал статью о «Войне и мире», которую отказался напечатать сначала «Русский вестник», а затем — «Вестник Европы»; статья до нас не дошла.

С. 316. *Елена, Офелия. Гретхен, Наташа.*— Этот ряд «типов женской красоты» образует дополнение к тому, который назван Фетом в «Моих воспоминаниях» (ч. II, с. 378): «...классические образцы женской красоты, как Елена. Алцеста, Эвридика и т. д.».

8

С. 316. *Прочел мартовскую «Каренину».*— В мартовском номере «Русского вестника» за 1877 год печатались главы седьмой части «Анны Карениной».

С. 317. *Комаровский* Леонид Алексеевич (1846—1912) и *Аксаков* Иван Сергеевич (1823—1886) — активные деятели славянского движения.

С. 318. *...помилуй, прости, помоги.*— Молитва Левина при родах жены («Анна Каренина», ч. 7, гл. XIV).

9

С. 319. *Мы продаем Петины Новоселки.*— Племянник Фета Петр Борисов был наследником и материнского имения Новоселки и отцовского Фатьяново. Имения давали очень малый доход, и поскольку Борисов не собирался «подымать благосостояние наследственных гнезд», а больному Фету было не под силу надсматривать за ними. было решено их продать.

...«Коренная» еще на этот год продержится на месте.— Речь идет о «Коренной ярмарке», которая устраивалась вблизи села Коренная Пустынь Курской губернии. Некогда это была одна из самых богатых и известных ярмарок в России; в 70-е годы она приходит в упадок.

13

С. 331. λογος — логос (древнегреч.); термин древнегреческой философии, означающий одновременно «слово» (или «предложение»), «высказывание», «речь» и «смысл» (или «понятие», «суждение», «основание»). <...>

Логос — это сразу и объективное данное содержание, в котором ум должен «отдавать отчет», и сама эта «отчитывающаяся» деятельность ума, и, наконец, сквозная смысловая упорядоченность бытия и сознания; это противоположность всему безотчетному и бессловесному, безответному и безответственному, бессмысленному и бесформенному в мире и человеке. <...> Для христианства значение термина «логос» определено уже начальными словами Евангелия от Иоанна — «В начале был логос, и логос был бог»; вся история земной жизни Иисуса Христа интерпретируется как воплощение и «вочеловечение» Логоса, который принес людям откровение и сам был этим откровением, «словом жизни»...» (С. С. Аверинцев).

С. 334. *...обеими руками подписываюсь.*— Весьма существенны для понимания позиции Фета его слова из письма Толстому от 31 июля 1879 года: «Не помню, писал ли я Вам о пословице, слышанной и заученной на всю жизнь от Петра Боткина: «Дай Бог дать, да не дай Бог взять». В этой пословице смысл всего христианства и всей моральной жизни. Дающий принимает роль и чувства божества, берущий — раб, ибо чувствует, что делает долг, поступает в зависимость от дающего <...> Дающий <...> живет в царстве свободы, в царстве благодати. ибо дает в силу собственной (а не чужой) любви, и к нему только можно приложить слова апостола: «Для свободных нет закона». <...> Но много ли действительно таких сосудов любви? Разве можно стадо в десять овец и тысячу козлов пазывать овечьим? Или называть людей, задающихся одними материальными вопросами,— христианами?

Вот для них-то и существует и должен существовать закон, как существует розга для тех из детей, на которых бессильны другие мотивы. Много надо условий, чтобы человек действительно почувствовал ...что *дай Бог дать,* и что это *дать* в царстве благодати не может eo ipso[1] быть обязательно, то есть узаконено, ибо тогда оно теряет значение благодати и переходит в царство закона, уничтожая все царство благодати».

С. А. Толстой

14

С. 337. *Филарет* (1783—1867) — митрополит Московский, составитель православного «Катехизиса».

Опечатков, к Вашей чести, очень мало.— Речь идет о сочинениях Л. Толстого, издававшихся С. Толстой.

15

С. 340. *...или ждать и не дождаться?»* — Слова Устеньки из пьесы «Праздничный сон — до обеда» (1857).

Цитата из стихотворения Е. Баратынского «Две доли».

16

С. 342. Цитата из стихотворения А. Пушкина «Желание славы».

...Ивана Ильича...— герой из повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

С. 343. *...(Лев Николаевич под медведем).*— Во время медвежьей охоты в декабре 1858 года на Толстого напала медведица.

...да вниду в онь».— Слова из церковного песнопения, исполняемого на последней неделе Великого поста («Чертог твой вижду, Спасе мой, украшенный, // И одежды не имам, да вниду в онь...»).

17

С. 345. Эти строки из стихотворения Н. Огарева «Исповедь» принадлежали к любимейшим поэтическим изречениям Фета. Многократно цитируя их, он упорно приписывал их Лермонтову. Эта «ошибка памяти» знаменательна как свидетельство очень важной роли Лермонтова в духовном становлении Фета.

С. 347. *...под Орлом у Галаховых...*— в усадьбе Клейменово, принадлежавшей племяннице Фета Ольге Васильевне Галаховой. урожд. Шеншиной (1858—1942).

...страховской «Критики»...— очевидно, речь идет о книге Н. Страхо-

[1] Тем самым *(лат.)*.

ва «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885)». Спб., 1885 (второе издание — 1887).

18

С. 347. *...о чтении Льва Николаевича...* — 14 марта 1887 года на заседании Московского психологического общества Толстой выступил с чтением реферата «Понятие жизни», переработанного им затем в книгу «О жизни».

С. 348. *... о вечных истинах...* — философы В. С. Соловьев и Н. Я. Грот полемизировали с Н. Н. Страховым в связи с его книгой «О вечных истинах» (Спб., 1887).

19

С. 350. *...неисцелимо похож на того сумасшедшего английского романиста...* — Фет вспоминает историю мистера Дика из романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд», но ошибается, называя казненного короля Карла I Эдуардом.

20

С. 352. Строка из стихотворного послания Фета Ф. Е. Коршу («Член Академии больной»).

С. 353. *...назову Коршей — отца и сына, Грота — отца и сына, Соловьева — отца и сына...* — *Корш* Евгений Федорович (1810—1897) — переводчик и журналист. В 1840-е годы — участник московского литературного кружка, куда входили Герцен, Белинский, Грановский, Боткин и др. В 1858—1859 годах редактировал журнал «Атеней». Его сын Федор Евгеньевич *Корш* — см. о нем выше.

Грот Яков Карлович (1812—1893) — академик, лингвист и литературовед, автор работ о русских писателях XVIII—XIX веков. главный редактор академического «Словаря русского языка». Его сын Николай Яковлевич *Грот* (1852—1899) — профессор философии Московского университета. председатель Московского психологического общества. создатель и редактор журнала «Вопросы философии и психологии».

Соловьев Сергей Михайлович — см. о нем выше. Его сын Владимир Сергеевич *Соловьев* — см. о нем выше.

С. 354. Граф *Олсуфьев* Алексей Васильевич — см. о нем выше.

...швыряние чепца через мельницу. — Немецкая пословица, синоним легкомысленного поведения.

21

С. 355. *...Никольском...* — усадьба Никольское-Вяземское принадлежала Н. Н. Толстому (см. о нем выше).

С. 356. *Александр Михайлович Кузминский* (1843—1917), муж Т. А. Кузминской — сестры С. А. Толстой.

22

С. 357. *Жиркевич А. В.* (1857—1927) — военный юрист и литератор-дилетант.

23

С. 359. *Екатерина Владимировна Федорова* (в замужестве Кудрявцева) — секретарь Фета с 1886 по 1892 год.

В. С. Соловьеву

25

С. 360. *«Критика отвлеченных начал»* — докторская диссертация Соловьева. печаталась в «Русском вестнике» (1877, ноябрь — декабрь), в 1880 году вышла отдельным изданием, которое Фет и получил в подарок от автора.

С. 361. *...я был его антиподом.*— См. об этом с. 32.

Что касается до Романовых...— Мать В. Соловьева происходила из украинского дворянского рода Романовых, который по женской линии был связан с родом Бржесских.

26

С. 363. В газете *«Новое время»* от 25 марта 1883 года была напечатана статья критика В. Буренина о новых стихотворениях Фета.

27

С. 364. *...свою миртовую ветку.*— Фет имеет в виду письмо Соловьева от 20 июля 1889 года.

Михаил Сергеевич Соловьев — брат В. С. Соловьева.

...Вы перевели Канта.— Соловьев перевел работу Канта «Пролегомены ко всякой будущей метафизике...» (М., 1893).

...оно мне чрезвычайно нравится.— В письме от 20 июля 1889 года Соловьев писал: «В настоящее время я, так сказать, еду на тройке: в корню у меня семилетний труд, который только что окончил вчерне и начал набело, а на пристяжке, с одной стороны, разрушение славянофильства для осенних №№ «Вестника Европы», а с другой стороны, рассуждение о «красоте» для первого № гротовского журнала. Определяю красоту с отрицательного конца как чистую бесполезность, а с положительного как духовную телесность. Сие последнее будет ясно только из самой статьи, которая, надеюсь, заслужит Ваше одобрение». Речь идет о программной эстетической работе Соловьева — статье «Красота в природе», которая была напечатана в журнале «Вопросы философии и психологии» (1889, кн. 1).

28

С. 365. *Юрий Николаевич Говоруха-Отрок* (1852—1896) — литературный и театральный критик, публицист.

...две Ольги...— Ольга Ивановна *Иост* (урожд. Щукина) — племянница М. П. Шеншиной; Ольга Васильевна *Галахова* (урожд. Шеншина) — племянница Фета.

22 июля — день рождения Марии Петровны Шеншиной.

29

С. 366. К этому письму 13 ноября 1900 года сделана приписка братом философа М. Соловьевым: «В дополнение к приведенному Ю. Г. классическому изречению Аф. Аф.: Во время спора с М. И. Хитровым и Говорухою-Отроком и защиты ими христианства Фет вскочил, стал перед иконою и, крестясь, произнес с чувством горячей благодарности: «Господи Иисусе Христе, Мать Пресвятая Богородица, благодарю вас, что я не христианин».

А. В. Олсуфьеву

Письма Фета к Олсуфьеву, за исключением двух (одно из них публикуется под № 32), дошли до нас в списках, сделанных после смерти поэта собирателем его документов Н. Н. Черногубовым.

30

С. 366. *Нагуевский* Дарий Ильич (1845—1918) — классический филолог, профессор римской словесности Казанского университета.

«Энеида» — поэма римского поэта Вергилия Марона Публия (70—19 до н. э.).

С. 367. *...помощь его для меня драгоценна.*— В. С. Соловьев перевел седьмую, девятую и десятую книги «Энеиды».

Ладевиг Т. (Ladewig Th.) — немецкий классический филолог, издатель, переводчик и комментатор текстов Вергилия.

...отказаться от такой роскоши.— В предисловии к переводу «Энеиды» Фет пишет: «Остается сказать несколько слов о другой стороне издания, т. е. о печатании исправленного текста рядом с переводом, как это,

по настоянию гр. Ал. В. Олсуфьева, было сделано в издании «Превращений». Опыт доказал, что такая роскошь в нашей литературе, нуждающейся в самом переводе, нимало не способствует распространению последнего между читателями, а скорее убыточно и для издателя, и для читателя, и потому мы от нее, хотя бы и с сокрушенным сердцем, положительно отказываемся».

Александра Андреевна Олсуфьева — жена А. В. Олсуфьева (см. о ней выше).

31

С. 367. *...поправки которой я имел честь получить...*— Олсуфьев просматривает переведенные Фетом «Элегии» римского поэта Секста Проперция (ок. 50 до н. э.), которые поэт готовит к изданию.

«Элегии» Проперция в переводе Фета печатались в «Журнале Министерства народного просвещения» в 1888 году (№ 5, 7, 8, 9). Отдельным изданием как «извлечение из журнала» вышли в Петербурге в том же году.

32

С. 369. *«Горшок»* — комедия римского комедиографа Тита Макция Плавта (сер. III в.— 184 г. до н. э.). Перевод Фета издан в Москве в 1891 году.

Кулаковский Юлиан Андреевич (1855—1920) — профессор Киевского университета, специалист по истории Древнего Рима и Византии. Познакомился с Фетом зимой 1884 года у В. Соловьева, был поклонником таланта поэта, состоял с ним в переписке.

...наброшусь на Марциала.— По совету Олсуфьева Фет начинает переводить эпиграммы римского поэта Марка Валерия Марциала (ок. 40 г.— ок. 104 г.).

30 апреля 1888 года торжественно отмечалось 50-летие литературной деятельности Аполлона Николаевича *Майкова* (1821—1897).

С. 370. Оды, I, 1, ст. 35—36 — пер. А. Фета (М., 1883).

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907) — государственный деятель, юрист, обер-прокурор Синода.

С. 371. *Соллогуб* Наталья Михайловна (см. о ней выше); *Толстая* Софья Андреевна — жена Л. Н. Толстого.

...прилагаю четыре перевода...— к письму приложен перевод пяти эпиграмм Марциала из книги 1. В книге «Эпиграммы М. В. Марциала. Ч. 1» (М., 1891) в несколько измененной редакции они опубликованы под № 64, 73, 88, 102, 114.

33

С. 371. В газете *«Новое время»* (1890, 29 марта/10 апреля) была опубликована большая статья Ф. Булгакова «Немецкая критика русской литературы» о книге: E. Bauer. Naturalismus, Nihilismus, Idealismus in der russischen Dichtung (Э. Бауэр. Натурализм, нигилизм, идеализм в русской литературе).

...на праздники не поеду.— Праздник Пасхи — 1 апреля.

С. 372. *...в статье Бауэра...* — в главе, посвященной «триумвирату русского идеализма» — Фету, А. Толстому и А. Майкову,— Э. Бауэр пишет о Фете: «В России нет такого литературного течения, которое могло бы считать его «своим»... Лавры его достались ему труднее, чем многим другим. Он тем более может гордиться своими успехами, что он добился их, не поступаясь своими убеждениями ради вкусов времени».

34

С. 372. *...Ваше письмо из Олсуфьева...*— Станция на Орловско-Витебской ж. д. вблизи имения Олсуфьева Голубеи.

С. 373. Фет вспоминает эпизод из повести Н. В. Гоголя «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

...украсить мою книгу Вашей специальной работой...— Фет имеет в виду очерк о жизни автора, которым он всегда предварял свои переводы.

...печатать латинский текст...— книга вышла с параллельным латинским текстом эпиграмм.

...вопросом о ходе предисловия.— Предисловие к «Эпиграммам» Марциала в переводе Фета написал Олсуфьев.

...второй главе жизнеописания.— Здесь и ниже речь идет о второй главе очерка Олсуфьева о Марциале.

С. 374. *XIV книга* «Эпиграмм» Марциала.

35

С. 374. *...собственного изделия...*— Фет имеет в виду свой очерк «Жизнь Марциала», в который он широко включил фрагменты из работы Олсуфьева.

В газете *«Московские ведомости»* (1891, 19 марта) была опубликована «Библиографическая заметка», подписанная «Г.».

Грингмут Владимир Андреевич — педагог и публицист, выступал со статьями в «Московских ведомостях» и журнале «Русское обозрение».

36

С. 375. Дом *Дашкевича* находился на Тверской улице, вблизи Страстного монастыря. Этот дом Олсуфьев снимал.

Артур *Клейншмидт* (1848—?) — немецкий историк, профессор истории Гейдельбергского университета. Когда и при каких обстоятельствах Фет познакомился с ним, установить не удалось.

Пропуск текста при переписке письма.

«За дорогой подарок...— очевидно, Фет послал Клейншмидту свой перевод «Эпиграмм» Марциала (книга вышла в начале апреля 1891 г. в Москве).

...о появлении Ваших воспоминаний...— Фет А. Мои воспоминания. 1848—1889: В 2 ч. М., 1890.

Все экземпляры, предназначенные Вами для раздачи...— речь идет об экземплярах «Эпиграмм» Марциала.

Кулаковский Платон Андреевич (1848—1913) — специалист по славянской филологии, читал лекции в Варшавском университете.

...порхающей графини.— Жена Олсуфьева была гофмейстериной великой княгини Елизаветы Федоровны, часто находилась в разъездах, подолгу жила в Петербурге.

37

С. 376. *Сонни* Адольф Израилевич (1861—?) — филолог, профессор Киевского университета. Его рецензия на очерк Олсуфьева о Марциале опубликована в журнале «Wochenschrift für Klassische Philologie» (1892, № 16, ст. 438—442).

Когда я сидел в Дрездене...— в Дрездене Фет был в конце июня 1856 года.

Ауэрбах Бертольд (1812—1882) — немецкий писатель, произведения которого переводились на русский язык при его жизни; приятель Тургенева.

...о переводимом мною тогда Горации...— первые четыре книги од Горация в переводе Фета были опубликованы в журнале «Отечественные записки» (1856, т. 104—107). В том же году они вышли в Петербурге отдельной книгой.

«Tristia» — сочинение Овидия — последний законченный перевод Фета. Под заглавием «Скорби» книга вышла в Москве уже после его смерти (в 1893 г.).

Г. Асланова

СОДЕРЖАНИЕ

МГНОВЕНИЯ

СБОРНИК 1850 г.

Снега

Гадания

Мелодии

Часть вторая

Стихи 1850—1890-х годов

Страницы прозы и воспоминаний

Часть третья

Стихи и письма к москвичам

ПИСЬМА

А. А. Григорьеву

Л. Н. Толстому

На фронтисписе:
А. Фет читает свои новые произведения.
Москва, 4 января 1884 года.
Рисунок Е. С. Селивачевой.
(Музей-усадьба «Мураново»)

Афанасий Афанасьевич Фет

«БЫЛ ЧУДНЫЙ МАЙСКИЙ ДЕНЬ В МОСКВЕ...»

Заведующая редакцией *Л. Сурова.* Редактор *И. Колчина.* Художественный редактор *И. Сайко.* Технические редакторы *И. Лукашова, О. Иванова.* Корректоры *Т. Нарва, Г. Бодягина.*

ИБ № 4055

Сдано в набор 16.09.88. Подписано к печати 15.03.89. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,11. Усл. кр.-отт. 21,63. Уч.-изд. л. 21,15. Тираж 50 000 экз. Заказ 4122. Цена 1 р. 90 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.
Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.